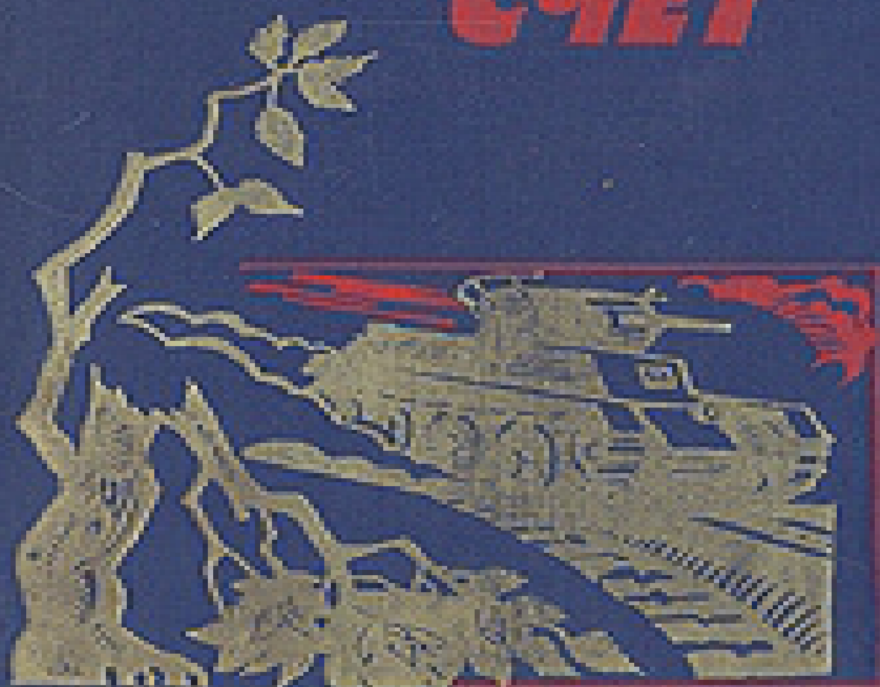


ВМ
ВОЕННЫЕ
МЕМОАРЫ

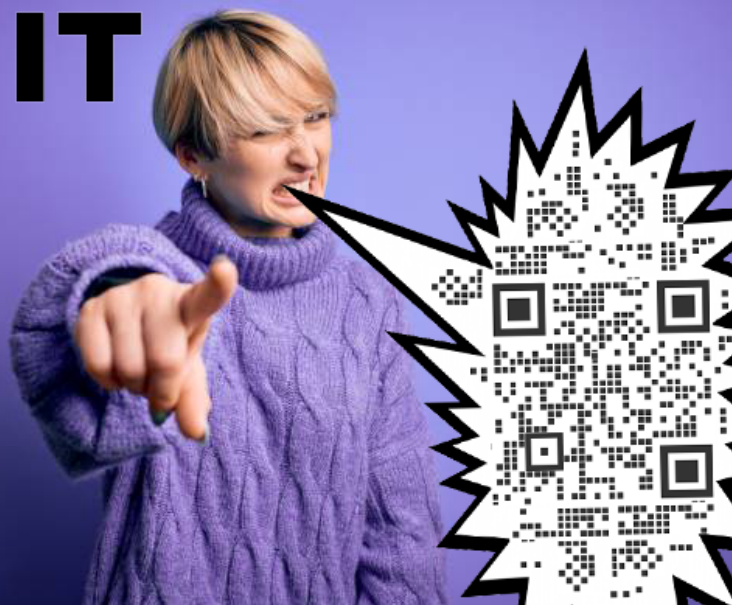
И. В. ДУБИНСКИЙ

ОСОБЫЙ СЧЕТ



OZON.RU

SHOUT
SHARE **IT**



Annotation

Автор этой книги — один из ветеранов гражданской войны. Навсегда вошли в его судьбу легендарные комкоры и начдивы Г. И. Котовский, В. М. Примаков, Д. А. Шмидт, А. И. Тодорский. Военный работник Совнаркома Украины, командир тяжелой танковой бригады — он был свидетелем и участником создания армии, Советского государства. О сложном, драматичном и интересном периоде пишет автор, о знаменитых Киевских маневрах, о подготовке армии к будущей войне с фашизмом. В ней есть и страницы, где проходят трагические судьбы многих самоотверженных коммунистов и талантливых военачальников, ставших жертвами произвола в 1937–1938 годах.

- Дубинский Илья Владимирович
 - От редактора
 - Гражданский долг
 - Предгрозе
 - Это не должно повториться
 - Премьер Советской Украины
 - Злодейский выстрел
 - Бронетанковая академия
 - Иностранцы гости
 - Большие Киевские маневры
 - Жалобы ветерана
 - Встреча Нового года
 - Поездка в Сухуми
 - Верный друг зима
 - Гитлеровский эмиссар
 - Черный буран
 - Вызов к Якиру
 - Крамола
 - У Халепского
 - Комиссия Халепского
 - Кашу не сварили, а заварили
 - Затишье перед бурей
 - И вновь... черный буран
 - Богема
 - Чертово колесо
 - Между небом и землей
 - Заговор коварного криводушия
 - От берегов Днепра
 - На берегах Волги

- Особое ЧП
- Калифы на час
- Ордер Ежова
- Первый поединок
- Развязка

○ Список иллюстраций

- notes

○ 1

○ 2

Дубинский Илья Владимирович

Особый счет

*Громовой-Дубинской Ф. А. —
моей жене, бесценному другу и
помощнику — посвящаю*

От редактора

Эта книга к нам пришла из прошлого. Автору ее 90 лет. Человек трудной, временами драматичной, но яркой судьбы, Илья Владимирович с давних лет своей огневой юности оставался честным бойцом партии, верным защитником революции.

Газета «Красная звезда» в июле 1924 года рассказывала о казаке Дубинском:

«В 1918 году в дни гетманщины на Украине поступил в подпольную организацию КП(б)У и работал в повстанческом штабе. В 1919 году добровольно поступил в Красную Армию. Будучи на разных политических должностях, участвовал в походах против Деникина, Врангеля, поляков, Петлюры, Махно, Григорьева и других банд...»

«Страна должна знать своих героев!» — сообщала газета и по-военному кратко перечисляла боевые отличия Дубинского — военкома 48-го Червонно-Казачьего полка, затем командира 7-го полка и командира бригады 2-й Червонно-Казачьей дивизии. А боевое крещение Илья Дубинский как комиссар получил на деникинском фронте осенью 1919 года.

...Червонные казаки шли против отборных офицерских дивизий Деникина в составе Ударной группы войск. Это было на наиболее угрожаемом Красной Армии орловском направлении. На Ударную группу возлагалась задача — перехватить инициативу из рук противника и разгромить его — офицерский корпус генерала Кутепова.

И вот 12 октября червонные казаки встретились с главными силами белой гвардии к юго-западу от Орла. Населенные пункты здесь несколько раз переходили из рук в руки. Особенно ожесточенные схватки были у села Мелехово. Неожиданной атакой червонные казаки сломили деникинцев, и те в панике бежали. Уполномоченный Реввоенсовета Южного фронта при Ударной группе Г. К. Орджоникидзе сообщал потом об этой схватке в штаб фронта и В. И. Ленину: «Червонные казаки действуют выше всякой похвалы...»

Под Волочиском осенью 1920 года дивизион казаков под командованием И. В. Дубинского наносил удар петлюровцам вместе с бригадой Г. И. Котовского. «Пока гайдамаки безуспешно обстреливали дорогу, кавалеристы, с ожесточением принявшись за дело, уже через несколько минут проскочили через крестьянские дворы и, едва построившись для атаки, грозным валом хлынули к Волочиску — котовцы справа, а мы слева от шоссе, — вспоминает Илья Владимирович. — Ни снаряды

артиллерии, ни бешеная лихорадка «кольтов» так называемой пулеметной дивизии, ни огонь петлюровских юнаков (юнкерсов) не смогли остановить кавалерийского смерча, обрушившегося на защитников последнего плацдарма самостийников».

Котовцы и дивизион червонных казаков под командой комиссара Дубинского захватили тогда и петлюровский бронепоезд, имевший 16 пушечных башен и несколько пулеметов.

— Пороли вы, молодой человек, горячку с этой конной атакой, но, видать, крепко их пугнули, — заметил после боя Илье Владимировичу комбриг Г. И. Котовский. — Сдали петлюровцы нам свой «панцернык» почти без сопротивления. И еще я вам скажу: хоть и сердит я на Виталия, а потребую, чтоб он вас представил к ордену Красного Знамени...

И по праву комиссар Дубинский был отмечен боевым орденом, которым дорожил больше других наград.

Однажды я спросил автора книги, какой самый памятный день в его жизни. Илье Владимирович, прикованный к постели тяжелым недугом, на минуту задумался и односложно ответил:

— На Перекопе...

И я услышал историю об одном весеннем дне далекого двадцатого года, когда комиссар Илье Дубинский готовился к расстрелу.

— Что можно сказать о самочувствии человека, ждущего казни? Хорошо бы встретить смерть в бою, на коне, а то — от товарищей, с которыми делил и горе, и радости боевых будней...

В тот день казаки Примакова и полки бригады Микулина под огнем вражеских самолетов и танков удерживали упирившийся в Сиваш левый, восточный, участок Перекопского фронта. Отбивая атаки белой кавалерии, полк Демичева потерял до четверти своего состава убитыми и ранеными. Вышел из строя и сам командир. На утро 15 апреля намечалась повторная атака Перекопа, но Илье Дубинскому с новым командиром Орловского полка в этой атаке участвовать не пришлось.

В 5.30, когда полк должен был выступить уже к Перекопу, он находился еще в селе.

— За опоздание полка — расстрелять!.. — не желая никого слушать, заявил начдив Нестерович.

И вот в расположении штаба 42-й дивизии, в прокуренном помещении собрался полевой суд. «Там, под Перекопом, твои товарищи штурмуют укрепления белогвардейцев, а ты ждешь суровой расплаты, — думал Дубинский, проклиная себя за ненужную интеллигентскую деликатность. — Нельзя было доверяться новому командиру. Ты — комиссар, обязан был настойчивей разговаривать с ним и поднять полк раньше...»

Расстрел командира и комиссара полевой суд 42-й дивизии отменил.

— Прощаю вас! — сказал начдив. — Но властью начальника боевого участка я вас разжаловал. Икупайте свою вину в боях за дело революции...

И простым солдатом Московского кавалерийского полка ходил в атаки за Перекоп Илья Дубинский. А потом были новые бои, но ни пуля, ни вражий клинок не страшили Илью так, как ожидание казни тем весенним днем двадцатого года.

— Солдат революции, я подчинялся всем ее законам — гуманным и жестким. Но ту смерть все-таки хотел пережить. Верил я в свою звезду, в то, что одолеем всех врагов и наступит светлая жизнь. Очень мне хотелось заглянуть в то будущее, за которое ходил с червонными казаками в лихие кавалерийские атаки...

В 1921 году в червонное казачество прибыл новый начдив Дмитрий Шмидт. В прошлом рабочий-железнодорожник, в первую мировую он был произведен в офицеры, награжден несколькими Георгиевскими крестами. Отличился Шмидт и в боях под Царицыном, где командовал стрелковой дивизией. Отбивая натиск белогвардейцев и донских казаков, бывший прапорщик был тяжело ранен и контужен, но поля боя не оставил. За царицынские бои Шмидта наградили вторым орденом Красного Знамени.

— Как-то, — рассказывает Илья Владимирович, — начдив обратил внимание на проезжающего мимо нас всадника. Его шинель, застегнутая на крючок, была надета внакидку. Один рукав ее, поддерживаемый винтовкой, торчал кверху. Начдив подозвал к себе кавалериста, и тот четко представился:

— Казак первой сотни Семен Волк, — на что Шмидт строго заметил:

— Ты хотя и Волк, а никому не страшен, товарищ. В таком виде, конечно. Может, только воробьям на огороде. Скажи на милость, что с тобой будет, если из кустов выскочит хотя бы один бандюга? Ведь пока будешь доставать винтовку, он тебя трижды зарубит! Ты что, служил у Махно? Эта анархия точно так носила винтовку, как ты.

— Товарищ начдив, — смутился кавалерист, — я у Махно не служил. Служил и служу Советской власти. А винтовку взял в рукав, чтобы не пылилась, да и хмурилось с утра, думал, будет дождик. Ствол берег.

— Больше не делай так, — сказал Шмидт. — Ствол, верно, надо беречь, но прежде всего надо беречь свою жизнь. Имей винтовку всегда наготове, тогда ты будешь для бандитов

настоящий волк! А вы, земляк, — повернулся ко мне начдив, — взяли бы и написали для казаков нашей дивизии простую памятку, как должен вести себя казак в районах, пораженных бандитизмом. И про этого Волка упомяните...

Памятка-брошюра в 10–12 страниц, отпечатанная в литинской уездной типографии, скоро вышла в свет. «Это было мое первое «произведение...» — как о чем-то далеком, но бесконечно дорогое и незабываемое с улыбкой вспоминает сейчас Илья Владимирович.

И начдив Д. Шмидт, и первый командир начдив Гай, и комкор В. М. Примаков, и легендарный Г. И. Котовский, и побратимы по червонному казачеству будущие маршалы П. С. Рыбалко, П. К. Кошевой, И. Т. Пересыпкин, С. А. Худяков, генералы А. В. Горбатов, Ф. Ф. Жмаченко, К. С. Грушевой, И. И. Карпезо и многие другие навсегда вошли в судьбу героя гражданской войны Ильи Дубинского. О них он расскажет потом в своих книгах, и появятся отзывы читателей.

На роман «Золотая Липа»: «Книга радуется прелестью правды» (Борис Полевой).

На книгу «Колокол громкого боя»: «Колокол громкого боя» воодушевляет юношей и девушек на великие подвиги во имя коммунизма» (газета «Правда»).

На роман «Контрудар»; «Блестяще описаны вами мужество и отвага шахтерской дивизии» (Алексенцев, Плахтеев, Пекин, Агibalов — старые коммунисты Донбасса).

На книгу «Примаков» (из серии ЖЗЛ): «Вы дали народу, особенно молодежи, чудесную книгу. Спасибо от меня и от земляков-полтавчан, которые читали «Примакова» (профессор Ф. В. Попов, бывший комбриг-буденновец).

На книгу «Трубачи трубят тревогу»: «Книга радуется всякого, кому даже неведомо счастье слушать боевые сигналы трубы» (И. Минц, академик).

Только вот рукопись червонного казака Ильи Дубинского «Не кривя душой» не возьмет ни одно издательство, и на десятилетия она укроется в архивах автора — до лучших времен.

Что же это за творение, вызвавшее административный гнев, упорное сопротивление издателей и в годы Хрущева, и в застойную брежневскую пору? Сказать: просто мемуары — ровно ничего не сказать. Это — исповедь израненной души. Не случайно автор так и назвал свои воспоминания — «Не кривя душой». Это действительно правдивый, выстраданный рассказ о былом, воспоминания свидетеля, очевидца и участника событий того трагического времени, когда в нашей стране царствовал произвол, когда для некоторых подлость становилась

гражданской добродетелью, предательство оправдывалось, а доносы возводились в доблесть.

— В те годы, внушали нам, был якобы заговор для свержения власти, — вспоминает Илья Владимирович. — Я, по обвинению опричников Берии, собирался будто вести танковую бригаду на разгром — ни много ни мало! — самого Кремля. Это мероприятие планировалось, как вменяли мне, по заданию Якира. А Якир к тому времени был уже репрессирован.

В те годы, о которых рассказывает полковник И. В. Дубинский, шло становление советской военно-теоретической мысли. В борьбе с консерватизмом и косностью М. Тухачевский, И. Якир, И. Уборевич, А. Егоров, В. Примаков, В. Путна, Р. Эйдеман, А. Корк и многие другие военачальники настаивали на том, что военная наука должна опираться на точный анализ и учет перспектив ведущих направлений мирового технического прогресса.

По этому поводу академик И. И. Минц напишет Илье Владимировичу: «Вы очень удачно показали, сколько творческой энергии, сколько усилий, наконец, материальных расходов понесла Советская власть, чтобы создать армию, превосходство которой признавали современники даже враждебных нам государств. Когда читаешь описание гигантского труда, положенного на создание и овладение новой боевой техникой, когда следишь за ходом знаменитых украинских маневров 1935 г., о целой десантной дивизии парашютистов, которая была обрушена на голову наблюдателей, то невольно проникаешься еще большим уважением к нашим полководцам и военным деятелям — Якиру, Тухачевскому, Примакову, Туровскому и многим, многим другим, самоотверженно и честно выполнившим свой долг перед Родиной. Показ силы нашей армии, показ талантов ее руководителей — это самые лучшие главы в Вашей книге».

Тут же академик заметит: «Сотни тысяч людей до сих пор ищут ответа на вопрос: почему Советская власть обещала воевать на чужой территории, добиться успеха малой кровью, а в 1941 году наша армия вынуждена была отойти до самой Москвы. Ответ на этот вопрос читатель найдет в Вашей книге».

По-солдатски кратко, лаконично скажет о запрещенной для печати рукописи генерал армии А. В. Горбатов: «Считаю, что И. Дубинский без надрыва и сгущения красок описал обстановку, сложившуюся в армии в 1935–1937 годах.

Москва. 2.12.65 г.»

Воспоминания Ильи Владимировича были готовы в 1954 году. По письму А. В. Горбатова видно, что уже больше десяти лет

он и его единомышленники за нее боролись, отстаивали ее право на жизнь. В архиве И. В. Дубинского хранятся добрые отзывы и слова поддержки Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина, генерал-лейтенанта А. И. Тодорского.

Сохранились и письма Константина Симонова. Сначала он читал «крамольную» рукопись просто как рецензент одного из издательств, потом как поэт-гражданин, который не мог остаться равнодушным к правде истории.

«Это мужественно, а главное это то, что необходимо говорить и в книгах и с трибун, если мы не хотим потерять молодежь, если мы хотим, чтобы она верила в идеи коммунизма, в идеи революции. Такая вера может основываться только на одном — на правде истории, и в конце концов так оно и будет»... — писал Симонов, давая Дубинскому ряд профессиональных советов.

— Помните, в выступлении Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского на XXII съезде партии были слова: «У нас, у военных, есть особый счет к участникам антипартийной группы», — заметил в разговоре Илья Владимирович. — Так вот и название книги — «Особый счет» — мне подсказал Константин Михайлович.

Среди писем Симонова по книге Дубинского есть одно, датированное 9 мая 1964 года.

«Сейчас я прочитал рукопись в третий раз, после ряда поправок, сделанных автором, — пишет он. — Это автобиографическая повесть, охватывающая главным образом период 1933–1937 годов. Автор — в то время военный работник Совнаркома Украины, а потом командир тяжелой танковой бригады. Материал повести чрезвычайно интересен — в ней описываются знаменитые Киевские маневры, подготовка армии к будущей войне с фашизмом, тот высокий военный и технический уровень, которого достигла наша армия накануне того трагического разгрома в 37–38 годах, которому подверг ее Сталин.

Думаю, что этот материал представляет собой большой исторический познавательный интерес. Для многих поколений читателей он совершенно нов и неожидан. Многие люди и представления не имеют о том, что накануне 37 года мы, например, имели в своей армии опытные роты телетанков, да и многое другое...

Я голосую за принятие этой рукописи и за ее издание».

— Червонный казак Примаков со своими рубками не один раз прорывал фронт контриков, а вот нынче никак не может прорваться сквозь плотный фронт бюрократизма и равнодушия,

— с горечью делился Илья Владимирович своими тревогами, но верил, что придет время для правды, и говорил: «Мой «Особый счет» вечен». Не вечны «счетоводы», те самые, которые долгое время сводили с ним счета...

Вершители истории периода сталинизма да и всех последующих периодов не могли пропустить правду. И дело тут не столько в том, что книга И. В. Дубинского раскрывала какие-то важные исторические факты. В ней во весь рост вставали люди, которые видели, что происходило в 30-е годы, видели и много трагического, но находили в себе духовные силы для того, чтобы противостоять сталинизму. А за ними — несдавшимися — всплывали тупость, бездарность, невежество и безнравственность служителей и подручных Сталина.

Да только ли Сталина?..

Не оттого ли так настойчиво держался своего Константин Симонов: «Книгу надо издать, сохранить в ее первоизданном виде. Это правда — суровая правда, и ее должны знать все». Такого же мнения о рукописи «Особый счет» был и Александр Твардовский: «Главное в рукописи — историческое свидетельство, поэтому ее надо сохранить в своей первоизданности для будущего»...

И вот эта книга. Пришедшая из прошлого через успокоительные иллюзии, неверие, ложь, застой, она вызывает к нам, ныне живущим, смелостью мысли, неумолимостью авторской логики. Читаешь о минувшем и видишь — решается будущее. И сегодня, как и всегда, остается надежда на людей бесстрашно думающих, смело спрашивающих, берущих на себя ответственность за свое дело и за судьбу Отечества.

Гражданский долг

Дети за отцов не отвечают. Это верно! Но дети об отцах спрашивают. И это истина! На все вопросы должен следовать правдивый ответ.

Век минувший, вступив в смертельную схватку с веком нынешним за души молодежи, показывает наше прошлое в кривом зеркале. Идеологическая диверсия! Прямым продолжением диверсии прошлых лет является широко распространенная на Западе книга фашиста Пауля Карелла «План «Барбароссы». Та диверсия имела целью снять головы отцам, эта — растлить души детям. Против отравленных стрел века минувшего есть лишь одно противоядие — большевистская правда.

Первые разряды грозы оглушили гарнизоны Украины. 1936 год — коммунист с 1915 года комдив Дмитрий Шмидт в Киеве; коммунист с 1918 года комдив Юрий Саблин в Виннице; коммунист с 1914 года комбриг Михаил Зюка в Полтаве; коммунист с 1911 года комкор Семен Туровский в Харькове... Сработала цепная реакция — пришел черед коммунисту с 1914 года, заместителю командующего войсками округа Виталию Примакову в Ленинграде.

Все, кроме Саблина, в прошлом — создатели и боевые вожаки червонного казачества Советской Украины.

То были первые разряды, но не последние. 1937 год — командармы Якир и Дубовой, комкоры Фесенко и Квятек, комдивы Борисенко и Бутырский, комбриги, полковники...

«Значительная часть военных кадров, выращенных Коммунистической партией, стала жертвой сталинского произвола... Около половины командиров полков, почти все командиры бригад и дивизий, все командиры корпусов и командующие войсками военных округов, большинство политработников...» — отмечалось в шестом томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945».

Однако, как показало время, не было в армии ни заговора фашизма против коммунизма, ни заговора заблуждений против истины. А был заговор тьмы против света, невежества против знаний, тупиц против талантов, зазнайства против скромности. Заговор коварного криводушия против ленинской правды.

Дать залп ленинской правдой по всякого рода идеологическим лазутчикам — это мой долг коммуниста. Дать правильный ответ детям и детям детей моих боевых товарищей — это долг гражданина.

Напомню зарубежным клеветникам и диверсантам сказанное Цицероном двадцать столетий назад: «Бросьте свои безумные помыслы, оставьте мечты о проскрипциях... Такое грустное воспоминание сохранилось о тех временах, что не только люди, но, мне кажется, и скоты не примирились бы с их возвращением».

Предгрозье

Это не должно повториться

С десяток лет назад, это было в сибирской тайге, я попал в черный буран. Отшагав около двадцати километров, я приближался к Тасеево. Когда-то, в царские времена, в это село сослали Дзержинского. С утра стояла на редкость тихая, безветренная погода, с чистым небом и ясной далью. Слышно было, как неутомимые дятлы и кедровки отбивали на мачтовых соснах четкую дробь.

Вдруг из-за горизонта выплыла мрачная туча. Она вскоре затянула весь небосклон. Порыв тяжелого ветра расхлестал с высоких крон лиственниц пышные подушки снега. Умолкли дятлы. Воробьиные стаи сорвались с желтого от навоза тракта и панически устремились в тайгу. По каким-то незначительным, хорошо известным им признакам птицы чуяли приближение чего-то грозного.

И оно не заставило себя ждать. Сверху, словно прорвав плотину, повалила липкая непроницаемая копоть. В мгновение наступившем густом мраке не видно было собственных рук. Где перед, где зад, где правая сторона, где левая — я уже не разбирал. Коренные сибиряки и те страшатся этих черных, как сажа, снежных хлопьев, которые заживо хоронят человека. Потрясенный необычным проявлением злых сил природы, скованный суеверным страхом, я остро ощутил потребность в какой-то точке опоры, без которой черный буран подмял бы меня. И я ее нашел. Метнувшись наугад в сторону, двигаясь по колена в снегу, набрел на ствол листвяка. И это безмолвное таежное дерево, под защиту которого я отдался всем своим существом, обдало меня крепким, настоящим, словно человеческим, теплом. Получив опору, мое леденеющее сердце оттаяло, и я спокойно переждал порыв грозной стихии.

...Десятки лет изматывал души советских людей губительный буран сталинизма.

11 июня 1937 года очень скорый и очень неправый суд отправил на плаху лучших полководцев нашей страны. Ежов поторопился с исполнением приговора. Его подручные быстро расправились с блестящими стратегами ленинской школы — маршалом Тухачевским, с командармами Якиром, Уборевичем, Корком, с комкорами Эйдемано, Фельдманом, Примаковым, Путной.

Прошли две недели. И какие! Наполненные справедливым гневом народа — ведь ему внушали, что казнены изменники, предатели, шпионы; сомнениями и жуткой тревогой тех, кто знал

десятилетиями этих людей и верил им, как собственному сердцу, как верил в правоту нашего дела; разбродом в армейской толще, гневно вопрошавшей: «Кому же после этого верить?», а позже — страхом и неуверенностью за завтрашний день у самых честных, самых преданных борцов партии; ликованием врагов и отступничеством лучших друзей.

25 июня меня исключили из партии за восхваление «злейших врагов народа» Якира, Уборевича, Примакова в романе «Золотая Липа». Исключенный, отдав партийный, символически получил волчий билет.

Это было хуже волчьего билета — это была путевка в политическую смерть. И не только политическую. Но кто тогда думал о жизни? Речь шла не о ней. Речь шла о чести. И не о своей, личной. А о чести партии. Коммунист, порочивший себя, порочил прежде всего партию. Если ты, не устояв в тяжелой борьбе с наветами, клеветами, клеветой, признавал себя преступником, ты чернил партию, свидетельствуя, что она годами не могла распознать в тебе негодяя, что, воспитывая в тебе человека, она растила отступника. И ленинская правда, как показали события, подтвердила: тот, кто боролся за честь партии, боролся и за свою жизнь.

Борьба была тяжелой, томительной и неравной. Одно дело тягаться с палачами белогвардейской контрразведки. Другое — с теми, кто в своих черных делах прикрывался святым знаменем Советов, кто предъявлял тебе счет от имени партии, кто неправомерно обрушивал на человека, лишённого элементарных прав к защите, всю тяжесть закона военного времени. А время-то было мирное!

Неверно предположение, что 1937 год начался с так называемого процесса Тухачевского. Он берет свое начало значительно раньше.

Об этом мне и хочется рассказать. Не о допросах, не о пытках, не о лагерях. Нет! О всем том, что этому предшествовало.

Я могу поведать лишь о том, что было в поле моего зрения, и о том, что случилось лично со мной — с командиром и комиссаром Отдельной тяжелой танковой бригады, непосредственно подчиненной Якиру. Но достаточно изучить процессы в одной капле воды, чтобы узнать, что происходит во всем многоводном океане.

Премьер Советской Украины

Весной 1931 года я готовился к отъезду из Харькова в Проскуров. Там стоял штаб 1-го конного корпуса червонного казачества. Его организатором и первым командиром был коммунист с 1914 года, политкаторжанин, воспитанник и зять Михаила Коцюбинского — поэт и литератор Виталий Маркович Примаков. Пользовавшийся огромной любовью казачьей массы — «наш Примаков», любимец Серго Орджоникидзе и Григория Ивановича Петровского, он в двадцать лет обнаружил редкий талант командира и блестящего рейдиста.

Червонное казачество вместе с его боевыми братьями — латышскими стрелками осенью 1919 года под Орлом и Кромами нанесло сокрушительный удар деникинской офицерской гвардии, рвавшейся к Туле и Москве.

Под знаменами червонных казаков я воевал на Перекопе, летом 1920 года шел к Золотой Липе, Стрию, Карпатам. В 1928 году возглавлял штаб 1-й дивизии. В 1929 году в качестве гида и переводчика сопровождал в подшефную Французской компартии Запорожскую дивизию Марселя Кашена.

И вот весной 1931 года я снова направлялся в эту дивизию, чтобы вступить в командование ею. И вдруг мне сообщают: «Вас вызывает к себе Чубарь». Это крайне удивило меня.

В 1929 году вспышка туберкулеза вынудила меня оставить ряды армии. Заботливая военная медицина, заперев меня в Гурзуфе на семь месяцев, потушила болезнь. В Харькове командующий войсками Украинского военного округа Иона Эммануилович Якир насел на меня:

— Послушайте, комбриг без бригады! Мы вас прочим в министры без портфеля. Будете представлять интересы военного ведомства в Совнарком...

Узнав, в чем состоит это представительство, я наотрез от него отказался. Считал эту работу не по своему плечу.

Моя деятельность вряд ли могла попасть в поле зрения главы советского правительства Украины: в Наркомпросе с 1930 года я работал в роли инспектора, ответственного за военную подготовку в учебных заведениях.

В приемной ждать пришлось недолго. Вот и кабинет Председателя СНК. Влас Яковлевич встретил меня, выйдя из-за своего стола. Я растерялся. Но это случилось потому, что я тогда мало еще знал этого замечательного человека и большевика-ленинца.

В. Я. Чубарь сразу приступил к делу. В связи о ростом

военной опасности намечалось усиление оборонной работы в республике. ЦК КП(б)У решил укрепить объединенный военный аппарат ЦК и СНК и поставить меня во главе его.

Это предложение меня ошеломило. Имея лишь теоретическое представление об оборонно-мобилизационных функциях правительственных органов, не считал вправе брать на себя такую нагрузку. Я так и ответил Власу Яковлевичу. Он сказал, что при всяком затруднении я могу рассчитывать на его помощь; что решения будет принимать Комиссия Обороны, в которую входит он, секретарь ЦК, командующий войсками, Наркомтяж и председатель ГПУ. Мое дело — лишь проводить в жизнь эти решения и контролировать исполнителей.

Я назвал ряд товарищей о академическим образованием, которые, с моей точки зрения, легко справились бы о работой. Но Чубарь твердил одно: «ЦК поручил мне говорить с вами, а не с ними». Я сообщил Чубарю о моем желании вернуться в дивизию, в рядах которой я провел гражданскую войну. Влас Яковлевич, мягко улыбаясь, сказал: «У нас дивизий много, а Украина одна. Если для вас мало значит мое слово, то надо считаться с волей ЦК. И помните — после Совнаркома любая дивизия ваша».

Влас Яковлевич, дав мне сутки на размышления, порекомендовал не отказываться. Мои ближайшие друзья пришли на помощь — они посоветовали ответить Чубарю согласием.

Я перешел на работу в Совнарком, а командиром 1-й дивизии назначили Ивана Никулина, ветерана червонного казачества, бывшего машиниста молотилки, человека с крепкой рукой рубачи и с хорошей головой философа.

С первых нее шагов на новой работе я понял, насколько неосновательными были мои опасения. Прекрасный знаток экономики Украины, Влас Яковлевич чувствовал себя очень уверенно и при решении чисто оборонных и мобилизационных вопросов. Ему мог бы позавидовать любой из нас, окончивших академию имени М. В. Фрунзе.

* * *

Линейные солдаты партии, мы шли туда, куда она указывала. В том числе из огня в огонь.

Что же двигало нами, молодыми коммунистами? Служебное рвение, угодливость, страх, фанатизм, слепое повиновение? Отнюдь нет! Всеодухотворяющая ленинская идея! Но было и другое. Нам светили путеводные звезды — старшие товарищи. Те, у кого слово никогда не расходилось с делом. Те, кто не только

красно говорил о горе всего человечества, но умел проявить заботу об отдельном человеке. Те, кто, твердо проявляя свою волю, не подавлял и волю других. Те, кто были настоящими ленинцами, коммунистами не только по идее, но и по образу действий и по образу жизни. И еще — те, у кого личный пример шел в ногу с проповедью.

В этом коренилась сила и мощь, стойкость и несокрушимость большевиков. А тут еще довелось сесть за один рабочий стол с теми, кого хорошо знал Ленин, — Коссиором, Постышевым, Чубарем, Скрыпником, Затонским, Коцюбинским, Якиром. Это обязывало!

В то время Украине пришлось без огласки решать много сложных вопросов, не считая генеральных задач, всенародно оглашенных планами пятилетки.

Вдоль западной границы возводились укрепления. В Киеве, лично руководя работами, неотлучно находился начальник инженеров РККА Н. Н. Петин.

Это было тревожное время, когда из нутра приемника доносились голоса обезумевшего Берлина. Воскресшие стараниями американских мультимиллионеров и Круппа неандертальцы праздновали кровавую победу. Жуткая дробь барабанов, грозный топот подкованных сапог, обезьяний рев взбесившейся толпы, каннибальская мелодия фашистского гимна, истерические крики — «Француз должен сдохнуть, чтобы немец мог жить», «Хайль Гитлер!» — холодили кровь, морозили кожу, шевелили волосы на голове. Росла кровавая угроза всему человечеству. И она зарождалась там — на берегах Рейна и Шпрее.

Назревал со всей очевидностью новый конфликт, грозивший ввергнуть весь мир в пучину бедствий и ужаса. Россия не раз спасала Европу от натиска варваров с Востока, Теперь ей предстояло выручить Европу от варваров Запада. Стало ясно, что лишь железом и огнем можно будет смирить опьяненных кровавыми успехами башибузуков.

В те годы крупный военный специалист профессор Свечин доказывал абсурдность разворачивания армий западнее Днепра и, следовательно, бесцельность обороны Правобережья. Он требовал оставления всей территории вплоть до Киева с первого же выстрела, для того чтобы противник, наступая, выдохся, а Красная Армия, обороняясь, набралась сил. Эту оригинальную концепцию Свечина осудила наша печать.

Страна готовилась к отпору. Поднимались с насиженных мест стрелковые дивизии, кавалерийские соединения с Кавказа, с турецкой границы, из Средней Азии и Сибири и, пересекая

континент, оседали в Шепетовке, Славути, Проскурове, Каменец-Подольске — по всей западной границе. В укрепленных районах появились гарнизоны. Вновь созданные танковые бригады занимали предназначенные для них точки дислокации.

Шло новое строительство во всей пограничной зоне. Оттуда в глубь страны перевезли всех, кто ранее служил в белых армиях и у Петлюры.

Партия была начеку.

Сооружались мосты и переправы, опорные пункты для широкого маневра войск, ставилась сеть сложных преград, о которые должны были разбиться первые валы нападающих.

Десятки тысяч людей, вереницы подвод, сотни машин и механизмов передвигались в день и в ночь, подвозили камень, песок, щебень, цемент, арматурное железо, гвозди, рельсы. Строились железные дороги, подъезды и тупики. Возводились новые больницы и хлебопекарни. Согласно планам Генерального штаба менялся лик Правобережья Украины.

Железобетонная гряда охватила западные окраины республики непроницаемым поясом. Укрепрайоны заперли тяжелыми замками все узлы дорог и проходы в страну.

Вместо отвергнутых практикой громоздких, тяжеловесных крепостей создавалась так называемая «фортификационная пыль»: доты и дзоты.

Новоград-Волынский комплекс, Коростеньский, Винницкий, Тираспольский. А в глубоком тылу, на подступах к столице Украины — гранитный пояс мощных дотов на линии реки Ирпень. Последнее слово фортификационного искусства, значительно превосходившее и линию Маннергейма, и линию Мажино.

В Киеве же находился штаб Дорстроя, который прокладывал дороги от Днепра до границы — Чернигов — Хабное — Овруч; Казатин — Шепетовка; Бар — Проскуров. Всего 14 маршрутов. Если при царе на постройку шоссе Киев — Житомир (120 километров) ушло 12 лет, то Дорстрой в одно лето сдавал по 500 километров путей.

На Полесском участке будущего театра военных действий по планам военведа Укрлес проводил спецлесорубки. В результате этих работ на ранее непроходимой местности возникло несколько новых рокадных путей.

Укрмелиострой попутно с планами пятилетки решал и оборонные задачи — осушал одни участки и создавал возможность мгновенного затопления других.

А работа снарядных, патронных, пороховых заводов, пошив белья, шинелей, сапог, закладка продовольствия для нужд армии,

мобилизация людских контингентов, их обеспечение, поставки для военведа гужа, тракторов, машин! Работы было предостаточно. Вот тогда по предложению В. Я. Чубаря в наркоматах был введен пост замнаркома по оборонным вопросам.

Летом ЦК партии мобилизовал ответственных коммунистов столицы. Одни отправились на дорожные участки, другие — на гранитные карьеры, третьи — для массовой работы. Влас Яковлевич напутствовал всех мобилизованных дельными советами.

Центральный Комитет ВКП(б) решил на Первомайском параде 1932 года показать первые советские быстроходные танки. Изготовление двух опытных машин по чертежам молодого советского инженера Кристи было возложено на директора ХПЗ Владимирова, бывшего командира полка в 45-й дивизии Якира. ЦК ВКП (б) всю ответственность за своевременное выполнение задания возложил на Коссиора и Чубаря.

Для ХПЗ в те времена было легче изготовить 100 паровозов, нежели один танк. Не хватало многого. Влас Яковлевич прекрасно знал, каких инженеров и какие материалы для выполнения ответственного задания могут дать Луганск, Мариуполь, Днепродзержинск, Днепропетровск, Горловка. Выяснилось, что для изготовления танков понадобится немало цветных металлов. И тогда же по предложению Чубаря ЦК КП(б)У решил использовать для этой цели церковные колокола.

Партия строго исполняла указания XV съезда ВКП(б) о развитии тех отраслей индустрии, «на которые выпадает главная роль в деле обеспечения обороны».

В результате на Первомайском параде в Москве участвовали два быстроходных танка БТ-2. Конечно, сейчас они показались бы потешными, но в то время их изготовление было большой победой. И если ХПЗ вовремя справился с этой нелегкой по тем временам задачей, то в этом была колоссальная заслуга Власа Яковлевича.

Товарищ Чубарь покорял всех своей человечностью. Для него не существовало ни больших персон, ни маленьких людей. Все мы, работавшие под его началом и многому у него научившиеся, видели в нем прежде всего старшего товарища-большевика, а потом уже главу правительства. И это нисколько не умаляло его авторитета как ответственного руководителя государства.

При всех обстоятельствах чувствовалась его рабочая закалка и большевистская выдержка. Никакое событие, никакое потрясение не могли вывести его из себя. Он неизменно сохранял душевное равновесие. Никогда и ни на кого он не повышал голоса. Строго требуя с каждого порученную ему работу, он с

человеческим теплом относился ко всем сотрудникам правительственного аппарата.

Интересно отметить такую деталь. Влас Яковлевич прекрасно решал все, связанное с обороной страны. Но кто бы по этим делам ни приехал из Москвы, он советовал ему предварительно обсудить вопрос с военными работниками Совнаркома.

В начале 30-х годов конница еще рассматривалась как основная ударная сила Советских Вооруженных Сил. На западной границе стояли три конных корпуса — червонного казачества Демичева в Проскурове, корпус Криворучко в Житомире и корпус Григорьева в Шепетовке.

В октябре 1933 года в Харькове происходили традиционные конноспортивные состязания.

Стояли красные дни догорающей осени. Важно плыли над ипподромом сверкающие на солнце легкие нити паутин. Высокие березы вырядились в яркий многоцветный наряд. Как гордые рыцари в золотых доспехах, вытянулись они шпалерами вдоль ровного шоссе.

С праздничным видом природы совпадало и праздничное настроение людей, собравшихся на скамьях ипподрома и вокруг него.

Несмолкаемый говор зрителей, команды начальников, покрикивание тренеров, визг несметных орав мальчишек, призывы лотошниц сплетались в протяжный бесконечный гул, прерываемый веселым ржанием лошадей.

Всадники — и молодые командиры, и седые рубаки, — столь же нетерпеливые, как и их кони, гарцевали по кругу.

Чубарь, восхищенный мастерством конников, сказал: «Сосватаем каждой дивизии какой-нибудь наркомат». В тот же день состоялось и «сватовство» и «бракосочетание». Договорившись с Коссиором, Чубарь во время товарищеского обеда объявил об этом и шефам, и подшефным.

Власа Яковлевича волновало все, что касалось обороны страны. Вот он узнает, что номерной завод срывает поставку агрегатов для радиостанций подводного флота. И он срочно дает указания директору завода. Нарушается график строительства Горловского азотно-тукового комбината, и Влас Яковлевич принимает меры, чтобы ввести строительство в график. Одесса, питающаяся днестровской водой, вяло бурит артезианские колодцы, от которых только и можно ждать воды во время войны, и Чубарь, подняв трубку, в очень деликатной форме напоминает одесским руководителям об их долге.

Есть деятели, от которых, словно от солнца, исходят мощные потоки света и тепла. Их свет никого не ослепляет, тепло не

обжигает, напротив, вызывают бурную детонацию энергии.

Эти люди не руководствуются принципом: «Чем ночь темней, тем ярче звезды». Для того чтобы выглядеть ярче на общественном небосклоне, они не нуждаются в окружении послушных, поддакивающих исполнителей. Эти деятели широкого державного масштаба прежде всего думают о престиже государства, о нуждах и желаниях народа и меньше всего о своей персоне.

Таким деятелем был талантливый ученик ленинской школы, славный сын украинского народа, большевик с 1907 года Влас Яковлевич Чубарь — в течение многих лет бессменный Председатель Совнаркома УССР.

Большевик Чубарь в такой же степени верил в силы товарищей по работе, как и в собственные силы. Премьер Чубарь комплектовал свой «кабинет» людьми большого ума, крепкой воли, самостоятельного суждения и крепкого характера.

В «кабинет» Чубаря входили А. Сербиченко, В. Порайко, Ю. Коцюбинский, Н. Скрыпник, В. Затонский, Д. Петровский, К. Сухомлин, В. Балицкий, С. Канторович, А. Рекис, Покорный, Кузьменко, Легкий.

В. Я. Чубарь всячески поощрял инициативу и самостоятельность не только наркомов, но и всех сотрудников правительственного аппарата. Не опасаясь за свой авторитет, он, зная больше всех, говорил меньше всех. Но зато каждое его слово было очень веско и убедительно.

Высокого роста, широкий в плечах, с мужественным лицом рабочего человека, он покорял всех изумительной выдержкой, невозмутимым спокойствием.

Одно можно сказать — Влас Яковлевич не был воинственным человеком. Крупный партийный деятель, вся жизнь которого была связана с созиданием, он жаждал мира, ибо без мира нет созидания. Но он хорошо знал, что хищного зверя не задобришь и жирным куском. Зверь понимает только язык дубины. И все, что было в силах В. Я. Чубаря, в силах главы правительства Советской Украины, он делал, чтобы эта дубина была и покрепче, и потяжелее.

Три года совместной работы с этим партийным и государственным деятелем дали мне много, как и много дала мне многолетняя боевая служба под командованием Примакова.

Но вот на политическом горизонте страны появились грозные тучи. Вернулся из Москвы делегат XVII съезда партии, мой близкий друг Николай Аркадьевич Савко — начальник политотдела 1-й Запорожской дивизии. Доверительно сообщил мне, что неожиданно для многих делегатов при баллотировке

Сталин получил огромное количество черных шаров. В кулуарах съезда шли разговоры, что Ворошилов предложил скрыть результаты голосования, а Сталин воспротивился, сказал: «Пусть все знают, чего каждый из нас стоит».

* * *

И вот после съезда приезжает в Харьков Постышев на пост второго секретаря ЦК КП(б)У. Коссиор, оставаясь формально первым секретарем, сразу же отодвигается в тень. По английскому образцу он «царствует, но не управляет».

Во время скачек, чтобы уравнивать условия состязания, всаднику легкого веса добавляют груз — гандикап. Вот результат черных шаров баллотировки. Коссиору «подвесили» гандикап в лице Постышева, Чубарю — в лице Любченко.

Очевидно, Сталина после съезда больше всего тревожили Ленинград и Украина. И он принял свои меры. Вслед за Постышевым вскоре явился в столицу Украины эмиссар Сталина — Каганович. На многолюдном собрании в опере он прорабатывал украинское руководство. Громил всю старейшего соратника Ленина — Н. А. Скрыпника. Вскоре Скрыпник застрелился.

Самоубийство большевика наносит удар партии. И чем ответственней он, тем чувствительней этот удар. Но наступают такие моменты, когда и жить нельзя, и умереть невозможно. А Скрыпник смог умереть. Этим выстрелом воспользовались враги. Они писали за кордоном: «Когда великий грешник Микола Скрыпник явится на суд божий, то на одну чашу весов положат все его страшные прегрешения, а на другую маленькую пулю. И чаша с маленькой пулей опустится вниз».

Поведение Кагановича — сталинского уполномоченного — можно понять, ознакомившись с тем, что писала «Правда» 25 января 1962 года: «Николай Алексеевич (Скрыпник) принадлежал к тем делегатам съезда (VI), которые резко возражали Сталину в ответ на занятую им неправильную позицию по вопросу о явке Ленина в суд. Скрыпник заявил на съезде, что мы не отдадим наших товарищей на классовый пристрастный суд контрреволюционной банды».

Изморженное лицо Постышева, длинные волосы, падавшие на лоб, скромная косоворотка, неизменные четки в костлявых руках придавали ему вид аскета.

Непримиримость к чужакам, невероятная работоспособность, строгость ко всему, что касалось интересов партии, скромность в

личной жизни, фанатизм представляли его как одного из безупречных апостолов коммунизма. Таким он казался всем, кто общался с ним близко, кто видел или слышал его хоть один раз. Казалось, что, если даже самый затаенный враг очутится перед его суровым лицом, он должен затрепетать с головы до ног, пасть на колени, поверженный его необъяснимой силой.

Павел Петрович верил в непогрешимость Сталина, как верили многие старые коммунисты, и поэтому вел себя так, превышая власть Чубаря, Коссиора, и жестоко, без разбора обрушивался на людей по каждому случаю, пока сам не стал жертвой произвола Сталина.

А между тем на Украине расцвел свой культ. Вовсю раздувался культ Постышева, хотя никто не снимал и не перевыбирал первого секретаря ЦК КП(б)У Станислава Викентьевича Коссиора. Изо дня в день все газеты и радио говорили не о партии, не о народе, а о Постышеве — верном соратнике великого Сталина. Как будто Коссиор, спавший в царской ссылке на одних нарах со Сталиным, был его противником. Пропаганда не умолкала ни на миг: «Постышев сказал», «Постышев изрек», «Постышев указал», «бульвар Постышева», «елки Постышева»...

Не смирился с опекой Любченко В. Я. Чубарь. Тем более что на заседании Совнаркома Любченко повел себя весьма бестактно в отношении Чубаря. Влас Яковлевич ушел с поста премьера, некоторое время был без работы, а прислужники нового премьера отказывали ему — кандидату в члены Политбюро ЦК ВКП(б) — даже в машине. И вдруг приходит весть — Чубаря переводят в Москву на пост заместителя Председателя Совнаркома СССР.

Прекрасный знаток народного хозяйства, человек с твердой волей, Чубарь неоднократно выступал против ошибочных установок Сталина. И это, в сущности, было не чем иным, как проявлением ленинского принципа коллективного руководства. А может, и он положил свой черный шар в урну? Вот и взяли его пока в Москву, поближе. Так будет спокойнее. Тем более что авторитет старого большевика Чубаря на Украине был очень высок.

...Осталось позади то время, когда правительство, весь коллектив Харьковского паровозного завода, где вырос новый танковый цех, с нетерпением ждали появления первых быстроходных машин.

Первенцы нашего танкостроения обладали колоссальной по тем временам скоростью, но башни их были железными и вооружены они были лишь пулеметами. Они, быть может, удивили иностранных наблюдателей гораздо больше, чем те

тысячи быстроходов, которые теперь сходили с конвейера. Новый цех на ХПЗ выпускал танки БТ-5 сериями, с настоящей мариупольской броней, с мощной пушкой и пулеметами и с авиационным мотором. Контроль за выполнением строгих заданий Москвы был возложен на нашу Комиссию Обороны. Да и, кроме этого, работы было больше чем достаточно.

Злодейский выстрел

В новой столице — Киеве Совнарком Украины разместился по Банковской улице, в особняке бывших царских магнатов Игнатьевых. По своему архитектурному богатству, художественному оформлению и внутренней роскоши это был скорее дворец некоронованного монарха, нежели особняк крупного землевладельца. Богатый вестибюль с вздыбившимися медведями, оленьими головами, Венерами и Аполлонами, мраморными лестницами и плюшевыми дорожками возвещал посетителю, что он пришел в изумительный храм, созданный талантом и тонким вкусом зодчего. Теперь там размещается Союз писателей Украины.

1 декабря 1934 года. Длинный зал заседаний мягко освещен люстрами. За окнами зима. Стекла высоких окон расписаны затейливой изморозью.

У длинных столов, покрытых зеленым сукном, углубились в бумаги наркомы. Кто читал, кто писал в своих блокнотах, а кто, в глубокой задумчивости, выводил замысловатые рисунки на полях деловых бумаг.

Стоял вопрос о работе легкой промышленности, и новый глава правительства Любченко то и дело перебивал докладчика «остроумными» репликами.

Нарком — старый большевик, боровшийся за революцию еще тогда, когда Любченко постигал азы медицины в военно-фельдшерской школе, — укоризненно поглядывал на председателя поверх очков.

Тяжелая дверь с массивной инкрустацией и медными ручками тихо приотворилась. К Любченко на носках приблизился его секретарь. Панас Петрович поднялся со своего места. Скрылся за тяжелой дверью. Управделами Ахматов начал рассказывать свежий анекдот. Вернувшись в зал заседаний, Любченко встревоженным голосом произнес:

— Товарищи! Случилось большое несчастье!

Приблизившись к креслу, взялся обеими руками за его спинку. Выждав секунду, продолжил:

— Убит товарищ Киров!

Все молчали.

— Объявляю заседание Совета Народных Комиссаров закрытым! Еду в ЦК!

Любченко ушел в свой кабинет. За ним последовали нарком просвещения Затонский, председатель Госплана Юрий Коцюбинский, другие.

Словно сквозь туман, я смотрел, как медленно и молча складывали свои бумаги и закрывали портфели оставшиеся в зале члены правительства и тихо, словно опасаясь потревожить чей-то покой, выходили из зала.

Весть о большой утрате тяжело ударила по сердцам всех советских людей.

Это была вторая по своему значению потеря после смерти великого Ленина. И между этими двумя утратами лежал промежуток времени в десять лет и десять месяцев.

Газеты писали, что террористический выстрел, прозвучавший над Невой 1 декабря 1934 года, показал, что о врагах забыли. Он кричал о том, что врагов надо искать не среди врагов, где они и так видны, а среди «друзей», где найти их труднее.

И дни великого народного гнева совпали с днями великого пересмотра людей. Народу сообщили, что подлый убийца, вдохновлявшийся иностранной разведкой извне и изменниками изнутри, схвачен. В одной руке его оказался револьвер, в другой — партийный билет.

Как гром среди ясного неба прозвучала весть об аресте заместителя Председателя Совнаркома и председателя Госплана Украины Юрия Коцюбинского.

* * *

Любченко, сообщая о том, что Коцюбинский являлся руководителем подпольного троцкистского центра, возмущался:

— Скажите на милость! За одним столом заседали! Какая сволочь!

Белый снег хрустел под ногами бесконечных колонн. Злой ветер срывал шапки с людей, хлестал по лицу, играл волосами, его неутихающий гнев сливался с гневом взволнованных масс.

Люди шли, шли и шли... Над ними, нахлестываемые ветром, негодовали тяжелые ткани знамен. Стонал под тысячами ног свежевыпавший снег. Рычал, как растравленный зверь, злой ветер.

Колонна шла за колонной, завод за заводом, школы, вузы, фабрики, театры, наркоматы и учреждения, и казалось, что не будет конца и края этому неиссякаемому людскому потоку.

Весь гнев, вся ненависть масс, все их негодование вылились в единый порыв. А этот порыв требовал смерти врагам. Так ответили миллионы трудящихся на тяжелую потерю.

В газетах печатались списки расстрелянных диверсантов и шпионов. Так ответило ГПУ на убийство Сергея Мироновича Кирова.

Народ сжатыми кулаками, стальным взглядом суровых глаз санкционировал решительный акт возмездия.

Среди расстрелянных были и писатели — Влызько и Крушельницкий. Среди Крушельницких были учителя, врачи, адвокаты, знаменитый актер. Но из всех Крушельницких, как сообщалось тогда, шпионом оказался этот благообразный, тихий, с апостольским голосом старик, носивший белый чесучовый пиджак.

В массе демонстрантов шагал некто Ярошенко-Братовский в хорошем драповом пальто, в шапке-финке. Пополневший и обрюзгший, он ничем не отличался от других советских служащих, искренне и неподдельно выражавших свой гнев.

Никто и ни за что не подумал бы, что этот с подходящим к данному моменту скорбным лицом гражданин гонялся с шашкой в руках за безоружными рабочими Киева, сражался против большевиков и неоднократно приходил из-за кордона с диверсионными целями, пока не был пойман червонными казаками в Литинских лесах.

Заметив меня, он низко поклонился, сняв финку. Он знал, что в такие моменты его прошлое, возникая из забвения, становится грозной тенью впереди его настоящего.

Я не мог ответить ему. Отвернулся.

Спустя неделю влетел ко мне в кабинет заведующий сектором культуры. На нем не было лица. Сообщил, что арестована его сотрудница Шульга.

— Я вас спрашиваю, кто она? Знаете, какое пятно это налагает на нас всех, на меня и прежде всего на вас? Что бы это могло значить?

— Это значит, что человек из мира благополучия перешел в мир невзгод.

— Нашли время для шуток... Но я не стал бы с ней совершать какие-нибудь преступления... Знаете, мы всем отделом ходили с ней в кино.

— Что вы передо мной оправдываетесь? — ответил я.

Я чувствовал, что вдруг, ни с того ни с сего, на меня надвинулась страшная гроза. Арестованная была принята на работу по моей рекомендации. Ее муж, крупный работник штаба округа, явившись как-то по делам мобилизационных планов, спросил, нельзя ли устроить его жену на работу ко мне в аппарат?

У нас все места были заняты. Я порекомендовал Марию Шульгу сектору культуры. Побеседовав с претенденткой, ее охотно приняли в штат. После начальство очень похвально отзывалось о ней как о работнике. И вдруг — такой конфуз!

Я ходил как в тумане. Казалось, что все смотрят на меня с

подозрением. Вспомнил внимание, с которым слушал меня переполненный зал во время недавней партийной чистки, и представлял себе то собрание, перед которым я должен буду отчитываться.

Незадолго до убийства Кирова явился ко мне Ярошенко с бумажкой из УГБ, рекомендовавшей его на пост заведующего сектором обороны Наркомпищепрома. Я отказался от этой кандидатуры. Ярошенко поинтересовался причиной отказа. Я ему сказал то, что думал: «То, что вам доверяет УГБ, это хорошо. Но я вам оборонной работы не могу доверить. Надеюсь, вы помните лето 1921 года, лес под Литином, где наши казаки поймали вас — петлюровского резидента»..

— У меня семья!

— У вас семья? Но надо думать о миллионах семей.

— Жаль, жаль, — покачал головой проситель. — Я думал, что я своей работой на пользу Советской власти загладил свои преступления.

Именно — загладил. Загладить — это одно, а искупить — другое.

Ярошенко ушел. Уходя, посмотрел на меня долгим, ненавидящим взглядом. Такая свобода взора была бы опасна лишь при наличии свободы рук. И вот связанные много лет назад руки вновь получили свободу действия...

Спустя час мне уже звонили из УГБ. Начальник оперативного отдела Соколов-Шостак укорял меня: «Вы не доверяете органам!» Он заявил, что будет жаловаться в ЦК. В заключение сказал: «Смотрите, как бы вам не пришлось пожалеть». Но Ярошенко я все же к оборонной работе не допустил.

В тот день, когда стало известно об аресте Шульги, в здании оперы собрался партийный актив, где должен был выступать Постышев. Получил билет и я. У входа в театр, у полураскрытых дверей, стоял помощник Соколова. Проверив билет, он закрыл дверь перед самым моим носом. На мой недоуменный вопрос ответил: «Зал переполнен», но пришедших после меня он пропустил. Машина Соколова заработала...

Я ждал худшего. Ждал, естественно, что от меня потребуют объяснения руководители: Коссиор, Любченко, Якир. Но они меня не тревожили. Меня тревожили собственные невеселые мысли. Я позвонил начальнику Особого отдела округа Бржезовскому, бывшему особисту червонного казачества. Он сказал, что Шульга встречалась на курорте с Николаевым — убийцей Кирова. По ее делу ведется дознание. От этого сообщения стало еще тяжелей. Не выходила из головы угроза Соколова.

Это не шутка — самому болезненно переживать удар,

нанесенный моей партии, и тут же в какой-то мере, хотя и косвенно, очутиться причастным к тем, кто виновен в этом злодеянии!

Прошел еще день. И... с утра, вместе со всеми сотрудниками, вышла на работу полностью обеленная Шульга. Не садясь за стол, поспешила ко мне, со слезами на глазах просила прощения за невольно доставленное мне огорчение. Вся история с письмом Николаева, с курортными встречами оказалась мифом.

Вскоре состоялся публичный процесс над Зиновьевым и Каменевым — «идейными вдохновителями убийства Кирова». Читая отчеты суда, я вспомнил своего земляка, Зиновия Воловича, комиссара полка в гражданскую войну, краснзнаменца.

Низкорослый, широкоплечий, с большой кудрявой головой, Волович походил на Мопассана. В гимназии его так и звали — Мопассан.

Однажды мы встретились с ним на Сретенке. Это было в 1932 году. Он повел меня к себе. Его учреждение помещалось рядом с Лубянкой, в небольшом домике. Очевидно, желая показать, что и он не последняя спица в колеснице, Мопассан развернул передо мной помятый номер газеты «Figaro». На первой странице были помещены два крупных портрета — Воловича и его жены. В тексте под ними значилось: «Каждый честный французский гражданин, встретив этих международных авантюристов, обязан дать о них знать ближайшему ажану». Фельетон «Какого же цвета был серый автомобиль» обвинял чету Воловичей в похищения вожака белогвардейцев генерала Кутепова.

Но вот что читатель узнает из записок Александра Вертинского:

«В «Эрмитаже» на комартене пела в одно время Тамара Грузинская, приезжая из СССР, пела Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел «забитым» мужем такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. И тем более странной показалась нам его загадочная роль в таинственном исчезновении генерала Кутепова и Миллера. Это было и потому еще странно, что и с семьей Кутепова, и с семьей Миллера Плевицкая и Скоблин очень дружили еще со времен Галиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала».

К этому имени, к генералу Скоблину, мы еще вернемся...

Лукаво усмехаясь, Мопассан отрицал свою причастность к делу Кутепова. И тут же добавил: «Жду повышения. Кажется, пойду в заместители к знаменитому латышу Паукеру. Это

начоперод — гроза контрреволюции, столп нашего ГПУ. Мне оказывают большущее доверие. Буду отвечать за охрану Сталина...»

В конце месяца зашел ко мне на работу Натан Рыбак, сотрудник комсомольской газеты, тогда только лишь начинающий литератор. Поговорив о том о сем, о предстоящей отмене с 1 января 1935 года карточной системы, предложил встретиться вместе Новый год.

— Соберемся: я, Саша Корнейчук, вы, наши жены. Пригласите товарища Шмидта. Мы с Сашей хотели познакомиться и послушать этого замечательного героя.

Я позвонил командиру танковой бригады Шмидту. Он ответил:

— В компании разные меня не тащи. Знаешь, какое время! Сейчас не успеваю отчитываться на собраниях: с кем, когда, зачем встречался. А потом станут допытываться, с кем встречал Новый год? Не было ли там недобитых националистов? Ведь писатели!

Это высказывание танкового комбрига я привел не зря. Спустя полтора года его одиозная фигура была выбрана как ключевая для дьявольской операции избиения лучших кадров Красной Армии.

В прошлом землекоп, коммунист с 1915 года, за исключительную храбрость Шмидт заслужил на фронте четыре Георгия и чин прапорщика. В 1917 году, вместе с подполковником Крапивянским и нынешним профессором Ф. В. Поповым, играл видную роль в большевизации солдатских комитетов Юго-Западного фронта. В 1918 году он комендант родных Прилук. Захватив город, озверевшие самостийники расстреляли большевика-коменданта. Его подобрали подпольщики. Он оказался живым, и его выходили, Шмидт создал партизанский отряд и, согласуя свои действия с черниговскими повстанцами Крапивянского, освободил от оккупантов и гетманцев большую территорию Полтавщины. Затем во главе Суджанского полка в составе 2-й Повстанческой дивизии освобождал Украину.

За бой под Люботином Шмидт получил первый орден Красного Знамени.

Потом во главе бригады выгонял петлюровцев из Кременчуга, Винницы, Проскурова. Командовал дивизией под Царицыном. На глазах у Сталина и Ворошилова, раненный в грудь и поддерживаемый под руки двумя красноармейцами, не покидал поля боя до полного разгрома уллагаевской дивизии. Получил второй орден Красного Знамени. Генерал-лейтенант Лукин, командовавший тогда у Шмидта полком, бывший заместитель

Маресьева по Комитету ветеранов войны, свидетельствовал, что ему не довелось видеть более отважного командира, чем Шмидт. В 1921 году он командир 2-й червонно-казахской дивизии. В бою с бандой получил еще одно ранение. Из конного корпуса Примакова он попал в Елисаветград на пост начальника кавалерийской школы. Потом он начальник Владикавказской школы горских национальностей, командир кавалерийской дивизии в корпусе Тимошенко. Храбрец, балагур, остряк, любимец бойцов, добрый товарищ, Дмитрий Шмидт был одним из самых популярных командиров Красной Армии.

Его знала не только армия. В среде крупных партийцев он был свой человек, на заводах Митьку Шмидта встречали как своего брата. Любила его и артистическая среда — дружил он с Качаловым, Хмелевым, Утесовым. Имел друзей среди писателей. Приезжал к нему в гости Бабель. Поэт Багрицкий посвятил ему свою лучшую работу — «Думы про Опанаса».

И вышло так — писатели, с кем отказался встретиться под Новый год Шмидт, здоровствовались и процветали, а его самого, увы, давно нет среди нас. Зато сейчас в трудах о прошлых ратных делах, о годах борьбы за молодую Республику с заслуженным уважением называется имя Дмитрия Аркадьевича Шмидта.

И вот копия письма киномеханика из Прилук Митьки Шмидта Иосифу Сталину, 1937 год.

«Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, знаю, что Вы заняты по горло, однако решил оторвать у Вас несколько минут. Как-то взбрела в голову Ворошилову идиотская мысль, будто я собираюсь его убить. Вы были свидетелем боя за Царицын, в котором моя дивизия одолела бешеные орды денкинца Уллагая. В Вашей власти не допустить торжества черной несправедливости.

Бывший начдив стрелковой царицынской дивизии Д. Шмидт».

Спустя неделю Шмидта казнили. Ныне в Прилуках установлен монумент в память первого военного коменданта города.

* * *

В первые дни января 1935 года я встретился на широкой парадной лестнице игнатьевского особняка с Любченко. Он крепко пожал мне руку.

— Я только с заседания ЦК. Собирайтесь в Москву, в бронетанковую академию. Жаль, жаль расставаться, но ничего не поделаешь. Желаю удачи.

Попрощались мы очень тепло. Меня радовала перспектива возвращения в армию. Но одно удивляло: Якир обещал направить меня в строй, а тут — академия. Ничего не попишешь — начальству виднее.

Покидал я аппарат Совнаркома не без грусти и уезжал на учебу в столицу не без удовольствия.

Лефортовский дворец — монументальное наследие пышного екатерининского царствования.

По проекту Ринольди 1773 года его возводили сорок лет. Строили славные отечественные зодчие Волков, Жеребцов, Плужанов на том самом месте, где стоял когда-то старый, несколько раз горевший, Петровский палац. Гигантское сооружение кранового цвета, с коринфскими колоннами, подпиравшими белый трехугольный фронтон со следами двуглавого орла, своим фасом простиралось на несколько кварталов.

Стиль ампир из российских столиц и губернских центров проник во все крупнейшие барские усадьбы империи. Общественные здания — это материальное выражение духовной структуры народа и морального облика его вождей. Екатерина, став во главе азиатской державы, значительно европеизированной ее великим и дерзким предшественником, постаралась придать ей и европейский лоск через свою администрацию и через своих зодчих.

Обширные вестибюли, широкие мраморные марши, сверкающие люстры, двухцветные залы, высокие хоромы преследовали одну цель — подавлять умы и символизировать ничтожество бессильного человека перед всемогущей системой.

В Лефортовском дворце размещались автобронетанковая академия и академические годичные курсы при ней — АКУС. Неподалеку высилось мрачное здание лефортовского старинного училища. В нем содержался генерал Матковский, бывший начальник штаба Колчака.

Старожилы показывали нам окно домика, через которое один из слушателей, мстя за повешенного брата, застрелил преподавателя — царского генерала Слащева.

Слащев-вешатель был правой рукой Врангеля. «Обиженный» своими, он в тридцатые годы, находясь еще в Константинополе, предложил Москве умопомрачительный план разгрома чуть ли не всего капиталистического мира. Свой поход он мыслил начать через Индию. Авантюру Слащева отвергли, а ему самому разрешили вернуться в Советский Союз. Здесь он обучал своих вчерашних врагов стрелковому делу.

Пять месяцев на курсах пролетели незаметно. Состав слушателей, явившихся со всех концов страны, отличался пестротой: строевые командиры, политработники, танкисты, конники, пехотинцы, штабники, пограничники. Бронетанковая

академия с утра до ночи кипела, как котел. Погоня за знаниями была бешеной. Напряженный труд этой молодежи не пропал даром. Это они создали и повели в бой против фашизма армады советских танков.

А каков был путь к тем броневым армадам? В 1918 году на полях Франции у Камбрэ пехотные клинья немцев были развеяны в прах стальными клиньями союзников. В ту пору Красная Армия о них могла лишь мечтать. Отбив несколько громоздких «Рикардо» у интервентов, мы вспоминали слова «Дубинушки»: «Англичанин-мудрец, коль работать не смог, изобрел за машиной машину...»

Но вот осталась позади наша первая пятилетка. Англичанин — мудрец Фуллер, танковый апостол, тщетно зывал к мудрости лордов, а у нас уже полной грудью дышали танковые корпуса — Калиновского в Москве, Борисенко в Киеве, Чайковского в Ленинграде. В научно-исследовательском институте академии разрабатывались проекты новых боевых машин. Вместе с советскими конструкторами работал американский инженер Кристи — творец самой быстроходной машины, не пожелавший отдать капиталистам свое изобретение.

В Лефортовском саду — детище Растрелли и Казакова — находился каток. После напряженного дня учебы многие слушатели уходили туда. На льду чудеснейшим образом восстанавливались силы, растраченные в классе и на танкодроме.

Много бегал на коньках Куркин, «бобик». Так звали танкистов, служивших еще в царских броневых отрядах.

Катался Адъютант Франца-Иосифа — галичанин Богдан Петрович Пэтрица, командир киевского танкового батальона, колосс, напоминавший тяжелый танк. Призванный в австро-венгерскую армию, по росту он попал в ординарцы императорской ставки и за это получил свое прозвище. Адъютант Франца-Иосифа то спотыкался, то падал, то ноги его расплзались по льду. Но больше всего он восхищал нас своим великолепным ростом. Зато Серый Барон Розэ — однофамилец героя гражданской войны Вольдемара Розэ, сын латвийского хуторянина, был чрезвычайно грациозен на льду.

...На катке во всю мощь гудел репродуктор. Радио передавало заключительное заседание очередной сессии Верховного Совета СССР. Но то, что происходило на том заключительном заседании, шло вразрез с ленинскими принципами, с ленинской скромностью: славословили Сталина. Делегаты сессии вели себя тогда, как идолопоклонники. И это, как всегда, рано или поздно дало себя знать. Тогда, на катке, конечно, больше подсознанием, чем разумом, я почувствовал угрозу, таившуюся в нечеловеческом

восторге, которым захлебывался лефортовский репродуктор...

Однажды мне довелось быть очевидцем безумного восторга людей, и этот восторг не только радовал, но и восхищал меня. В 1929 году, на годовщину корпуса червонного казачества, приехали в Проскуров его боевые ветераны.

На широком пространстве раскинулась огромная затихшая конная масса. Впереди всех на рослых жеребцах застыли командиры дивизий. Два человека с разными жизненными путями, разными характерами и разной судьбой. Ивану Никулину не пришлось вести свою дивизию в бой. А другой — Александр Горбатов — после двух лет, проведенных на Колыме, командовал в Отечественную войну армией и стал впоследствии комендантом Берлина.

Во второй линии, на крупных лошадях, ждали команды восемь командиров кавалерийских, два артиллерийских и, в своих танках, два командира танковых полков. В третьей — сорок восемь командиров эскадронов и батарей, и в четвертой — сто девяносто два взводных командира. Десятитысячная масса всадников затихла позади линии командиров взводов.

В каждой дивизии полк вороных, полк гнедых, полк рыжих и полк серых коней. И хор трубачей с серебряными трубами на правом фланге полков. И с золотой бахромой и золотой канителью увесистые бархатные знамена, покрытые боевой славой, овеванные ветрами сражений, прокопченные пороховым дымом, алые, пурпурные и красно-багровые, как и кровь героев, пролитая во имя чести этих воинских святынь.

Некоторые из них были вручены червонным казакам в огне боев Михаилом Ивановичем Калининым.

Громкое «ура!» перекачивалось по рядам от одного фланга к другому и, подхлестываемое звуками гремющей и поющей меди, замирало где-то вдали на окраине города.

Ветераны с развевающимися по ветру знаменами двинулись вдоль строя. Сначала рысью, а затем широким галопом. И громовое «ура!», в котором выражались восторг и восхищение многотысячной массы, долго не умолкало на этом праздничном поле. Воистину, это были потрясающие минуты, которых не забудешь вовек. Но этот восторг, это ликование, это неистовство были адресованы великой идее, героическому прошлому советского народа, историческим победам его неодолимой армии. Не отдельному герою, не сверхчеловеку, не божеству.

В Москве свободное время я часто проводил в доме Кругловых на Чистых прудах. Александра Круглова, смуглого, неунывающего одессита, я любил за живой характер, ум, решительность. В пятнадцать лет — он комиссар бронепоезда «Коршун», в семнадцать — комиссар полка. В 1921 году мы с ним недолго работали вместе в 7-м червонно-казацком полку. Он завоевал казачью массу не только бойким словом, но и своим замечательным смычком. В нашей самодеятельности большую роль играла скрипка комиссара полка.

В Москву, в Главное политическое управление Красной Армии, Круглов попал из Тирасполя, где был комиссаром Тираспольского УРа. Александр Круглов умел зажечь большевистским энтузиазмом и инженеров, и рабочих, умел позаботиться и о строителях, и о стройматериалах. Не раз являлся в Совнарком Украины с жалобами на нехватку вагонов, цемента, арматуры, гранитного щебня. И кто бы, в память прошлой дружной работы, не помог своему товарищу? Помогал Круглову и я.

Гамарник взял энергичного комиссара к себе. Инспектора ПУРа все до единого были старыми большевиками. А тут инспектором назначили коммуниста с 1918 года. Но Круглов оправдал оказанное ему доверие.

С искренним восторгом Александр отзывался о своем начальнике — Гамарнике. Слепо любил Сталина. Его речи штудировал с красным карандашом в руках. За Сталина воевал в 1927 году с троцкистами. Скромный на работе и в быту, любил повторять сталинские слова: «Скромность украшает большевиков».

У Кругловых часто бывала Мария Данилевская, старая большевичка, подруга Кругловой — Эльзы Антоновны. С Данилевской летом в 1919 году мы отправились из Киева на деникинский фронт. Там ее назначили начальником политотдела 42-й дивизии. Умная, содержательная женщина, она тяжело переживала свой страшный изъяз — огромный ожог на лице.

Однажды мне позвонили из дома певицы Клавдии Новиковой. Приехавший из Киева ее муж Швачко, начальник противовоздушной обороны Украины, мой приятель, звал меня к себе.

Александр Ильич Швачко обладал невероятной силой и величественной внешностью. Если бы он жил в античном мире, где гармоничность форм ценилась наряду с бойкостью речи, он занял бы видное место в общественной жизни страны. Его голубые глаза светились добротой, а светло-золотистые волнистые волосы придавали благородное мужество его

приятному лицу. Тембр его голоса был внушителен. И Швачко так мило умел говорить о пустяках, что сразу никто и не подумал бы, что человек не очень умен.

Рожденный в помещичьей семье, Швачко, не успев приобщиться к сливкам своего сословия, попал в самую гущу народных масс. В 1916 году восемнадцатилетним прапорщиком он в солдатских окопах. Это выработало в нем ту простоту, которая, не изгладив черт хорошего воспитания, делала его приятным всюду, где бы он ни появлялся.

Александр Ильич мог хлебать щи из одного котелка с первым попавшимся бойцом, завалиться спать в кучу отдыхающих солдат и, прибыв в полк, бросить на ходу дежурному свою шинель, небрежно процедив: «Почисти, милый, пока я обойду часть». Он любил говорить: «А знаете, кто возглавляет противовоздушную оборону Франции? Сам Пэтен!»

Швачко, имея какое-то поручение к москвичке Елене Константиновне Боевой, попросил меня сходить с ним на Басманную улицу.

Выросши в бедной крестьянской семье на Урале, Боева, богато одаренная от природы, недурно рисовала, пела, играла на рояле, прекрасно знала наших и иноземных мастеров кисти. Со своим мужем, в прошлом видным работником ЧК, изъездила почти всю Европу.

Боев находился в Нью-Йорке на посту советского торгпреда, Елена Константиновна, заканчивая литературную учебу, оставалась в Москве.

Швачко попросил хозяйку сыграть. Она присела к роялю, предварительно взглянув в маленькое зеркальце, стоявшее на стопке партитур. Небрежно тронула клавиши. Взяла несколько аккордов, и, хотя ее просили только сыграть, она запела под собственный аккомпанемент:

*Слышен звон бубенцов издалика —
Это тройки знакомый напев.*

Пела она сильно, красиво, величественно. Казалось, что звуки ее голоса плывут среди той стужи, которая сковала бесконечный искристый простор.

Пела она сильно. То ли желая похвалиться своими связями, то ли просто из добрых побуждений, Боева предложила всем съездить в гости к ее друзьям — Антиповым, Тухачевским или Коркам, по выбору. Приглашая нас, она лукаво добавила: «Вам, военным, это знакомство не помешает». В то время такое общение с высшими военачальниками страны могло польстить всякому. Но заводить с ними знакомство шло вразрез с моими принципами.

Спустя месяц после начала занятий арестовали нашего

слушателя Серого Барона — Розэ. Призывая нас к бдительности, нам сообщили, что Розэ вместе с троцкистами замыслил какой-то террористический акт. Но никаких доказательств его вины нам не предъявили. Нам полагалось верить на слово. А почему бы нас не ознакомить с показаниями Розэ, с показаниями обличающих его свидетелей, с фактами? Убедившись в его вине, мы еще плотнее сомкнулись бы вокруг нашего ЦК, вокруг наших руководителей. Но это никого не беспокоило. «Мы сказали, а вы верьте. Попробуйте не поверить!»

Дело Розэ было отголоском грозных кировских дней.

* * *

В июне состоялся выпуск. Я уже знал, что назначен в Харьков командиром и комиссаром 4-го отдельного танкового полка вместо Кукрина. То, что мне, кандидату на кавалерийскую дивизию, давали полк, меня не смущало. Новичок в танковых войсках, я нуждался в стажировке. Наш выпускник Кукрин получил танковую бригаду.

Плох тот солдат, который не мечтает о жезле маршала. Но и плох тот маршал, который не таскал на себе тугую скатку солдата. Дух бронесил идентичен духу конницы: порыв, смелость, дерзость, инициатива, стремительность, массовость. Но конституция не та. И изучать ее надо с азов. А полк, к тому же отдельный, к тому же резерва Главного Командования, — это не такой уж плохой аз...

А может, судьба специально нажимала на тормозную педаль?.. Не зря говорят — все, что делается, делается к лучшему.

На прощальный, довольно скромный банкет пришли Халепский, начальник академии Германович. Его заместитель Стуцка, бывший комбриг знаменитой Латышской дивизии, зная, что я знаком с Постышевым, попросил меня поговорить с ним. Сын Постышева вел себя вызывающе, шатался по пивным, не признавал факультетских руководителей.

— Вы бы ему написали! — посоветовал я Ступке.

— Не знаю, что получится. А вдруг я же буду виноват, не сумел, мол, воспитать. Знаете, то, что другой напортит за двадцать лет, мы должны исправить за двадцать месяцев. Скажу одно — дискредитирует этот юноша своего отца.

Стуцка советовал мне перед отъездом из Москвы представиться Халепскому. Но я не внял этому голосу благоразумия. Постеснялся. Думал: чего я, какой-то там

комполка, полезу к начальнику Автобронетанкового управления отнимать его время никому не нужными церемониями. Но Стуцка был дальновиднее меня...

Как-то в те дни я встретился с Еленой Константиновной Боевой. Она поздравила меня с окончанием учебы. Сказала, что в ближайшие дни едет в Нью-Йорк и что перед отъездом ей бы хотелось сделать доброе дело.

— И стоит ли вам забираться в какой-то Чугуев. Хотите — поговорю с Тухачевским, Корком. Вас оставят здесь. Потом скажете мне спасибо.

— Извините, добрый человек, но мне это претит, — ответил я. — Я же не «милый друг».

Иностранные гости

Академия дала много, но не все. Пришлось учить людей, учиться самому.

В Чугуевском военном лагере издавна ковалась русская ратная сила. Стрелковые полки стояли на тех же участках, где в старое время располагалась пехота. 4-й танковый полк занимал сосняк, в котором когда-то ютились ахтырские гусары. Лагерь упирался в бойкий и глубокий Донец.

За лесом, на широких волнистых песках, по умятым дорожкам от зари до зари носились танки, барабаны из пушек и пулеметов по далеким тусклым щитам.

Мы перестроили весь план огневой подготовки. Бойцов стали обучать так, как в академии учили меня.

На танкодроме, тоже спозаранок, ревели, как звери, сильные моторы. Грохотали гусеницы. Пищали катки и колеса.

Обжигала руки раскаленная броня. Мелкий песчаный туман золотил лица, подводил глаза, скрипел под зубами и тихо плелся к лесу, где оседал на пустые палатки танкистов.

Через неделю мне уже казалось, что я ни на один день не расставался с армией, хотя за пять лет боевая техника сильно шагнула вперед. 4-й танковый полк представлял собой обычный, спаянный хорошими традициями коллектив. Командиры? Такие, какими я знал их раньше, но более грамотные, и бойцы были полюбопытнее. Порядки те же, но чуть-чуть построже. И я был тот же, но чуть постарше, чуть неопытнее, но ничуть не помудрей...

Пришлось очень много работать. Начальник штаба полка Хонг-Ый-Пе только что вернулся с учебы в Ерескинских лагерях, за Полтавой. Помощник по политической части Зубенко проходил семинар в Харькове, а хозяйственник Толкушкин — пожилой человек, служивший еще в Ахтырском гусарском полку и помнивший старую интендантскую заповедь: «Из всех доверенных мне желудков самый ценный — это мой» — был очень неподвижен, и за это, по заслугам, называли его Бестолкушкиным.

Свою работу Хонг-Ый-Пе выполнял безукоризненно, точно и грамотно. Первые мои опасения развеялись. Я считал, что мне придется делать многое из того, что входит в круг обязанностей начальника штаба, но уроженец далекой Кореи был аккуратен, исполнительен и инициативен.

Хонг отличался столь же замкнутой душой, как и лицом. На вопросы отвечал четко, кратко и исчерпывающе. Ни одного лишнего слова, ни одного зряшного восклицания. Жестов вообще

не знал этот казавшийся высеченным из камня азиат.

Вскоре явился в полк знатный гость — майор французского генерального штаба Луи Легуэст. Старше меня тремя годами, сухой, поджарый, корректный, выдержанный, с умными черными глазами, он не скрывал своей радости, вызванной франко-советским союзом. Ненавидел Гитлера, понимая, какая угроза нависла над его любимой родиной. Сын макаронной фабрикантши, он видел спасение Франции в тесном союзе с Красной Армией. Танковое дело знал отлично. На танках воевал в прошлую войну, имел много печатных трудов.

Легуэст видел советских военных у себя в Париже. Но одно дело там, во Франции, а другое — здесь, в Чугуеве, в глубоких недрах далекой и загадочной, внушающей страх и любопытство страны.

На майоре был новый светлый костюм из мягкого шелковистого габардина. Брюки — с черным узким басоном от карманов до самых штрипок. На круглых серебряных пуговицах мундира — выпуклый рыцарский шлем. Над левым карманом — орденская колодка. На голове — с большим прямым козырьком какое-то похоронное черное кепи, густо шитое золотой капителью.

Припорошенный дорожной пылью, он стоял в кабинете навтыяжку.

— Бонжур, мон колонель. Здря-вст-вуйтэ, гаспадин полковник, — тут же перевел он свои слова.

Поздоровался со мной и со всеми приглашенными в кабинет командирами батальонов. Каждому посмотрел глубоко в глаза — изучал.

Встретившись взглядом с начальником штаба, майор на миг растерялся: «Не есть ли это один из тех страшных китайцев-большевиков, которыми во Франции пугают чувствительных дамочек?»

Усаживаясь на самый кончик стула — то ли это была природная скромность, то ли этикет, — француз снял черное кепи и обнажил охваченную необъятной лысиной голову.

— Устали с дороги? — задал я гостю один из тех стандартных вопросов, которыми отличается всякий «дипломатический» разговор.

— Ньекогда било устават, полковник, ошень много, как это по-руськи — импрессион, ага, впишатлень.

Несколько раз украдкой француз взглянул на Хонга, застывшего на своем месте, как величественный Будда. Очевидно, этот персонаж возбудил во французе особое любопытство.

Потянулись дни учебы. Стажер работал исправно. Изучал,

быть может, не все то, что ему бы хотелось, но все то, к чему он имел доступ. В синем берете, в рабочем костюме, его можно было видеть на полигоне, на танкодроме, в парках, в мастерских. На командирских занятиях, в классе, в поле, вел карту, как и все. На вопросы отвечал четко, отрывисто. На занятиях я был к нему требователен, строг, как и ко всем. На субботних совещаниях, где говорилось о промахах командиров, француз смеялся: «У нас это называется «пойти к полковнику на чашку чая, кофе».

Однажды, после ночного учения, майор восторгался советской танковой тактикой:

— Какая смелость! Какой дерзкий размах! Какая решительность! А кондукторы, — так он называл водителей машин, — это же настоящие дьяблы!

— Разве у вас нет ночных учений с танками? — спросил я.

— Что вы? Французы? Ночью? Танки?

— Как-то не верится, — пожал я плечами.

— Ma foi! — решительно взмахнул обеими руками француз. — Вот вы не верите моим словам, а я не верю своим глазам. Что лучше, что хуже? Нет, правда, с такими кондукторами нет ничего недоступного.

— Да, — согласился с французом замполит Зубенко. — Мы считаем так: там, где не пройдет колесо, там пройдет лошадь, где не пройдет лошадь, там пройдет человек, а где не пройдет человек, там пройдет наш красноармеец!

— О-ля-ля! Камрад, вы философ!

Ночной маневр, закончившийся учением — переправой через Донец, привел нас к большому молочному совхозу. Откуда-то пришли румяные, цветущие девушки. Принесли кувшины с холодным молоком, сытные караваи, пирамиды сливочного масла. Появились столы. И после целой ночи блужданий по полям это было великолепным завершением учебы.

Рабочие совхоза обступили гостя. Одной женщине очень захотелось говорить, и она, став у стола, произнесла длинную речь, призывая союзную Францию быть бдительной по отношению к фашистам. Чутье этой доярки не обмануло ее. Кто знает, быть может, это она с партизанской винтовкой спустя всего лишь шесть лет дралась здесь, у Донца, с нацистской сволочью или, замученная палачами, сложила свои косточки на немецкой земле.

Отвечал и француз. Говорил с жаром. Он понял, что могущество его союзника — не только в его танках. Он увидел, что за танками стоит народ, его гранитная воля к сопротивлению.

Наверное, нигде и никогда на его родине ему так не аплодировали, как здесь, в этой украинской глуши, у древнего и капризного Донца.

На прощание совхозники с чувством трясли французу руку. Девушки, осмелев, хлопали его по плечу. Но он не оскорбился этим амикошонством. Быть может, он в ту пору взвесил, что эти простые люди могут стать наиболее верными друзьями любимой им Франции.

Легуэст достал бумажник. Искал глазами, кому же заплатить за деревенский импровизированный завтрак. Но на него замахали руками. Гость изумился:

— У нас не так. Дружба дружбой, а франк — это франк.

Француз вскоре стал неузнаваем. Раньше он ходил с опаской, ко всему присматриваясь, был все время настороже. Со всех не спускал робких изучающих глаз. Теперь взгляд его стал мягким, спокойным. Ко мне никогда не подходил первым. Ждал, когда к нему обратятся, позовут. И чувствовалось, что его радовало это внимание.

В театры, рестораны майор отправлялся с Некрасовым — нашим капитаном. Вместе они ездили осматривать город, заводы. Платили по очереди — таков был между ними уговор. Но, по признанию Некрасова, Легуэст был скуповат. Француз!

Часто мы с ним беседовали о французской литературе. Он ее знал хорошо. Особенно классиков. Когда заговорили о Викторе Маргерите, майор замахал руками. По его словам, писатель оклеветал французскую женщину. Каждая француженка — это мать, а мать достойна преклонения, не хулы.

Нам нравился его такт. Мы много слышали о японцах-стажерах, доходивших в своем любопытстве до откровенного нахальства. Мы допускали, что майор имел свои специфические задачи. Но оснований для жалоб у нас не было.

Особенно Легуэст вникал в тактику. Здесь, по его словам, он нашел для себя много нового. Он много читал Фуллера, но только сейчас убедился, что доктрина англичанина по-настоящему проводится в жизнь здесь, в СССР. Французы мыслят себе действие танков в тесной связи с пехотой на поле боя, а не в отрыве от нее — на оперативном просторе. «Неужели вы так же будете и воевать?» — удивлялся он и в то же время восхищался дерзостными бросками наших танковых частей. «Вернусь домой, обязательно расскажу полковнику де Голлю — это наш танковый теоретик».

Легуэст говорил: «Вот я знаю: ваши люди — рабочие. Мы в наши танки сажаем пейзанов. Правда, они меньше знакомы с техникой, зато послушны. Одно жаль, — жаловался француз, — ваши коммунисты из кожи лезут, чтобы укрепить армию, а наши — напротив. Сейчас вы наши союзники. Подскажите Кашену, что так нельзя. Эх, если бы наши коммунисты делали в

армии то, что делают ваши...»

— Придет время, — утешал Легуэста замполит Зубенко, — и будет по-вашему.

Многого этот французский генштабист не понимал, на многое смотрел глазами сына фабрикантши, но это был честный, смелый, прямодушный, сердечный человек, искренне желавший франко-советской дружбы. Не то, что иные иностранцы, приезжавшие к нам в полк.

Все лето провел у нас Легуэст. За это время наши дружеские отношения ни разу ничем не омрачились. Никто из нас не сомневался, что в лице майора Легуэста, посланца французской армии, мы имели крепкого защитника франко-советского пакта о взаимной помощи. Но... во Франции оказались люди посильнее Луи Легуэста...

На прощальном банкете мы преподнесли нашему гостю подарок, растрогавший его до слез, — серебряный портсигар с золотой дарственной надписью. Был и коньяк. С тремя звездочками — «поручик» и с четырьмя — «штабс-капитан», как называл их бывший ахтырец Толкушкин.

Легкие мелодии вальсов и модного танго перемежались с тостами. Звенел корнет, гудели баритоны и басы. Молодой музыкант, красный от натуги, раздувая щеки, словно отбивался от страшного серебряного удава, опоясавшего его своим толстым телом. И из этой борьбы человека с серебряным удавом рождались чудные звуки. Музыка, богатый стол, вокруг которого важно расхаживал приглашенный из Харькова метрдотель, создавали повышенное настроение. Бросая масляные взгляды на обильные закуски, Толкушкин потирал руки:

— Хороша меблировка!

Все засмеялись. Едва уловимая усмешка зашевелилась на окостеневшем лице Хонга. И ему понравилась шутка бывшего гусара.

В каждом слове легуэстовского тоста чувствовался оголенный страх перед фашистами. И спасение Франции он видел в союзе с могущественным СССР. Было очевидно, что помимо изучения тактики большевистских танков он должен был установить, насколько могущественна сама армия большевиков.

После «ура!» в честь Красной Армии все выпили по третьему бокалу хорошего вина. Этим было исполнено старое правило: «Бог троицу любит». Но русский бог не придирчив. После третьего опрокинуты были и четвертый, и пятый бокалы. За столом стало шумно. Стучали ножами и вилками, звенели бокалы. Хлопали пробки.

Гость пил усердно, не чувствуя себя связанным, как на

первом банкете. Его живые глаза искрились. Подняв бокал и чокнувшись со мной, он сказал горячо, с душой:

— Вы, мон колонель, коммунист, я — католик. — Он расстегнул пуговицу кителя и достал черненький палисандровый крест. — Я пью за ваших коммунистов и пью за то, чтобы наши коммунисты были такими же патриотами Франции, как ваши патриоты своего СССР!

— В этом я не сомневаюсь, — ответил я, выпив рюмку и наливая новую. — А теперь выпьем за католиков, которые пьют за коммунистов.

— Выпьем за ваш замечательный полк, — предложил Легуэст.

Да, мы все ценили несокрушимое боевое братство, каким отличалась наша часть. По нашему полку Легуэст и все пославшие его могли судить о моральном облике всей Красной Армии.

Так 4-й танковый полк превратился в приемную для всех иностранцев. После француза прибыли из буржуазной Литвы командир ее единственного бронетанкового полка подполковник Сидобрас и лейтенант Печюра. Им был устроен скромный обед в части. Неуклюжий, похожий на переодетого дьячка, Сидобрас чувствовал себя неуверенно и все время жалко улыбался. Лейтенант Печюра был остер на глаз и боек на язык.

Командир полка жил у нас неделю, лейтенант приехал на шесть месяцев. От командующего Дубового мы получили установку «показать товар лицом». И вот танковый полк в полном составе построился в поле. У старшего гостя из Каунаса глаза полезли на лоб. Он до того был восхищен невиданным зрелищем танковой мощи, что бросился открывать дверцу машины, на которой приехали мы с заместителем Зубенко и начальником штаба Хонг-Бй-Пе.

Это было время, когда входивший в силу немецкий милитаризм хищно клал зубами над несчастной буржуазной Литвой, нахально требуя передачи ему Мемеля — Клайпеды. Литовские правители, чуя смертную угрозу, шатнулись в сторону Москвы, хотя ее вожди — крупные помещики охотно пошли бы наговор с Гитлером.

Растерянный, сияя от восторга, Сидобрас пролепетал на ломаном русском языке:

— Эх, нам бы эту силу. Мы бы не так разговаривали с немцами из-за Клайпеды. Ну, хотя бы тот батальон, — указал он на правофланговое подразделение строя, где стояли тяжелые машины Т-28. — В моем полку, — скис гость, — десять несчастных бронемашин и пять «ванек-встанек» — французских «Рено».

По взмаху красного флага из общего строя машин отделилась одна и, сделав неполный эллипс, урча и содрогаясь, остановилась на полном ходу. Взвилась крышка люка, в из машины, ловко оттолкнувшись руками, выпрыгнул водитель.

Я забрался в свой командирский танк. Сделав на максимальной скорости несколько широких вольтов, преодолел противотанковый ров, два эскарпа и, резко затормозив, остановился. Это не было моим ухарством. По инструкции показ вождения начинал командир части.

— Пожалуйста, попробуйте нашу быстроходную, — предложил я гостю.

Литовец замахал руками:

— Нет, нет! Вот лейтенант Печюра наберется у вас мудрости. А тогда уж вернется и будет учить нас.

Через неделю прибыл литовский военный атташе полковник Скучас. Благодарил за гостеприимство, оказанное литовским офицерам, выпил чашку чая и пригласил наших командиров к себе на ужин.

Широким жестом он достал из кармана брюк коробку папирос, с тисненными золотыми буквами на крышке и станиолем внутри. Из ящика письменного стола я вынул свои, такие же. Правило: «По папиросам встречают, по уму провожают».

Атташе вначале принимал гостей у себя в номере. Он прекрасно, без всякого акцента, говорил по-русски, не то, что Сидобрас. Это был высокий, плечистый, довольно красивый, с барскими манерами брюнет, не чета его офицерам-хуторянам.

Пришел официант с подносом. Кто стоя, кто сидя выпил свою рюмку, закусывая вино хрупким бисквитом. Полковник Скучас занимал гостей.

— Знаете, здесь, в этом номере, жил Эдуард Эррио! Это делает нам честь, господа! Профессор! Знаменитость! Должен вам сказать, господа, — продолжал атташе, — Харьков — родной для меня город. Да, да, не смотрите на меня так. Я ведь кончал Чугуевское училище. Мне очень хотелось посмотреть места, где прошли мои юнкерские годы. Генерал Дубовой был очень любезен, дал мне машину. Знаете, господа, я поражен! Там, где было дикое, половецкое поле, выросли гиганты. Вдоль всего шоссе Харьков — Чугуев — заводы, заводы, заводы, огромные дома, парки, асфальт. У Рогани — цеха, ангары, самолеты, но я, разумеется, не имею права спрашивать, что там, в этих цехах и ангарах. Очевидно, там не делают шоколад, — усмехнулся атташе. — Но Чугуев — боже мой! — наш славный Чугуев — его не узнать! Домики отставных офицеров, где мы жили, развалились. Само училище вросло в землю, а парк, шикарный

парк, с которым связано столько воспоминаний, почти весь вырублен, уничтожен.

— Господин полковник, — успокоил его один из наших товарищей. — Возможно, если б в Чугуеве не был уничтожен старый парк, то не были бы созданы в Европе некоторые государства...

Атташе секунду смотрел изумленно, а потом сказал:

— Возможно, что вы правы. Не пора ли нам ужинать?

Стол был накрыт внизу, на втором этаже, в ресторане.

За ужином атташе рассказал о себе. Он служил в царской гвардии, в Петербурге. У себя, в Каунасе, командовал дивизией. Кроме дома в столице ему принадлежало крупное поместье с богатым заповедником, и каждый год к нему на охоту приезжал его друг — сам президент. Ему приходилось очень трудно: жить надо в Москве, а все хозяйство лежит на супруге. И дочь надо воспитывать. Она уже взрослая девица.

— Вы сами знаете, что это значит!

— «Что за комиссия, создатель...» — усмехнулся Зубенко.

— «Быть взрослой дочери отцом», — продолжал Скучас. — Вы знаете, наш министр иностранных дел был когда-то видным русским поэтом. Балтрушайтис, слышали?

Гость продекламировал воинственную песенку.

— Что же, выпьем, господин полковник, за поэзию, которая прославляет мечи, — предложил я.

— И за мечи, которые дружат с поэзией, — изысканно, по-гвардейски, раскланялся атташе. — Нам сейчас очень тяжело, — продолжал он. — Мы — республика маленькая, как говорят, на один зуб. И приходится содержать непосильную для нас армию. Зато у нас...

— Большому кораблю — большое плавание!

— Жаль, — покачал головой атташе, — Европа не принимает ваших планов разоружения.

— Да, жаль, — согласился с ним Зубенко. — А пока что... Знаете, между двумя грозами громоотвод бездействует, но ни один нормальный человек не предложит снять громоотвод после грозы.

— Я с вами согласен, — усмехнулся атташе. — А как вы думаете — война будет?

— Будет! — сказал я. — И знаете почему? Раньше империалисты боялись, что мы будем забирать то, что принадлежит нам. А сейчас, когда мы очень многое создали, они захотят забрать у нас наше.

Ресторан опустел. Подвыпивший Печюра взял у музыкантов скрипку. Подняв смычок, он сказал: «Отец, владелец небольшой

мызы, не мог содержать меня — студента. Я купил скрипку и стал играть в ресторане. Но и это не помогло — пришлось пойти в военную школу».

Сопровождавший полковника Скучаса начальник литовских военных училищ сел за рояль. Тогда и наши показали себя. Капитан Некрасов, завладев баяном, показал гостям, что и наши командиры как музыканты чего-то стоят... Помещение заполнилось звуками веселой польки, одинаково национальной и для русских, и для поляков, и для уроженцев Литвы.

Полковник Скучас, галантно изогнувшись, пригласил Толкушкина. Пошли в пляс с нашими командирами и Сидобрас, и Печюра, и полковник — начальник военных училищ. Слабая Литва жалась к сильному соседу. И этим сильным, верным соседом был Советский Союз.

Не знаю, может, и эта скромная встреча внесла свою лепту в дело последующего воссоединения угнетенной Литвы с великим Советским Союзом.

Пока Скучас отбивал на пианино «На сопках Маньчжурии», изрядно охмелевший командир литовского бронеполна Сидобрас шептал мне:

— Мне что? Я не Скучас! У меня нет ни своих полей, ни своих лесов. Живу с жалованья. Армия нужна нам теперь, без нее не обойдется и Советская Литва. Буду служить в литовской Красной Армии. Если не прогонят, конечно...

Так оно и случилось. Добро клонится к добру, а зло ко злу. Трудовая Литва, войдя в семью советских народов, отстояла от фашистов и Клайпеду, и Вильнюс. Подполковник Сидобрас служил в Красной Армии. Бывший лейтенант Печюра занимал крупный пост в Министерстве культуры Литовской ССР. А бывший военный атташе полковник Скучас? Вот выдержка из письма советского генерала Владислава Нарьялиса, бывшего начальника генерального штаба буржуазной Литвы:

«В последние годы, т. е. в 1939 — первой половине 1940 года, Скучас в чине бригадного генерала был министром внутренних дел. Много подлостей наделал во время своего царствования, а летом 1940 года удирал за границу, но, насколько помню, был пойман и получил по заслугам».

* * *

Командующий войсками округа Иван Дубовой давал очередной банкет в «Красной гостинице». Иностранные гости стали нашим стихийным бедствием. На этот раз — чехи.

Начальник генерального штаба генерал Крейчи, сыгравший впоследствии постыдную роль в судьбе Чехословакии, все время ахал, вспоминая танковый цех нашего ХПЗ. А ведь их «Шкода» тоже что-нибудь да значил!

К бульону подали хлебные лукошки с запеченным в них паштетом. Полковник-пограничник, а по-чешски граничар, чувствовал себя крайне неловко. Боясь показаться смешным, он не решался первым приступить к загадочной еде. Чтобы выиграть время, он зорко следил за тем, что будут делать соседи.

— Мы завидуем вам. Вот нам бы такое правительство, как ваше!

— Как вас понять, господин полковник? — спросил Дубовой.

— Видите ли, когда нашей армии надо каких-нибудь полмиллиона крон, парламент об этом размышляет полгода. А ваше правительство сказалось — и все!

— Если у вас будет такая партия, как наша, тогда у вас будет такое же правительство, как у нас! — ответили граничару.

Туровский — заместитель Дубового, улыбаясь, придержал лукошко вилкой, выгреб ножом ее содержимое. Полковник-граничар сделал то же самое. Разделавшись с одним лукошком, он уже смело приступал к другому.

— Мне все равно, — ответил он. — Я не Шкода, не Гайда и не Батя. Все богатство при мне! — Он хлопнул себя по груди, вынул из бокового кармана бумажник. Достал фотоснимок молодой женщины с ребенком. — Вот оно, мое богатство! А что касается всего остального, то я думаю, что и при коммунистах нужны будут стране граничары.

— Очевидно! — подтвердил его сосед.

Своими рассуждениями граничар напомнил мне литовца Сидобраса.

— Правда, вот с религией! — прищурил глаза чехословак. — Мы верующие, Нам нужен костел. Нам нужен бог, нам нужна вера.

— И веруйте себе, сколько вашей душе угодно, — усмехнулся Туровский, — мы ведь тоже веруем!

— Неужели? Что? В бога? В папу?

— И ни в бога! И ни в папу! Мы верим в коммунизм!

— Но это же разница!

— Разумеется, — ответил Туровский. — Одна вера ведет из мира действительности в мир фантазий, а другая — из мира фантазий в действительный мир! Какая лучше — судите сами, господин полковник.

— Говорят, вы разрушили религию! Старую религию!

— Не мы уничтожили ее. Она сама стала разрушать себя с тех

пор, как из прибежища угнетенных превратилась в оружие угнетателей.

— Знаете, господин генерал, — ответил граничар. — Я солдат, не философ. Давайте лучше выпьем!

— Давайте, давайте, — согласился Туровский. — У нас философы, когда надо, пьют не хуже солдат!..

Иностранцы! Стихийное бедствие! Но «бедствие» знаменательное! Льнули к нам лимитрофы — понятно. Коричневая акула готова была их проглотить вместе с потрохами. Но льнула Франция, победительница в прошлой войне, с ее мощной индустрией, необъятной колониальной империей, с ее отважными сенегальцами и зуавами, с ее первоклассной линией Мажино, с легендарным Верденом, чьи тяжелые жернова перемололи полтора миллиона бошей. Да, Франция льнула к стране, на которую еще недавно бросала свои дивизии и крейсера. Вот так штука!

Это говорило о нашей возросшей силе — политической и боевой. Там поняли — лишь в единении с Красной Армией может что-нибудь значить их линия Мажино...

Большие Киевские маневры

Давно уже не было здесь, в этой стороне, такого оживления, как в обильную и звонкую осень 1935 года.

По широким шляхам и тесным проселкам носились с запада на восток и с востока на запад торопливые всадники. В густом куреве пыли мчались легковые машины, маячили на буграх люди с планшетами, над полями и рощами гудели самолеты. Прибыли из Житомира и Винницы, из Проскурова, Шепетовки, Бердичева, со всего Правобережья, стрелковые и конные корпуса и вновь созданные танковые бригады. Разбившись на «синих» и «красных», они заняли свои места, одни, чтобы захватить Киев, а другие — чтобы его удержать.

Киевские маневры 1935 года были действительно большими: и по количеству войск, и по оперативному замыслу, и по числу иностранных гостей. Прибыли союзники Красной Армии — наши друзья французы во главе с генералом Луазо, чехословаки — с их начальником генерального штаба Крейчи. Явились и итальянцы — друзья наших врагов.

За хутором Паулиновка, в частом высоком ольшанике, ждал сигнала к атаке танковый корпус Борисенко. Это соединение развернулось на базе знаменитой 45-й дивизии Якира.

Робкое мерцание рассвета посеребрило кустарники, дальние холмы. На опушке рощи, широко расставив ноги, всматривался вдаль командир танковой бригады Яков Николаевич Федоренко, будущий маршал танковых войск — посредник при танковом корпусе. Тут же находились и его помощники. По тяжелым танкам помощником Федоренко назначили меня.

На прогалине, поросшей дикой травой, остановилось несколько больших машин. Приехали иностранцы. Итальянский генерал протянул руку посреднику, но Федоренко, показав взметом бровей на взвившуюся ракету, склонился над телефоном. Французский генерал Луазо посторонился и, сказав: «Не будем мешать», злорадно посмотрел на итальянца.

Гости отошли в сторонку. Посредник выругался:

— К черту под брюхо! Я старинный моряк и не терплю эту братию с корня жизни. Тоже мне друзья! Союзнички!

Тяжелый танковый батальон Адъютанта Франца-Иосифа расположился рядом с линейной танковой бригадой Шмидта. Тут и там сквозь изрядно пожелтевшую листву торчали защитные дула сорокапятков.

Свернувшись калачиком возле гусениц, спали бойцы. Повара в белых халатах раздавали экипажам завернутые в целлофан

бутерброды. Разговаривали шепотом. Нарушали тишину лишь хруст сухих веток под ногами и крики потревоженных птиц.

И вдруг со стороны штабного автофургона, закрытого маскировочной сетью, несмотря на ранний час, донесся взрыв безудержного хохота. Не было никаких сомнений, что там находился и сам Шмидт. Я направился к штабной стоянке.

Надрываясь от смеха, бойцы плотной стеной окружили своего командира. Небольшого роста, с черными, по-монгольски раскосыми глазами, в синем комбинезоне, синем берете, с двумя ромбами в петлицах, с двумя боевыми орденами на груди, Шмидт забавлял своих бойцов. Заметив меня, он, не меняя серьезного выражения лица, повел в мою сторону пальцем:

— Это, товарищи, не Лев Толстой, но тоже писатель. Кое в чем опередил Толстого. Лев Николаевич в двадцать пять лет был командиром батареи, а он — бригадный командир... Сейчас командует полком вместо Куркина-Шмуркина...

Танкисты вновь дружно рассмеялись. Я хорошо знал Шмидта, чтобы обижаться на него. Только сказал ему:

— Брось паясничать, Дмитрий Аркадьевич!

— Крепкий смех — залог здоровья, — ответил он. — Знаешь, друг, много есть мастеров вызывать у людей слезы. А я стремлюсь вызывать у людей смех. Говорил же я тебе — только из-за этого мечтал в молодости стать цирковым клоуном. А получилось другое...

Танкисты затихли. Эти слова командира, сказанные с какой-то душевной горечью, взволновали их.

— Шутки в сторону, — продолжал Шмидт. — Прошу любить и жаловать этого человека. — И шепнул мне на ухо: — Ты на меня не обижайся. Знаешь, язык мой — враг мой. Из-за него уже сто мест переменял.

Повторенный гулким эхом, раздался вдали протяжный гудок. Вскоре на просеке появился синий «бьюик». Машина остановилась у штабного фургона. Из нее, сопровождаемый адъютантом, в защитном плаще, вышел Иннокентий Андреевич Халепский. Шмидт, скомандовав: «Смирно!», доложил: «Товарищ начальник автобронетанковых сил! Восьмая линейная танковая бригада ждет сигнала к атаке».

Халепский поздоровался с танкистами. Протянул руку Шмидту:

— Как жизнь, Митя? Не унываешь?

— Живу твоими молитвами, Иннокентий, — как всегда, с серьезным видом, непринужденно ответил командир бригады.

Подошел и я. Доложил, что тяжелый батальон Петрицы готов к выступлению.

— Очень рад! — хмуро отрезал главный танкист. — Слава богу, соизволили наконец представиться начальству...

С недоумением посмотрел я на Шмидта. Тот, ничего не говоря, подмигнул мне. И вдруг кто-то зашевелился в открытом газике командира бригады. Послышался сладкий зевок. Из машины, с шинелью внакидку, с измятым после сна широким красным лицом, вышел начальник Московской танкотехнической школы Горикер.

И вид командира, и сползшая с рукава его шинели белая повязка посредника взорвали начальника бронесил:

— Где ваш планшет, Горикер? — загремел Халепский. — Доложите обстановку. Что вам известно о механизированных силах «синей стороны»? Где передовые части мехкорпуса Борисенко? Что донесла разведка 8-й мехбригады?

Наступила гробовая тишина. Лишь беспечные синички, копошась на ветках березняка, беззаботно чирикали.

Невнятный доклад Горикера не удовлетворил Халепского, располагавшего, очевидно, самыми свежими данными.

— Бездельник! — заорал он. — Для этого я вас командировал на маневры? Приехали сюда спать...

Шмидт поправил берет, Подошел к Халепскому. Не повышая голоса, перебил его:

— Ты чего раскипятился? Слышишь, какая тишина кругом, а ты здесь сотрясаешь зря воздух. Человек, который кричит, думает, что он пугает, а на самом деле он только смешит...

Мы все обомлели. Кто был для всех нас Халепский? Недосыгаемая величина, титан, главный танкист Красной Армии! И вдруг такой выпад со стороны его подчиненного...

Мы ждали новых взрывов гнева, но последнее слово Шмидта подействовало, как холодная струя из брандспойта. Халепский сник. Сел в машину. Дал команду трогать. Для сохранения престижа бросил Горикеру:

— Немедленно отправляйтесь в штаб к Борисенко. В двенадцать ноль-ноль доложите мне там обстановку. Помните — больше этого не потерплю...

Когда машина Халепского удалилась, Шмидт обратился к совершенно подавленному Горикеру:

— Вот что, Резына (начальник школы, бывший кузнец, сельский уроженец Украины, никак не мог произнести правильно слово «резина», выговаривал его твердо, с буквой «ы»), мой тебе совет — дать наступить себе на мозоль раз — это не то что ноги отдавят, а без головы останешься. Виновен — пусть наказывают по уставу. Чем выше начальник, тем скорее он забывает слова Горького: «Человек — это звучит гордо». Мало нас с тобой,

славный коваль, цукали при царе? И мы за то кровь проливали, чтобы нас считали людьми, не собаками... С богом, Резына...

Шмидт издал приветствовал командира Винницкого стрелкового корпуса бородача Гермониуса:

— Здорово, Вадим!

— Здоров, Митя!

— Клянусь потрохами убитого мною вчера зайца, у тебя сегодня в лице есть что-то восточное, экзотическое.

Гермониус улыбнулся, разгладил окладистую рыжую бороду.

— Скобелевское, кауфманское?

— Да, да, что-то туркестанское. Ты мне напоминаешь туркестанского ишака. Пусть меня автобус задавит, если это не так.

— Негодяй, Митька! Ну и негодяй! — Гермониус смеялся и трепал Шмидта по плечу.

Вдруг Гермониус встрепенулся:

— Хватит, Митя, замри... Сам едет...

Хотя голубая машина командующего войсками округа и главного руководителя маневрами Якира еще далеко курила по Фастовскому шляху, командир Винницкого корпуса подтянулся, выпятил грудь, разгладил бороду.

К командному пункту Борисенко потянулись командиры. Все знали манеру командующего: вести разговор на людях.

Вот он, высокий, стройный, подтянутый, без плаща, хотя многие с ночи их не снимали, с тремя орденами и депутатским значком на груди, с легким прищуром черных всевидящих глаз всматривается в лица танкистов. Якир любил говорить: «Самый верный инспектор — собственный глаз», и, чтобы узнать настроение людей, не ждал докладов командиров и комиссаров. Он его сам угадывал с первого взгляда.

Есть полководцы, которые проводят долгие часы над синими и красными стрелами топографических карт. У них не хватает времени для прощупывания солдатского сердца. А от него прежде всего зависит успех или неудача этих магических стрел. Якир отдавал картам минуты, людям — часы.

Побеседовав сначала с танкистами, он собрал вокруг себя их командиров. Вот с планшетом в руке приготовился к вопросам командующего командир танкового корпуса Борисенко, Винницкого пехотного — Гермониус, Житомирского кавалерийского — Криворучко, командир танковой бригады Шмидт. Уточнив с командирами задачу каждого, Якир, оглянув плотную массу бойцов и начальства, резюмировал:

— Так что я вам скажу, дорогие товарищи? Сегодня мы, конечно, не услышим ни свиста пуль, ни разрывов снарядов, не

прольется кровь. Не будет ни убитых, ни раненых. Пленные, может, будут... Но те, кто учился в академиях, знают — любая война, каждое сражение преследует политическую цель. Наши враги шипят за кордоном, что нам грош цена. Покажем же, чего мы стоим. Хотя они же пророчили, что Красная Армия не просуществует и восемнадцать дней, она существует уже восемнадцать лет. Политическая цель больших Киевских маневров — продлить мир. Из дня в день мы укрепляем нашу мощь, нашу страну. Вот почему партия, страна, нарком и я, ваш командующий, требуем, чтоб каждый боец действовал сегодня отлично. На нас смотрит вся Европа, смотрит весь мир. Сегодня за вашей работой будут следить французы, чехословаки, итальянцы...

Маневры возвещали друзьям и недругам: пока что Красная Армия надежный щит Советского Союза, но в любую минуту она готова стать его разящим мечом.

— Хай им бис, басурманам, — отплеывался командир конного корпуса Криворучко. — Поздоровались, а я им кажу — погоняйте на Иванцы. Там штаб Якира. На шашках побалакать с ними — це наше дило. А по-культурному — шала-бала, бонжун-монжур — душа не лежит...

— А вот твой шеф, покойный Гриша Котовский, тот одинаково хорошо балакал и шашкой, и языком. Нам нужна не война, а мир. Понимаешь, Николай Николаевич, мир...

И тут, в этих проникновенных словах Якира, уже звучал голос не сухаря-войки, а мудрого партийца, члена Центрального Комитета партии.

Якир подошел ко мне:

— Вы не только посредник. Записывайте все интересное. Помните — у нас пока нет ни одного путного наставления по танкам прорыва. Это и вам пригодится.

* * *

К нам, на поляну, донеслись звуки трубы. Красные готовились покинуть исходные позиции. Я направился к опушке, где стоял батальон Богдана Петрицы.

За Ирпенем много чешских, украинских, немецких хуторов. В каждом хуторе большой дом под черепицей, огромная клуня, сараи, конюшни, гигантские скирды соломы. Шикарные осокори вперемешку с пирамидальными тополями окружают эти одинокие поселения.

И вокруг этих поселений на гибких мачтах рвущиеся к небу

заросли хмеля. Хмель, хмель, всюду хмель.

У хутора Паулиновка, на небольшом песчаном бугре стояло высокое сооружение, сколоченное из пахнувших смолой мачтовых сосен. Это была вышка наркома. С нее просматривались и дальний лес на горизонте, и вся местность, изрезанная плоскими лощинами, песчаными буграми, мелким кустарником.

Здесь, в этом районе, по расчетам штабных жрецов, которые на маневрах реже ошибаются, чем на войне, намечался завершающий акт большой оперативной постановки.

Глубоко вспаханная плугом первой мировой войны почва дала богатый всход «пророков». Их было много, и каждый род войск имел своего. Если одни мрачно пророчили своему оружию неминуемую гибель, то другие, наоборот, всячески превозносили будущую роль своего.

Итальянцы, помня позор Капоретто и Изонцо, послевоенные бунты вооруженных плебеев, стремились свести на нет роль пехоты. Они полагали, что силами одной авиации, укомплектованной аристократами, удастся решить наисложнейшие стратегические задачи и достичь любые политические цели. Апостолом этого нового учения был генерал Дуэ. Но война в Абиссинии показала, что и безоружных эфиопов не легко было сломить одной авиацией.

Генерал Фуллер — начальник штаба британского танкового корпуса, громившего немцев под Камбре и Суасоном в 1918 году, много написал о роли танков. Но превзошел его австрийский генерал Эймансбергер, сочинивший по заказу германского генерального штаба сильно на шумевшую «Танковую войну».

Эймансбергер утрировал значение нового рода войск, но, что ни говорили знатоки или скептики, а на улицах, в театрах, на станциях и особенно на гарнизонных собраниях больше всего бросались в глаза черные бархатные петлицы.

Снова, как полтысячи лет назад, появился на полях сражений закованный в броню отважный рыцарь, но его носит по полю боя не резвый, прикрытый латами конь, а двенадцатицилиндровый пятисотсильный авиационный мотор. История повторяется, но на высшем уровне.

Французы много работали над новым оружием. На пуговицах французских танкистов красуется тисненый рыцарский шлем. Но их танки и пехота — это сиамские близнецы: один без другого ни на шаг. Их танк толстостен, неуклюж, неповоротлив.

Писали о каких-то таинственных лучах, которые способны глушить моторы на расстоянии. Этот загадочный антимотор пугал обывателей, но не практических деятелей. Численность моторизованных войск росла не по дням, а по часам.

Американцы создали свой быстроходный оперативный танк. Много писали о его боевом применении и они, и британцы. Но впереди всех оказались советская военная мысль и советская индустрия. Советский народ получил свою броню.

И вот здесь, на больших Киевских маневрах, впервые в огромных масштабах проводилось ее испытание.

В этот день, как и во все предыдущие, солнце грело вовсю и осенний ветер гнал по шляхам густые отары пыли.

Заревели моторы. Зазвенели гусеницы. Затрещали кусты. Стальные громадины поползли вперед. Уходили одни, а за ними ползли другие. Из неиссякаемого чрева кустарника ежесекундно выплывали все новые и новые вереницы машин. Безлюдное и смирное до того поле заполнилось грозными силуэтами мчащихся вперед танков. Страшный рев, нескончаемый грохот и лязг потрясали всю округу.

На песчаных складках местности появилась первая волна боевых машин. Ровная вначале линия танков стала изгибаться. Отдельные единицы вырывались вперед, а другие, лавируя по неровному полю, немного отставали. Изогнутый, кривой вал катился все время вперед мощно, величественно, неотвратно, волоча за собой длинные хвосты кипящей пыли.

Крупный кулак — танковый корпус впервые решал самостоятельную задачу. Двигаясь за огненным валом, он взламывал оборону, разворачивал фланги прорыва и развивал его, кидаясь на глубокие тылы «противника».

Передовой батальон, прикрывавший подступы к боевому охранению, отошел. Первая волна танков перехлестнула через выдвинутые вперед огневые точки охранения, и черный вал пыли, катившийся за танками, встал стеной между первым и вторым валом атаки.

Быстроходки, выставив вперед длинные хоботы пушек, с гулом и грохотом ринулись вперед. Синий язык пламени, как жало дракона, рвался наружу из докрасна накалившихся глушителей.

Танки стремительно неслись вперед. Рытвины, канавы, валы для них нипочем...

Спустя два дня разыгралось конное сражение.

Давно уже убрали хлеба. За каждым селом высились огромные, как фабричные корпуса, скирды соломы. В каждой колхозной хате хлеба было вдоволь. Не то, что в прошлом году! По большакам и дорогам, вдоль которых в прошлую осень валялись, как на фронте, трупы лошадей, побитых голодом, с песнями и музыкой шли грозные полки кавалерии.

День выдался хмурый. Сеял мелкий дождь. На берегах листья

сверкали, как лакированные.

Два кавалерийских корпуса приближались для схватки именно здесь, на этой безмолвной плоскости, пересеченной кое-где пологими холмами.

Крепкие кони, грызя удила, играли под всадниками. Кавалеристы отпускали шуточки по адресу девчат из колхозного обоза, отвозившего хлеб на железнодорожную станцию. Девушки улыбались, показывая белые зубы, и, чтобы скрыть смущение, нахлестывали кнутами ни в чем не повинных лошадей.

Шли полки. Сильные, отважные, смелые. Шли за своими полковыми знаменами, помня о подвигах, которые родили их славу, и храня славу, которая родит новые подвиги.

Слава Перекопа и слава Каховки, слава Одессы и слава Харькова реяла над этими полками.

Как опытный ткач из разных кусков шерсти, различных цветов и оттенков, тклет прочный, яркий и добротный ковер, так и партия из сынов всех советских республик создавала монолитные кавалерийские соединения.

Давно уж разошлись по домам герои бессмертных подвигов. Но каждый боец, уходя домой, вносит в неделимый, безвозвратный фонд полка нечто свое. А полк, как казначейство, бережет накопленную многими поколениями бойцов воинскую славу.

Среди старых командиров конницы можно было еще встретить тех, кто дрался с деникинцами под Орлом, и тех, кого благословлял на эту святую битву сам Серго Орджоникидзе. В длинной мохнатой бурке, в страшную метель и пургу, стоял он тогда на передовой, провожая червонных казаков Примакова в деникинский тыл. Были здесь и те, кто крошил Врангеля под Каховкой, и старые командиры Котовского, громившие Петлюру под Волочиским и банды Антонова на полях Тамбовщины.

Тяжелый туман уныло полз над мокрыми полями. Медленно плыли на запад рваные тучи. Над дальними пологими буграми, где строились для атаки колонны, солнце словно ударом кривого меча распороло свинцовое небо.

Полки кавалерии, осиянные призрачным светом, стояли, как чеканные глыбы на высоких холмах. Всадники казались сказочными богатырями, воскресшими из тьмы далеких веков.

Конница перешла из походных в боевые порядки. Вслед за танками двигалась огромная ее масса. Полки шли на больших интервалах и дистанциях, рассредоточив в глубину и по фронту линейные эскадроны, пулеметные тачанки, батареи. С развевающимися по ветру знаменами, с трубачами, стремительная, мощная, неудержимая конница заполнила весь

плацдарм с севера на юг и от командного пункта до опушки соснового бора.

Весь этот боевой организм, вся фаланга, раскинувшаяся по фронту на шесть километров и столько же в глубину, шла словно пантера, крадучись, короткой рысью, чтобы вблизи «жертвы» сделать смертельный прыжок и, вскочив ей на хребет, переломить его надвое.

Шмидт возвестил:

— Кронпринц идет в атаку. Смотрите, он так кричит и размахивает руками, что под ним лошадь вспотела.

Кронпринцем звали командира 14-й кавалерийской дивизии, сына председателя ВУЦИКа Г. И. Петровского.

Тяжелые машины, шедшие на флангах, пустили в ход дымопуски. Густой завесой они прикрыли весь кавалерийский клин. В прорыв, сделанный танками, втягивался конный корпус.

Прошел еще день. С огромного пространства маневров и со стороны «красных», и из районов, занятых «синими», потянулись зисы, «бьюики», «паккарды». Все они стремились к вновь загудронированному Житомирскому шоссе и по нему уже катили дальше на восток, направляясь через Ирпеньский мост к Киеву.

Целая авиадесантная дивизия должна была под прикрытием авиации и ночной тьмы появиться внезапно из облаков, совершить посадку в намеченном для этого районе и стремительной атакой овладеть Киевом.

На командном пункте, рядом с наркомом, стоял в длинной шинели, с воспаленными глазами Якир. Тут же находился и Туровский, вызванный из Харькова и игравший значительную роль в руководстве маневрами.

Всем бросалась в глаза не только служебная, но и личная близость между Якиром и Туровским. Их связывали и прошлая дружба, и общие интересы по подготовке страны к обороне, и то, что они оба не пошли за оппозицией, а остались не только верными делу партии, но и активно боролись за него.

Начало светать. В небе загудели истребители. Появились тяжелые десантные самолеты. Из их нутра посыпались парашютисты. Вот они, на ходу сбиваясь в группы, уже завладели полем. Спускались на плацдарм тяжелые корабли. Началась разгрузка проворной воздушной пехоты, танков, пушек, грузовиков.

Пройдет полчаса, и несколько полков десантной дивизии уже будут готовы к атаке.

Жалобы ветерана

Разбор маневров состоялся в Киевском оперном театре. Основные тона отделки Большого театра — алый с золотом. Такая же отделка и в уютной Одесской опере. В Иркутской — салат с золотом. В девственно-белый цвет с золотым бордюром разделана внутренность Киевской оперы. В какой бы из этих театров человек ни зашел, он чувствует, что попал в величественную обстановку храма искусства.

На сцене Киевской оперы на огромных штативах закреплены и карты, разрисованные изогнутыми цветными линиями. Весь партер, ложи, бельэтаж, амфитеатр и галерка заполнены командным составом. Бросается в глаза сукно и бархат черных петлиц. У малинового цвета пехоты появился солидный спутник — черный цвет технических войск.

Большевики овладевали техникой. Вчера — это была идея. Сегодня — это уже факт.

В фойе веселое оживление. Участники штурма Зимнего дворца, герои Перекопа и Царицына встретились с теми, кто водил войска за Буг и за Вислу, и с теми, кто брал Екатеринбург и Владивосток. Их яркое прошлое уже перестало быть нашей жизнью, оно уже стало нашей историей.

Правые ложи занимали иностранцы. В самой почетной, первой — французы. Рядом с ними — чехословаки, в третьей — представители Рима. Напротив расположились представители Генерального штаба Красной Армии.

Мы все очень внимательно слушали докладчика. Но чужеземцы нас превзошли... Непрестанно шуршали их блокноты. Еще бы! Всем были известны имена — Тухачевский, Якир, Егоров, Уборевич, Блюхер, Буденный, Примаков. Но прочие русские воеводы, по их мнению, были горазды лишь лаптем щи хлебать. А маневры с участием огромных масс живой силы и техники расшифровали новые имена. Дубовой, Туровский, Гермониус, Криворучко, Ушаков, Борисенко, Шмидт, Астахов, Инганиус.

Иноземцев — и наших «союзников», и союзников нашего вероятного врага — волновало все. И то, что большевики сумели в короткое время создать мощные соединения танков, авиации. И то, что московский Генштаб нашел наилучшие формы их применения.

Высоких гостей из Праги, Парижа и Рима все это не столько волновало, сколько тревожило.

Когда наши полководцы в порядке обмена учились в догитлеровском Берлине, Гинденбург назвал Якира «советским

Мольтке». Там наши товарищи постигали науку вероятного противника. Сгодится. А Примаков потом выпустил книжку «Тактические задачи немецкой военной академии». (Но как только не стало автора, выпала из обращения и его бесценная книга.)

Я сидел в партере. Покинув ложу, ко мне спешил майор Легуэст. По-французски порывистый, экспансивный, он бросился меня обнимать. Мы с ним не виделись две недели. С началом маневров он был вызван в Киев, где присоединился к французской военной делегации, возглавляемой заместителем начальника генерального штаба генералом Луазо.

Наш военный атташе во Франции Венцов представил меня генералу Луазо. Познакомил с его спутниками — полковниками генерального штаба Мандросом, Лелонгом, Рамотэ и Симоном.

Генерал Луазо тихим, бесстрастным голосом обратился ко мне по-французски:

— Я давно вас хотел повидать, колонель!

— К вашим услугам, мон женераль!

Офицеры внимательно осматривали меня, мои сапоги, галифе, гимнастерку, орден. Вслушивались в речь, в ответы, в произношение.

— От имени французского генерального штаба благодарю вас за прием и внимание, оказанное нашему майору.

— Я выполнил долг, возложенный на меня наркомом, генерал.

— Прекрасно, колонель! Прекрасно! Наш майор Легуэст восхищен вашим полком.

— Мон женераль! Я рискую кое-что переоценить, по и мне самому нравится мой полк. Впрочем, все наши полки таковы...

Венцов одобрительно усмехнулся.

— О-ля-ля, колонель! Итак — еще раз вам спасибо.

Я козырнул, козырнули и французы.

— Теперь мы ваши союзники. Приезжайте к нам обязательно. Генеральный штаб Франции сделает все, чтобы вам понравились французские танкисты, как нашему майору понравились ваши.

— С удовольствием, мон женераль! — ответил я. — А в остальном — как прикажет нарком.

— Мы будем просить женераля Ворошилова. Не правда ли? — обратился генерал к военному атташе.

— Обязательно!

После разбора в фойе театра меня подозвал к себе начальник разведывательного управления Красной Армии Семен Урицкий. С ним рядом стоял начальник внешних сношений Геккер, в гражданскую войну командарм 13.

— Француз, ваш гость, в восторге, — сказал Урицкий.

— Если вам по душе денежная награда, — добавил Геккер, — это зависит от вас. Скажите — получите сегодня.

Если вас больше устраивает приказ с благодарностью наркома — ждите. Мы вам его пришлем из Москвы.

— Подожду! — ответил я.

События повернулись по-иному. Во Францию поехать не пришлось. С благословения «женерал» Ворошилова мой путь лежал не на далекий Запад, а на Дальний Восток...

17 сентября 1935 года генерал Луазо заявил корреспонденту «Правды»: «С дружеской откровенностью высшее военное командование Красной Армии показало нам ее жизнь и работу. Подобного мощного, волнующего зрелища я не видел в своей жизни... В этом дружеском отношении я вижу лучшее доказательство искренней симпатии народов Советского Союза к моей стране...»

На широком поле, за городом, собралась вся огромная армия Правобережья, завершившая годовую учебу великолепным заключительным маневром на перенравах через Ирпень.

Был ясный осенний день с ярким солнцем и скудным теплом. Со стороны Святошино дул ленивый западный ветер, гнавший на город тихую песчаную пелену.

Беспрерывно трепетала трава, стряхивая с себя колючий песок. Издали казалось, что это серо-голубые зверьки, встав на задние лапки, совершают на одном месте священный, им одним доступный танец. Дрожали длинные стебли белены, которая была слишком ничтожной, чтобы сойти за дерево, и слишком величественной, чтобы считать ее травой.

Над всем полем высились две трибуны, наспех сколоченные саперами. У их подножий собрался весь цвет армии и весь цвет Киева.

Женщины в ярких нарядах, в красных, синих, белых беретах, в модных шляпках с вуальками и без вуалей, в бостоне, коверкоте, свежие, румяные, подкрашенные, с волосами, завитыми, надушенными и уложенными у лучших киевских мастеров. В руках — яркие букеты цветов.

Киев всегда славился своими женщинами. Эта слава не померкла и по сей день.

Приехал и поднялся на трибуну Коссиор, появились Постышев, Любченко. За ними взобрались на трибуну седоголовый старый большевик Шелехес, важный, как кардинал, галичанин Порайко. Вечно сумрачный Постышев поддался общему настроению: все время улыбался и, играя четками, бросал сирым, словно простуженным, голосом шутливые реплики.

Было весело. Никто не чувствовал приближения страшной грозы, унесшей спустя год-полтора почти весь цвет Украины.

Заполнили свою трибуну и иностранцы.

Нацисты кричали о мифе XX века. И вот этот «миф» развернулся перед «глазами Европы» четкими и величественными контурами своей плоти и грозным веянием своего неодолимого духа. Вольно было сомневаться в том, что рассказывал нарком по иностранным делам там, в Женеве, но нельзя было не верить тому, что показал Якир здесь, на полях Киевщины.

Я провел ночь за городом, в Ворзеле, у Василия Упыря. Никто так не умел заправить пляшку горилки заветной травкой, как его дружина. Никто с такой любовью не мог вспоминать невозвратное прошлое, как Василий Упырь, этот прекрасный товарищ и безупречный большевик, принимавший меня в партию в 1918 году. С именем Василия Упыря были связаны воспоминания о моих первых шагах на революционном пути. В семье Упыря я всегда возвращался к своей молодости, наполненной борьбой и бесконечным риском.

После теплой беседы с другом я подкатил к месту парада.

Словно четкая дробь, загрохотали по высокой лестнице трибуны подкованные каблуки. Мне навстречу бежал смеющийся, радостный, веселый Луи Легуэст.

Француза не смущало ни то, что свидетелем его почти детского восторга были все иностранцы — его строгие коллеги, настороженные чехи, надменные итальянцы, и многочисленные русские гости, и то, что вот-вот раздастся команда «Смирно!» для войска, приготовившегося к встрече наркома.

— Бонжур, мон колонель, — протянул он мне руку. — Поздравляю вас. Женераль Венцов сказал, что вы в будущем году приедете к нам, а женераль Луазо обещал, что я буду вашим гидом. Приезжайте, мон колонель, я вам покажу, что такое наша Франция и что такое наш Париж.

Мне показалось неудобным стоять посреди поля, у всех на виду, и я, дав майору знак, направился к месту, где собрались гости.

— Мы сегодня уезжаем к себе, — продолжал Легуэст на ходу. — Все то, что я видел у вас, я запомню на всю жизнь. Теперь я вам скажу больше, только по секрету. Что касается оперативного применения танков, то наш генерал Луазо стал большевиком. — Майор рассмеялся. — Итак, приезжайте, мон колонель, я вас буду ждать. И своей мама, — добавил он уже по-русски, — я буду сказать — пусть готовящий дюжина бутылка старый-старый бургундский вино!

Подошел Гермониус.

— Надо вас поздравить — скоро вы будете полковником. Подумайте, как это сладко звучит — полковник. Не то, что командир полка!

— Ничего не понимаю, — пожал я плечами.

— А вы разве не слышали? Мне говорил верный человек. Вводятся новые чины — лейтенанты, полковники, маршалы!

— Значит, вы будете генералом?

— Нет. Говорят — пока еще рано. Я буду комдивом. Я бы согласился лучше на полковника, чем на этого комдива!

— Кто же вам мешает?

— А положение? Вы шутите? Я в Виннице хоть не царь и не бог, а нечто в этом роде.

Ни разу не было столько разговоров, как в ту осень, о разных назначениях, перемещениях, переменах...

Раздалась протяжная команда «Смирно!». Ее подхватило и повторило несколько голосов, и глухое эхо «ирно!» покатилося по холодному осеннему полю вдаль, где синел обвитый легкой дымкой Святошинский бор. Заиграли оркестры.

Там, вдали, объезжая четырехугольники войск, здоровался с полками нарком.

Оркестры перестроились, застыли напротив трибун. Их было очень много, и пеших, и конных — целый полк музыкантов. Сверкали на солнце начищенная медь и серебро легких корнетов, тяжелых змееподобных басов.

Вдали колыхнулось и тронулось вперед широкое, необъятное море. Лихо зазвенела медь, запело серебро, загудели барабаны, отмечая ритм надвигающегося людского приboя ровными вздохами: ах-ах-ах-ах.

Впереди войск шел командующий округом Якир. Он пытался пройти четким строевым шагом. Но это был шаг интеллигента, а не шаг солдата.

За ним следовал еще более высокий, более стройный и более плечистый Иван Дубовой. Он не думал о своем шаге. И это не был шаг интеллигента. Это был шаг воина.

Затем шел Туровский. И чувствовалось, что дается он, этот марш, ему нелегко. То ли дело передвигать на картах корпуса и армии!

Впереди Житомирского корпуса, шедшего головным, лихо отпечатывал шаг огромный, с красивым, мужественным лицом Антонюк.

За ним стремилась вперед дивизия, имя которой обессмертил легендарный Николай Щорс. После Щорса ее возглавил выдающийся герой гражданской войны потомственный шахтер Иван Дубовой. Боевые знамена богунцев и тарашанцев

развевались над славными полками молодой Богунии и молодой Таращи.

Колыхались и сверкали на солнце острые штыки. Твердо отбивался шаг. В такт шагу плыли вперед крепкие молодые плечи. Опаленные походами лица и острый взгляд зорких глаз повернуты к трибунам. Воины ждут одного жеста, чтобы залить все поле могучим, упругим «ура!».

Грозно гремели трубы и рокотал барабан.

Шли полки за полками, дивизии за дивизиями. Крепкие, могучие, сильные — славная молодежь Украины, Дона, Кавказа, Сибири, — пришедшие сюда, к Днепру, с берегов Волги, Дона, Кубани, Камы и Иртыша.

Прошла Овручская дивизия, недавно переброшенная о Кавказа. У всех широкие плечи, тонкая, затянутая узким поясом, талия и мягкая, словно кошачья, поступь.

Все полки этой дивизии не прошли, а словно прокрались чутким движением рыси, готовой в миг совершить свой быстрый прыжок. Это были дети непобедимых пластунов, вскормленные Кубанью и Терекком. Их командиры носили пушистые бараньи кубанки.

Гермониус шел впереди винницких полков, широко расправив скобелевскую бороду. Он чувствовал, что на него глядит весь мир. Он знал, что пражские гости, вернувшись домой, доложат отцу-белогвардейцу, как прошел на киевском параде его сын-большевик.

Затем появились бойцы не виданного до сих пор рода войск. Все воины в синих комбинезонах, васильковых шлемах, с парашютами за спиной и автоматами на груди. Не рота, не батальон, не полк. Целая дивизия! Парашютисты шли легко, плавно, порывисто, словно плыли по воздуху, с которым сроднился их молодой, отважный дух.

В их ряды ворвался яркий дождь цветов. Кто-то зааплодировал, и в шуме аплодисментов, в несмолкаемом гуле «ура!», в звуках бодрого марша прошла дивизия воздушной пехоты.

Седой трубач, тот самый, что своей трубой служил еще дяде царя Николаю Николаевичу, высоко вскинув серебряную сигналку, затрубил: «Рысью размашистой, но не распушенной — для сбережения коней»...

Где-то далеко отозвался, как эхо, повторный сигнал командующего кавалерией. Музыка перешла на быстрый и звонкий кавалерийский марш. Тот самый, под который всегда парадировала конница на Красной площади у седого Кремля, перед гранитом Мавзолея В. И. Ленина.

Нарастал густой гулкий топот. Переливаясь вороньими телами, показался во взводной колонне головной полк конницы. Тяжелое алое знамя накрыло большое тело знаменщика.

Впереди кавалерии шел Тимошенко. А за ним дивизии украинской конницы.

За корпусом Котовского промчался корпус червоного казачества Демичева с его проскуровскими, тульчинскими и каменец-подольскими полками. Затем шел Григорьев, приведший свои конные полки из Шепетовки, Славуты, Изяславля, Старо-Константинова.

Мимо трибун пронесли тридцать шесть кавалерийских, девять артиллерийских, девять танковых — пятьдесят четыре полка трех конных корпусов. А конная армия Буденного имела всего лишь двадцать шесть полков.

Так ответили большевики на угрозы германских фашистов. Но это был один лишь «кавалерийский» ответ.

Во главе танковых войск двигался «Князь Серебряный» — Игнатов. За ним — командир танкового корпуса Борисенко.

Сотни танков с наглухо закрытыми башнями прошли мимо трибун, вздымая тучи песка. За ними плыли тяжелые, словно двухэтажные, с мягким шелестом ажурных гусениц танки Богдана Петрицы. Грозно пронеслась артиллерия, и в холодном, осеннем небе показались эскадрильи самолетов.

Когда хвост армии достиг трибун, ее голова уже двигалась между шпалерами ликующего народа по праздничным улицам Киева. Охапки цветов летели в гущу войск, и молодые воины шли под аркой из живых цветов, как их отцы — под триумфальными арками славы.

Иностранцы видели войска на походе, в обороне, в атаках. А здесь вся армия, как монолит, как загадочный исполин, прошла перед их изумленным взором.

Есть вещи, не понятные дипломатам, но способные покорить солдатские сердца. Здесь, на трибуне, были самые старые солдаты Европы, и они знали, о чем можно подумать плохо и о чем нужно сказать хорошо. Их руки не уставали хлопать, пока не прошел мимо трибун последний воин.

Таких маневров в Советском Союзе еще не было. Всю эту могучую силу старательно и любовно подготовил талантливейший полководец, верный сын нашей партии Якир. Для победы над фашистами готовил ее Иона Эммануилович.

Ко мне подошел Туровский:

— Итак, товарищ, готовьтесь. Все на мази.

— Не понимаю, — удивился я.

— Начальника штаба танкового корпуса снимают. Его место

получаете вы.

— Нет. К этому я не подготовлен.

— Не остроумно. Чепуха, — настаивал Туровский. — Учитывая обстановку, вы будете полным хозяином корпуса.

— Не нужно мне чужого хозяйства. Я предпочитаю быть бесспорным хозяином маленького дела, чем спорным большого.

— Чудак! Зря отказываетесь! Погодите, вот Якир за вас возьмется.

Дубовой, заметив нас, дружески закивал головой, будто знал, о чем был между нами разговор.

Обняв за талию, Шмидт повел меня в сторону. Закурив, начал жаловаться:

— Все мои военные друзья, которые повыше, официализируют. Вот с тобой, с Семеном Туровским я еще могу говорить по душам. И то мы с ним, знаешь верно, свояки. Моя Сашка и его Верка — родные сестры. Кстати, скоро я стану папашей. Немного поздновато. Но лучше поздно, чем никогда. И это впервые. Никого так не любил. На старости лет не узнаю себя. Мне вот-вот стукнет сорок... Да возьмем Якира — «здравствуйте», «до свидания». А раньше? Как приеду в Киев, его адъютанты обшарят весь город, а меня найдут. Приволокут к Якиру. Ляжем с ним на одну коечку и болтаем до утра. А Ворошилов? Под Царицыном он меня «Митя», я ему «Клим». По-простому, по-рабочему, по-партийному. Ну, понимаю — он теперь нарком, и не простой, а «железный». Говорят, вот-вот станет маршалом. Признаю, подчиняюсь. Я ведь солдат. Знаю партийную, военную дисциплину. И что ж? Признаю его первым среди равных. Почет ему и уважение. Так вот, послушай. Был я у него недавно на приеме. Являюсь в кабинет, кроме нас двоих, никого. Подхожу, хлопаю его, как бывало раньше, по плечу, спрашивая от всего чистого сердца: «Как живешь, Клим?» А он вскочил с кресла, покраснел, зуб на зуб не попадает от возмущения. «Послушайте, товарищ Шмидт, — говорит мне с гневом, — если вы не перестанете хулиганичать, выгоню из армии». Я обомлел. Что? Его собственная армия? Не создавали ли мы ее вместе с ним и с сотнями других, таких, как мы? И показалось мне тогда, что не рабочий стоит против рабочего, а затурканный прапорщик Шмидт перед грозным царским генералом Начволодовым. Но все же сказал я ему слово наедине, без свидетелей.

— Субординация... — попробовал я возразить. — Ты комбриг, он нарком. И к тому же все мы люди-человеки.

— Так-то так, — продолжал Шмидт, — послали меня в академию, в Особую группу. С нами учился и Буденный. Вызывает меня Щаденко и говорит: «Митька, знаешь, мы решили тебя

перевоспитать». А я ему: «У тебя, Юхим, жинка е?» — «Есть», — говорит он. Я ему и ответил: «Перевоспитывай ее, а я как-нибудь сам перевоспитаюсь!»

— Это, Митя, не лезет ни в какие ворота. Ведь он руководитель! Комиссар академии!

— И пусть! Но не ему меня учить, не мне у него учиться... То, что я прощаю другому, я не могу простить своему брату-рабочему. Где же ленинские слова: «Мы идем по обрыву, под огнем врага, тесно взявшись за руки?»... — Шмидт тяжело вздохнул. — Вот, — продолжал он, — я смеюсь, шучу, паясничаю, а на душе кошки скребут. И знаешь, почему они все со мной так? В 1927 году я имел слабость проголосовать за оппозицию. Хорошо тебе, дружище, что ты всегда держался твердой линии. Может, меня и не поймешь. Разве я голосовал против нашей партии? Против наших идей? А поди ж ты! После убийства Кирова я, не боявшийся ни черта, ни дьявола, замирал, встречаясь со своими особистами. Ведь подчистили всех, кто был хоть день в оппозиции. Меня не тронули. Спасибо Сталину. Думаю, что я уцелел благодаря ему. И вот по-прежнему я, танковый комбриг, ежедневно заглядываю в общий котел, не спускаю глаз с поваров, проверяю ноги бойцов, их портянки. Человек без надежд не может жить. Какая у меня сейчас надежда? Дождаться потомства...

Да, Шмидт когда-то примыкал к оппозиции. Но ведь и с Троцким у него произошла сильная стычка. Это было 2 января 1919 года. Шмидт, выполняя приказ начдива, стремительно наступал со своим полком на Харьков. Троцкий, считавший, что все силы надо бросить на Дон, на глазах бойцов обрушился на Шмидта:

— Расстреляю перед строем полка.

Шмидт, хорошо знавший своих партизан-земляков, спокойно ответил Троцкому:

— Ваше право. Можете меня расстрелять, но... не перед этим строем.

И все же за бои под Харьковом и Люботином Шмидта наградили боевым орденом Красного Знамени № 35.

Я возвращался в часть в бодром, приподнятом настроении. И мрачные мысли, навеянные первым известием о победах нацистов, понемногу рассеялись. Армию, которая показала себя на этих осенних маневрах, не легко победить. Такая армия сама побеждает!

В тот же день меня атаковал корреспондент «Правды». Потребовал очерк о смотре. Этот очерк был напечатан в газете 18 сентября 1935 года.

Встреча Нового года

У въезда в Гагры, слева, словно высеченный из скал, нависших над шоссе, стоит санаторий «Украина». Гигантский гранитный корпус, с огромными зеркальными окнами и широкими балконами, высится среди древних кедров и стройных кипарисов, как ослепительный замок.

В декабре я приехал сюда отдохнуть.

В Гаграх начал писать роман о будущей войне «Отпор». Очень часто критики говорят нам, военным беллетристам: «Подумаешь. Излагаете все виденное — фотография!» Но то, что писал, не было фотографией. Но и не было оно невиданным. Ибо ленинская военная наука учила нас, тщательно анализируя прошлое, заглядывать вперед. Но и заглядывая вперед, надо было дать ход широкой фантазии. Какая же здесь фотография?

Мы изучали военные труды Ленина, Энгельса, Франца Меринга, Фрунзе, Тухачевского, Шапошникова, Егорова, Триандофилова, современных теоретиков Запада. Знали, чего хотят воюки Гитлера. Представляли себе поведение нашего народа, советского воина в будущих схватках. Прообразы моих героев я находил в наших полководцах, в наших воинах. Я изучал психологию иностранных офицеров — моих учеников, не только постигавших суть нашей советской военной доктрины, но нередко вступавших со мной в жаркие диспуты по насущным политическим вопросам. Одни были слишком любопытными, другие — слишком скептическими. Этот скептицизм меня волновал, так как с ним надо было особенно умело бороться. Ведь речь шла о том, чтобы показать иностранным стажерам, что наша армия не миф XX века, а грозная сила, которой не страшен любой враг.

Широкое, во всю наружную стену, окно выходило на море. И огромный простор, то зеркально гладкий, то подернутый трепещущей чешуей, то сверкающий, как рыцарский щит, то черный, как ночь, все время был перед моим восхищенным взором.

Проплывали мимо огромные белые теплоходы, гордо рассекая синие воды взморья. Ночью, ярко освещенные, с цветными огоньками на высоких мачтах, они были бесподобны.

Над морем раскинулось голубое небо, и синие облака плыли по его чистой лазури, как теплоходы.

Угасал день. Огромный раскаленный маховик погружался в бездну. От горизонта к изморю дыбились волны, и белые их гривы, набегая друг на друга, шумно ложились на берег.

Вечерний ветер приносил с собой одуряющий аромат гиацинтов и соленой воды.

Медленно ползли на запад со стороны Пицунды, где раскинулись гиацинтовые поля, тяжелые, как медвежьи шкуры, тучи.

Они росли, ширились, создавая феерический ансамбль причудливых линий и невероятных нагромождений. На густо посиневшем небе возникали контуры украинских хат и пирамидальных тополей, нависших над нами, аулы казахов, юрты башкир, веселые казачьи станицы над Доном, заметенные снегом крепкие избы твердых, как лед, сибиряков, тонущие в сливовых садах мазанки молдаван, вросшие в скалы сакли дагестанцев и чудные, обсыпанные золотом цитрусов, долины Кавказа.

Фантазия создавала стройные колонны пехотных, кавалерийских, танковых дивизий, штурмующих твердыни врага. Я видел несметные полчища немецких, венгерских, румынских, итальянских, финских солдат — всю черную рать, посягнувшую на наши святыни. Видел изумительно стойкого, изумительно нетребовательного, яростного к врагу, доброго к поверженному противнику советского воина, грудью вставшего на защиту Отчизны.

И все эти картины, события, люди, характеры, трансформированные в ровные строки, ложились на бумагу. В одном я ошибся, создавая свой «Отпор». Нам непрестанно внушали, что любая война будет войной на территории врага. Войска в моей рукописи отступали на поле боя, но никогда — на фронтах войны. Вероломно напавший враг дошел до Проскурова, но не дальше. Так бы, очевидно, оно и было, если бы не мрачные события, о которых дальше пойдет речь.

Работа успешно продвигалась вперед. Как муравей, я трудолюбиво клал крупинку к крупинке, воздвигая свое причудливое, с любовью сделанное сооружение. Но я не мог предвидеть, что так же, как тяжелая ступня медведя втаптывает в землю многодневный труд муравья, так и недобрая поступь обстоятельств раздавит все то, что было мною создано в эти трудовые дни.

Закончив однажды работу, я вышел на балкон. Внизу, на шоссе, показался открытый газик. На большой скорости он промчался мимо нашего санатория. Рядом с шофером я успел заметить военного в парадной форме: фуражка с красным околышем, мундир в позументах. Подумал: «Как сюда попал этот чехословацкий генерал?» Вскоре, занятый творческими мыслями, я забыл об этой машине и о ее пассажире.

На следующий день меня очень увлекло описание первого

пограничного столкновения.

Наша официальная доктрина гласила: «Ни пяди своей земли противнику. Навязанную нам войну будем вести на территории врага». И я, стараясь предвидеть будущее, основывался не на теории Свечина, а на высказываниях Наркома обороны. В нарисованной мной пограничной битве, опираясь на мощную систему трех укрепленных районов — Тираспольского, Винницкого, Коростеньского, прикрытые сверху воздушной армией Инганиуса, приняли участие очень крупные силы. Прежде всего три конных корпуса, стрелковые корпуса, недавно созданные танковые бригады Куркина, Федоренко, Жилина. Эти силы образовали три армии, во главе которых стояли крупные военачальники гражданской войны, коммунисты — Иван Дубовой, Семен Туровский, Николай Фесенко. Украинский фронт возглавлял популярнейший в армии и в республике полководец, член Центрального Комитета партии Иона Эммануилович Якир.

Наши воины вышибли проникнувшие на нашу территорию враждебные силы и с первых же дней войны, опровергая выкладки Свечина, заняли обширный плацдарм на чужой земле. И это было естественно. Войска, в которых царил дух Перекопа, Волочаевки, Каховки, верили в правоту своего дела. А такая вера — самая лучшая гарантия победы.

Я настолько увлекся описанием пограничной битвы, что не услышал деликатного стука в дверь. Стук повторился. На пороге показался начальник санатория:

— Если можно, подымитесь в люкс. Вас там ждут...

Не спросив, кто меня ждет, я отложил ручку и пошел наверх.

Каково же было мое удивление, когда в роскошно обставленной гостиной люкса я застал того, кого накануне принял за чехословацкого генерала. Это был заместитель командующего войсками Харьковского военного округа Семен Туровский. С давних лет, еще со времен памятной битвы за Перекоп, я привык видеть его — соратника Примакова, бессменного начальника штаба червонного казачества — с дюжиной карандашей в одной руке и с циркулем в другой, с лихорадочно блестящими глазами, взъерошенной шевелюрой, с расстегнутым воротом. Сейчас мне навстречу, с протянутой рукой, сдержанно улыбаясь, шел строго подтянутый военный человек в мундире с золотыми позументами.

— Специально устроил в Гаграх привал... — сказал он, устремив на меня пристальный, словно изучающий взгляд своих иссиня-черных глаз.

— Что? — спросил я. — Чтобы показать новую форму?

— Хотя бы! — ответил Туровский, улыбаясь. — Еду из

Москвы. С первого заседания Военного совета. Там всем членам Военного совета и выдали новую форму. Что? — продолжал он, заметив мой взгляд, направленный на его петлицы. — Удивляетесь — три ромба вместо четырех? После девальвации я получил прочное звание комкора. За границей это генерал-полковник. Я что? Потерял ромб, а иным вместо четырех ромбов дали три шпалы — полковника. Ворошилов говорит: «Чересчур много у нас развелось генералов». Вот и режут. Обиженные сунулись к наркому, а он им: «Вы знаете, какой чин Бека? Чин полковника. А он премьер-министр Польши! Так что не жалуйтесь. Поработайте, может, и дослужитесь до генерала». Как вы уже знаете из газет, Дубовому дали звание командарма второго ранга. Остался при своих четырех ромбах. А Якиру — командарма первого ранга, разумеется. Может, и ему хотелось большего. Не знаю. Все мы люди живые. Во всяком случае, маршалов у нас только пять — по числу пальцев на руке, — Туровский лукаво усмехнулся. — Климу дали за пост, Буденному — за славное прошлое, хотя чаще он брал числом, нежели умением, Тухачевскому и Егорову — за талант. У Блюхера — Перекоп. Ничего не скажешь. Между прочим, один товарищ спросил у Сталина: «Почему ввели полковников, а не генералов?» Он ответил: «Не время. Кое-кто и так ворчит: «Секли мы в гражданскую капитанов, полковников, а теперь сами их вводим». Пусть привыкнут, а там видно будет...»

— И этим занимался Военный совет? — спросил я.

— Что вы? — многозначительно подмигнул мне собеседник, усаживаясь в кресло и приглашая сесть меня. Расстегнул ворот мундира. Закатил вверх длинные рукава. — Вот для этого я и устроил привал, чтобы встретиться с вами и кое-что рассказать. К тому же моя Вера раскисла в пути. Не выносит автомобильной езды. Я специально отпросился на три дня — забрать ее домой. Вот там с ней возится ваш врач.

Я подошел к полуоткрытой двери спальни. Издали поздоровался с Верой Константиновной. В дорожном платье, с компрессом на голове, виновато улыбающаяся, она лежала на широком диване, протянув руку врачу. Как всегда, на ее бледных, худых щеках выделялись две привлекательные ямочки.

— Так вот, — продолжал комкор. — Садитесь, буду рассказывать. Прежде всего, Военный совет подбил итоги осенним маневрам. Якир провел их блестяще. Эти маневры имели не только военный, но и политический аспект. Политический даже больше, чем военный. Кое-кто и сейчас пишет за границей, что мы «колосс на глиняных ногах», что наша армия рассыплется от первого удара. После подписания пакта о взаимной помощи

французы послали к нам своих генштабистов — пехотинцев, артиллеристов, летчиков. Танкист Легуэст попал к вам. На всех банкетах он превозносил наши танковые войска. Говорит, что научился многому в Красной Армии. В тон ему выступали генералы Луазо, Крейчи. Их ошеломили наши воздушные силы, наши десантные войска, наши танковые соединения, наши авиационные и танковые заводы. Итальянцы больше молчали, верно, думали над тезисами будущего доклада своему берлинскому хозяину. И это неплохо. Может, охладит пыл бешеного фюрера. О коннице наши союзники сказали: «Эффектно, но коню трудно устоять против самолета и танка». И я с ними согласен.

Туровский, разгораясь, взъерошил шевелюру, и я вновь увидел пред собой того неутомимого планировщика метких ударов по врагу, каким я его знал прежде.

— Обо всем этом говорилось на Военном совете. И здорово — впервые нарком собрал вокруг себя полководцев. Выслушал их, советовался с ними. Отмечаю — определяются две линии. Линия Тухачевского, требующего усиления механизации войск, и линия Буденного, возлагающего все надежды на конницу. Я, и не только я, хотя и провел всю гражданскую войну в кавалерии, за Тухачевского. Все члены Военного совета пели дифирамбы Якиру за маневры, конечно...

Из свойственной ему скромности Туровский о себе не сказал ни слова. А мы все знали — над подготовкой Киевских маневров потрудился и он немало.

— Там, на Военном совете, мы окончательно услышали, что Якир остается в Киеве. Помните, сразу после маневров говорили, что его забирают в Москву — не то на пост начальника Военно-воздушных сил, не то на пост начальника Генерального штаба. Есть слух, что сыграло решающую роль слово ЦК Украины — Коссиор и Постышев просили не трогать Якира. Да и он сам сказал Сталину, что не стремится к повышению...

— А тост Ворошилова в 1934 году помните? — перебил я рассказчика.

— Меня там не было, но что-то слышал.

— После осенних маневров 1934 года, — напомнил я комкору, — Ворошилов на банкете в киевском ресторане «Динамо» поднял бокал: «За вождя Красной Армии Иону Якира. Он плоть от плоти, кость от кости рабочих и крестьян». Это было в присутствии Коссиора и Кагановича, в присутствии турецкой военной делегации и ее главы — Фехретдина-паши. Нас всех поразил этот тост. Ведь вождь Красной Армии у нас считается один — Ворошилов...

— Что ж? Клим любит Якира. И не скрывает этого. Да, — продолжал интересный рассказ комкор, — Военный совет оценил не только прошлое. Он заглянул и в будущее. Много говорилось о путях развития Красной Армии. О гитлеровской угрозе. О нашей военной доктрине. О кадрах. О нашей военной теории. Об уставах. Мы все знаем немецкую теорию Зольдана о профессиональных армиях, английскую Фуллера, считающего, что будущее принадлежит танкам, итальянскую Дуэ, утверждающую, что войну можно выиграть одной авиацией. В каждой есть зерно истины. А мы создаем свою — интегральную ленинскую теорию. В ней отводится заслуженное место массовой пехоте, авиации, механизированным войскам. Кстати, Военный совет решил создать новый Полевой устав. И проекты нового устава поручено представить трем товарищам, каждому — свой. Эти товарищи — Тухачевский, Мерецков и я.

Это сообщение еще раз подтвердило тот факт, что бывший начальник штаба червонного казачества пользуется все большим и большим доверием высшего военного руководства. Его путь большевика и солдата имел свои особенности. Черниговский гимназист, большевик с 1912 года, он в 1914 году попадает в ссылку. В 1918 году командир Сербского красногвардейского отряда. Затем идет в начальники штаба в червонное казачество к своему другу детства Виталию Примакову. В 1924 году он начальник кавалерийской школы в Ленинграде. В 1927 году энергично борется с оппозицией. После этого назначается командиром дивизии в Ленинграде, затем командиром корпуса в Куйбышев, в Киев. У него были большие заслуги, которые нельзя было обойти, и очевидная для всех преданность, которую нельзя было не заметить. С 1935 года Туровский заместитель командующего войсками округа.

— Теперь вот что, — продолжал комкор. — Передаю вам распоряжение Бороды. Дубовой просит вас не засиживаться здесь. В связи с новыми решениями Военного совета округ должен сформировать несколько новых танковых частей. Эту работу командующий возлагает на вас. Закругляйтесь, мы вас ждем в Харькове. С формированиями мороки будет много. И от этого вам не отбояриться, как от штаба танкового корпуса. Правда, Халепский почему-то против вас. Помните, летом он заскочил на Холодную гору — на ваши летние квартиры. Нашел на складе несколько заржавелых подшипников. Полетел к Дубовому и в пене доказывал ему, что командир полка не на месте. А Дубовой, усмехнувшись, ответил ему: «Чтоб судить, на месте ли командир, вам следовало бы съездить в Чугуев, полазить по танкодрому, полигону, а не копать в складах запасных частей». Не дрейфьте,

мы вас в обиду не дадим...

Да, во всем шел мне навстречу командующий Иван Дубовой — друг и соратник Якира по гражданской войне. В лице его помощника Семена Туровского и замначпуокра Николая Савко я имел старых друзей по червонному казачеству.

— Я не Виталий, — продолжал Туровский, — он до сих пор дуется на вас за «Золотую Липу». Хотя вы в ней и меня поддели. Неужели в работе я выгляжу таким чудачком? Вы даже не соизволили подарить мне книгу. Я ее прочел в салон-вагоне Якира. Хотя Якир и говорит, что я в книге, как живой... Это вас выручает. Кому-кому, а Ионе Эммануиловичу поверить можно.

— Что ж? — ответил я. — Кое в чем Виталий прав. Хотя многие утверждают, что это был удар примаковской шпаги по воздуху. Но, кроме шпаги Примакова, были еще сабли червонных казаков. А они в Стрыйском рейде, как и в прежних, действовали отлично.

— Ну и получили по носу, — рассмеялся Туровский, очищая мандарин.

На пороге спальни показался врач.

— Больная в порядке и вполне транспортабельна. Желаю счастливого пути.

— Проводите нас, — попросил комкор. — В дороге от Сухуми до Гагры я замучился с Верой. Может, вместе мы ее отвлечем.

Мы поехали. Но и теперь наши разговоры не очень-то помогли Вере Константиновне. В Сочи Туровский повел нас не на вокзал, а в сторону от него. На путях стоял ожидавший его салон-вагон.

— При царе нас возили в столыпинских вагонах, с решетками, — сказал комкор, — а при Советах в этих вагонах. Заходите.

Увы! Одному из авторов нового Полевого устава не пришлось тогда в голову, что столыпинские вагоны не были еще сданы в архив...

— А вы такого писателя — Авдеенко знаете? — спросил уже в вагоне Туровский.

— Автор книги «Я люблю», — ответил я, — книгу читал, а писателя не знаю.

— А я книги не читал, зато автора слышал. На сессии ЦИКа. Разве можно так выступать? До того угодничал перед Сталиным, что тошно стало. Поверьте — это не нужно ни партии, ни Сталину, ни нам с вами. Это нужно лишь подхалимам. Выслуживаются... Поверьте, я чту и уважаю нашего Генерального секретаря, как деятеля, как человека. Но — как бога?..

Тогда уже имя Сталина всячески превозносилось прессой, его

ближайшими соратниками. И если б эти слова сказал кто-либо иной, я бы это расценил как вольнодумство. Так нас воспитывали. Но Туровский? Отважный борец с ленинградской оппозицией — это совсем иное!

— Да, забыл вам сказать, — продолжал комкор уже в самом вагоне. — Здорово говорил на Военном совете Якир о кадрах. Кому-кому, а ему, бывшему начальнику военно-учебных заведений, и карты в руки. Он доказывал, что новую форму надо подкреплять новым содержанием. Большую часть речи он посвятил лейтенантам. Одним словом, теперь будет так. Лейтенант — ключевое звено дисциплины, обучения, воспитания. Его никто не смеет третировать — ни командир, ни комиссар, ни особист. Воинское звание командира свято, и лишать его звания можно лишь по приговору суда. Не то, что раньше. Особист, обвиняющий лейтенанта, обязан представить командиру полка неопровержимые доказательства вины. А не так: особист заявляет, что лейтенант преступник, и ты обязан ему верить. А может, этот особист повздорил с лейтенантом за девушку, может, зарится на его комнату, может, лейтенант не подал ему руки в клубе? Снять с работы лейтенанта может лишь командующий войсками округа, а командира полка — сам нарком. На арест полковника также нужна санкция наркома. Вот это будет порядок! Вот это и есть новое содержание в новой форме!

* * *

Я возвращался в Гагры. Бетонированное шоссе извилистой лентой убегало на юг, то прижимаясь к прибрежным кустам, то уходя влево — к бесконечной горной гряде. Ее крутые склоны, поросшие густым кедровым лесом, напоминали шкуру огромного зверя. Навстречу попадались машины, арбы, груженные мандаринами, верхом на поджарых лошадках горцы, как правило, парами — муж и жена.

Я находился под впечатлением всего услышанного мной. Было о чем подумать всякому, кто много лет был кровно связан с Красной Армией, кто видел ее зарождение, кто радовался ее расцвету, кто болел о ней. Я глубоко верил тому, что наши старшие товарищи, собравшиеся на Военном совете в Москве, сделают все, чтобы наша армия стала еще сильнее, еще могущественнее. Не знаю, что там думали высшие начальники, ближе знавшие Ворошилова, знавшие его, как равного, а кто и как подчиненного, но мы, низовые работники, непоколебимо верили, что «железный нарком» твердой рукой ведет наши Вооруженные

Силы от успеха к успеху, а в случае войны поведет от победы к победе.

До пятилетки мы гордились своими слабосильными, малоповоротливыми танками, скопированными с французских образцов «Рено». А сейчас мы имели не только свои быстроходные БТ, но и тяжелые марки Т-28 и Т-35. Им еще далеко было до КВ, до современных машин, но все же они не уступали тогдашним лучшим заграничным образцам. Правда, далось это нелегко.

В 1932 году ХПЗ с трудом выпустил два танка, а в 1935-м с его конвейера ежедневно сходили роты машин. Вот что дала армии первая пятилетка, вот что дали ей наши конструкторы, наш замечательный рабочий класс.

Без этого не существовали бы танковые бригады Куркина, Федоренко, Жилина в погранполосе, девять танковых полков в трех конных корпусах, танковые батальоны в каждой стрелковой дивизии, танковый корпус Борисенко в Киеве, отдельная танковая бригада Шмидта там же, в Харькове тяжелый полк Ольшака и наш полк ТРГК^[1]. И это только у нас на Украине! А Белорусский, Ленинградский, Московский военные округа, а Дальневосточная армия Блюхера?

Неустанно и славно работал броневой цех нашей страны. И в этом, без сомнения, была заслуга Иннокентия Андреевича Халепского. Меня так не взволновала сама беседа с Туровским, как глубокие раздумья после нее. Хотелось, засучив рукава, взяться за работу, втянув в нее людей, доверенных мне. Я гордился своей принадлежностью к Красной Армии, гордился доверием партии и людей, поставленных ею во главе наших Вооруженных Сил. Мысли устремились в будущее, хотя и не забывались тяжелые и незаслуженные огорчения прошлых дней. А их было больше, чем достаточно.

* * *

Каков бы ни был ушедший год, принес ли он радость или печали, мы его провожаем с сожалением. Может, новый будет и лучше, но старый уже значится на странице «расход», а не «приход». Да, слишком пестрым был ушедший, 1935, год. Он оставил глубокие борозды и в уме, и в сердце. И не десять, а сотни его дней потрясли нашу страну. Они прошли под мрачным знаком неслыханного дотоле преступления — убийства одного из лучших, верных ленинцев — Сергея Мироновича Кирова. Если бы люди тогда, в 1935 году, об этом злодеянии узнали то, что узнали спустя двадцать один год, в 1956-м...

Новый год отдыхающие встречали радостно и шумно. В комфортабельной гостиной, где был накрыт праздничный стол, собралось дружное общество.

Главным распорядителем, или тамадой, выбрали веселого, но, по убеждениям многих, недалекого человека, первого заместителя председателя Киевского горсовета Мануйловича, по прозвищу Абдул Гамид. Он часто, ни к селу ни к городу, вставлял бессмысленную присказку: «Абдул Гамид среди левкоев — полугибрид среди ковбоев».

Абдул Гамиду деятельно помогала миловидная статная женщина, прозванная в шутку Женбат. Марфа Гаенко была инструктором Киевского горкома по работе среди женщин. В санатории она пеклась о всеобщей нравственности. Строго следила за тем, чтобы женщины не засиживались в мужских комнатах, брала на заметку ухажеров и во всеуслышание прорабатывала их.

И все же это ее заботами получилось так, что за праздничным столом все сидели парами. Самое почетное место отвели старшим — престарелому харьковскому профессору и его миниатюрной жене. Справа от уважаемой четы уселись тамада и его помощница — тамадесса — Женбат. Как единственному в санатории военному и мне оказали почет. Рядом со мной усадили нашу иноземную гостью — молоденькую француженку Флорентину д'Аркансель.

Необычно для француженок рослая, хорошо сложенная, с каштановыми локонами, небрежно ниспадавшими на высокий белый лоб, с зелеными игривыми глазами, она, несмотря на широкий приплюснутый нос, привлекала всеобщее внимание.

Похвальные усилия гости изъясняться на чужом языке делали ее очень забавной.

Получив слово, она подняла тост за всех «камрадов» и отдельно за профессорскую чету: за «ма chere старюшка!» и за «mon cher старух!». Это вызвало всеобщий хохот, и больше всех смеялся «шер старух», начавший тут же бегло и бойко изъясняться с француженкой на ее родном языке.

Мое детство прошло без бонн, но спасибо нашим академическим наставникам — мадам Нико, бывшей царской фрейлине, и месье Аниловичу — 60-летнему карлику. Месье Анилович, преподаватель Военной академии имени М. В. Фрунзе, юношей покинул родной Гомель и обосновался в Париже. После Октября вернулся на родину. На первом же уроке заявил нам, слушателям, что ни слова не знает по-русски. И это дало свой результат. С большим терпением искусного педагога и доброго друга он настойчиво «офранцузивал» нас. И не только в классе,

но и в тесной, заваленной книгами келье бывшего Страстного монастыря (там сейчас кинотеатр «Россия»), куда мы часто заглядывали. Все тепло своего сердца отдавал нам этот гомельский француз. Зато и мы с радостью отдали за него свои голоса, когда он на склоне лет решил стать членом Коммунистической партии.

Не раз с благодарностью я вспоминал и мадам Нико, и особенно месье Аниловича, когда осенью 1928 года в качестве гида сопровождал Марселя Кашена в его поездках по частям Красной Армии.

Обращаясь к соседке, я назвал ее мадемуазель Флорентин. Она меня поправила:

— Мадам Флорентин. Зовите Флор, Лор — как вам нравится. Моя маман звала меня просто Жаба.

— Почему? — спросил удивленный профессор.

— Почему, почему? — от выпитого вина разгорелись глаза и покраснелись щеки гостьи. — Видите мой нос? Ничего себе украшение молодой парижанки? Галоша, не нос! А случилось вот что. Сожгла я утюгом фестоны важной заказчицы — жены субпрефекта. Хозяйка ателье швырнула мне в лицо горячий утюг. Месяц лежала в постели. А мать меня точит и точит: «Кому ты после этого, жаба, будешь нужна? Век не сойдешь с моей шеи». Ах, Биби, Биби, — вдруг взгрустнула наша гостья, — как было бы хорошо, если бы рядом со мной сидели не вы, — указала она на меня вилкой, — а мой Биби!..

Что мы знали о нашей гостье? Привез ее в Гагры какой-то военный с ромбом. В беседах с нами она сообщала, что ее брат — коммунист, служивший на Мадагаскаре, был замешан в заговоре мальгашей. Брат скрылся. Пришлось покинуть Францию и ей. А почему — ни я, ни другие собеседники не стали ее расспрашивать. И это было естественно.

Но... чужая душа — потемки. В лекциях о разведке сколько раз подчеркивалась роль в ней женщины. Имя знаменитой Матта Хари стало нарицательным. Наполеон, выслушав доклад Фуше о том или ином происшествии, внушал ему: «Ищите женщину!» И почему, думалось мне, агентом должна быть графиня, поэтесса или оперная певица. Ею может быть и простая швея. Но это уже была перестраховка. Поневоле становишься перестраховщиком.

Во время ужина гостья непрестанно вспоминала своего Биби.

— Он не пролетарий, — откровенничала Флорентина. — Его отец крупный подрядчик-строитель. Сам Биби инженер, а любит меня ужасно. Но дурачок... Повел меня, невесту, к своей матери. Та посмотрела на меня, стала кривить носом. Смотрю, и Биби скис. Ну, думаю, вот такая твоя любовь. Попрощалась, ушла.

Позвонила знакомому летчику. Думала — все кончено. Нет! Уломал-таки Биби своих стариков. Мы поженились...

В разгар откровенной исповеди Флорентины в холл вошел отдыхавший в Гаграх черный, как жук, врач-горьковчанин. С трубкой в зубах, с огромной черной шевелюрой. Абдул Гамид всегда подшучивал над ним: «Трубка у вас, как у Сталина, а патлы, как у Махно».

Заметив вошедшего, Флорентина шепнула мне:

— Мой ухажер. Но вот беда — трудно мне с ним. Он знает французский, как я русский. Да и с вами мне не легко, — с издевкой рассмеялась француженка, обнажая изумительный набор белоснежных зубов.

Да, как ни старался месье Анилович, а мой французский язык был далек от живого, обывденного.

Врача-горьковчанина посадили за стол против француженки. С ним за столом стало тридцать три человека.

Часы отбили двенадцать. Тамада поднялся и произнес речь.

Вскоре курортники покинули стол. Всех потянуло на свежий воздух.

Вышли на широкий балкон холла тамада с тамадессой, профессор с женой. За ними потянулись и мы, но уже не парой, а неразлучным трио — Флорентина, ее воздыхатель-врач, попыхивая трубкой, и я.

В Москве, Харькове, Киеве лютовала зима, а здесь, хотя к ночи свежело, нас радовало почти весеннее гагринское тепло. Освещенные луной, застыли на склонах усадьбы вечнозеленые кусты лавровишни, рододендрона, самшита. Давно уже отцвели миндаль и маслина, но тонкий аромат их листы доносился к нам на балкон. Уходило к горизонту присмирившее море. Слегка волнуемое легкой зыбью, оно казалось огромной кольчугой, набранной из мелких серебристых пластинок. От берега до далекого горизонта стлалась ровная серебристая дорожка. Доносился к нам лишь ласковый плеск волн и сонное скрипение ночных птиц. Умолк даже наш неумный тамада.

Необыкновенная черноморская ночь навевала на всех мечтательное настроение. Мечтали тогда все, мечтал и я. Не хотелось думать о прошлом, хотя и было в нем много радостного, хорошего. Все мысли были устремлены в будущее. Безусловно, каждый из нас с великой надеждой лелеял мечту, что новый, наступающий в такой красоте 1936 год принесет людям и много счастья, и много тепла, и пора!

Поездка в Сухуми

Директор санатория посоветовал съездить в Сухуми, посмотреть отель «Синоп» — чудо современного зодчества и курортного комфорта.

В директорской машине со мной отправились на экскурсию заммэра Киева Мануйлович и только что прибывший из Киева Юлиан Бржезовский. От последнего, как обычно, исходил приторный запах крепких духов. Усаживаясь в машине, он предложил:

— Прихватим с собой парижанку. Будет веселей.

— Какое там веселье? — возразил Мануйлович. — Что ты ей скажешь? Марсе-парсе, Макар телят пасе? Если уж приглашать, то лучше киевлянку, нашего Женбата.

Посло непродолжительных дебатов решили ехать в наличном составе — все же это был допотопный, невместительный газик.

Наш путь лежал через благодатные земли сказочной Колхиды. Над нами раскинулось по-летнему голубое чистое небо, а вдоль шоссе тянулись бесконечные плантации цитрусов. Ни конца ни края этим ветвистым, низкорослым деревьям, густо усыпанным золотистыми плодами. Мы ехали райской долиной Ориона, огражденной с востока высоченным хребтом. На его крутых склонах зеленели широкие шатры падуба и густые заросли куцега, с корявыми стволами, самшита.

Новая гостиница в Сухуми, построенная в гуще пальмовой рощи, поражала своей красотой и строгим величием. Сооруженная в первые годы нашего индустриального роста, она являлась шикарным подарком советским курортникам. Страна, заботясь о росте своей мощи и достатка людей, не переставала заботиться об их здоровье. Действительно, каждый тогда мог убедиться, что «самый ценный капитал — это человек». Эти слова сказал Сталин на выпуске слушателей военных академий.

В шикарном холле, устланном богатыми коврами, с чудесными картинами на стенах, развесистыми фикусами и олеандрами в углах, царило оживление. Обращала на себя внимание огромная доска с фамилиями гостей отеля. Среди немногих, знакомых мне, я нашел одну, которая немного взволновала меня.

С писателем Фадеевым мне приходилось встречаться не раз. Была в те времена одна организация, которая объединяла всех пишущих на военную тему, — Локаф.

Мы поднялись на этажи. Постучав, зашли в номер Фадеева. Он, заканчивая бриться, с лицом бледнее обычного, в

растегнутой нижней рубаше, лежал в постели. Поверх плюшевого одеяла высился ворох развернутых газет.

Я познакомил Александра Александровича с моими спутниками. Он, сославшись на недомогание, извинился, что не может встать. Велел взять стулья.

Завязалась содержательная беседа, обычная для людей, связанных общей идеей. Не наступили еще те времена и те обстоятельства, которые превратили ряд простых душевных ребят в недоступных вельмож. Фадеев, очевидно, был рад нашему приходу.

— Читали новогоднюю «Правду»? — спросил Фадеев, достав с тумбочки пульверизатор и обрызгивая одеколоном свежевыбритое лицо. — Передовая окрылила меня, подняла настроение. Подумать только — за одну лишь первую пятилетку нам удалось ликвидировать безработицу в городе, нищету в деревне. Уничтожить основной бич старой России. Стоимость килограмма хлеба снижена на тридцать копеек. Вот одно только огорчает нас, советских людей, — кровавый террор в Германии. Чует моя душа — рано или поздно придется нам ошибиться с фашистами.

— Да, — подтвердил Бржезовский — начальник особого отдела КВО. — Наша разведка твердо установила — Гитлер плюнул на Версальский договор. У него под ружьем не сто тысяч, а уже весь миллион.

— И мы, верно, не спим? — вопросительно глянул на меня Александр.

— Разумеется! Кое-что сделано, кое-что на мази! — ответил я, вспомнив разговор с Туровским. — Знаю, что недавно вернули с Соловков большую группу командиров, осужденных по делу Промпартии.

— Это верно, — продолжал Юлиан. — Тут малость перехлестнули. Какурина; профессора Военной академии, может, взяли за дело. А многих просто по спискам. Только потому, что они бывшие царские офицеры. Ну, их после Соловков собрали к Ворошилову. Нарком извинился перед ними за ошибку. Выдали им по три оклада, новое обмундирование и направили на прежнюю работу.

— Знаю одного из них, — подтвердил я. — Владиславского — профессора академии. Он в царской армии был полковником, и у нас недавно получил это звание.

— А о деле Штромбаха слышали? — спросил Юлиан. — Интересно! Иностранные разведки не дремлют...

Штромбаха я знал. Это был самый веселый, самый живой, самый общительный из всех слушателей Военно-академических

курсов сессии 1924–1925 годов. В 1918 году он перешел в Красную Армию из чехословацкого мятежного корпуса. Храбрый, высокограмотный, дисциплинированный, чистенький, подтянутый, он, как командир дивизии, был на высоком счету. Товарищи, подтрунивая над ним, рвали с его головы фуражку и искали заколотую в ее подкладке иголку с ниткой. Иголка всегда была на месте. Всем было известно, что с этого Штромбах начинал любой смотр вверенных ему частей. Не найдя в красноармейской фуражке иголку, снижал общую оценку инспекторского смотра.

— И что же вы думаете, — оттопырил толстые губы особист. — Начальник 44-й дивизии, знаменитый своими таращанцами и богунцами, оказался искусным шпионом.

— Вот тебе на! — изумился Фадеев.

— Понимаете, — продолжал Юлиан, — как шпион он перешел к нам еще под Казанью. Снабжал генерала Гайду сведениями о Красной Армии. Белочехов выгоняли из России, а Штромбах остался. О нем там, за границей, долго не вспоминали. Как будто он и сам этому радовался — ведь как выдвинулся! Но вот в 1932 году прибыла из Чехословакии экскурсия знакомиться с колхозами. Ее руководитель настойчиво просил повезти их в Житомир. Что ж? Пришлось удовлетворить эту просьбу. А там, в Житомире, не стоило больших трудов кое-что уточнить. Штромбаха накрыли во время его нелегальной встречи с одним экскурсантом. То был его родной брат. Младший Штромбах сознался во всем. Чехословацкая разведка через него напомнила о себе Штромбаху-старшему... И Гитлер дает о себе знать. Недавно в Проскурове задержали подозрительного монаха. Оказался немецким шпионом...

— Слава чекистам! — с неподдельным восхищением выпалил Мануйлович.

— Что ж? Враг не спит! — сказал Фадеев. — Но и наш карающий меч не дремлет. Вот «Правда» нынче пишет, — он протянул нам газету и прочел: «Процесс над руководителями презренной зиновьевско-каменевской банды в начале 1935 года был последним актом в разгроме организованных покушений на диктатуру пролетариата и жизнь вождей партии. Очистив партию от врагов, от чуждых людей, проверка укрепила партийные ряды...»

Слава нашим вождям. Вот они в почетном президиуме московского актива — Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Орджоникидзе, Андреев, Микоян, Чубарь, Коссиор, Жданов, Постышев, Эйхе, Петровский, Рудзутак, Ежов, Хрущев. Вот они же, наши дорогие товарищи, принимают в Кремле передовиков

сельского хозяйства... И во главе их наш родной, любимый Сталин. Здесь его портрет на первой странице «Правды». А вот адресованные к нему жаркие слова Джамбула: «Сталин, словно степной орел, счастье солнечное привел». Стихи Лахути: «Тому, кто Родину такую дал мне... тебе, о Сталин, мой тебе привет».

— Со Сталиным нам никто не страшен! — восхищенно произнес Мануйлович.

— Пусть бесятся фашисты, — продолжал Фадеев, откладывая газету, — а передовые умы человечества с нами. Почитайте в «Правде» новогодние пожелания Советскому Союзу Романа Роллана, Генриха Манна, Жан-Ришар Блока, Эптона Синклера, Уолдо Франка, Луи-Гийю, Майкл Голда, Синклера Льюиса и даже американского инженера Купера — того самого, что помогал нам строить Днепрогэс...

В дверь постучали. На пороге, с микстурой в руках, показалась интересная молодая женщина. От неожиданности она с минуту оставалась прикованной к порогу. Затем замахала левой, свободной, рукой, разгоняя облако сизого табачного дыма.

— Ну и накурили. Ничего себе больной. А духи? Откуда такие запахи? — сморщилась женщина. — Больной, примите лекарство!

Наступило время прощания. Фадеев, виновато улыбаясь, словно извиняясь за так неожиданно прерванную беседу, протянул нам горячую руку. Мы, отступая перед строгой сестрой, покинули номер, в котором незаметно провели полдня.

Я вспомнил нашу беседу с Фадеевым спустя две недели, читая передовую «Правды» от 22 января 1936 года. В ней приводилось высказывание Сталина: «Соппротивление разгромленного классового врага и его агентуры становилось тем отчаяннее и ожесточеннее, чем ярче вырисовывались очертания бесклассового социалистического общества. Этот непреложный закон классовой борьбы, к сожалению, не все поняли».

Лишь много лет спустя партия и народ поняли, что это сталинское высказывание, противоречившее тому, что говорилось раньше в передовой «Правды», было зловещим провозглашением программы бесчеловечного избиения лучших кадров партии, советского аппарата, народного хозяйства, науки, культуры и Красной Армии.

И спустя много лет люди узнали, что и «глава военной хунты Промпартии» Николай Евгеньевич Какурин, и «чехословацкий шпион» Ярослав Штромбах, честные советские командиры, погибли зря.

Пришел день отъезда. На машине санатория нас доставили в Сочи. В купе мягкого вагона кроме нас, троих харьковчан,

находилась и возвращавшаяся в Москву Флорентина д'Аркансьель. В интересной беседе дорога прошла незаметно.

В Харькове нам, покидавшим вагон, шел навстречу мой друг Николай Савко, замначпуока. Мы с ним крепко подружились в Запорожской дивизии. Вместе написали книгу по истории червоного казачества. Николая прозвали «строгим холостяком». Его друзья всячески, но безуспешно старались его женить. Однажды Вера Константиновна познакомила его со своей подругой, рекомендуя узнать поближе ее приятельницу Веру. А Николай Аркадьевич ответил:

— Прошу не обижаться. Но я не верю ни одной Вере.

Вернувшись в купе, где оставалась француженка, я познакомил ее со своим другом, следовавшим за мной.

— *Ca bon!* — заявила Флорентина. — Не так будет скучно. До Москвы еще далеко.

Затем, бросив взгляд на петлицы Николая, с неподдельным восхищением воскликнула:

— О! Три ромба!

Пожелав им счастливой дороги, я покинул вагон. На перроне крепкий морозный воздух перехватил дыхание.

Верный друг зима

Я не узнавал нашего казарменного двора на Холодной горе. Все его площадки и закоулки были запружены боевыми машинами. А танки все шли и шли в наш адрес — из Ленинграда, Москвы, с нашего ХПЗ, освоившего к тому времени уже седьмую модель быстроходного танка.

Прибывали со всех концов Советского Союза танкисты для укомплектования новых частей. Суетились, кричали, возмущались их командиры, ежедневно штурмуя меня, и в их словах постоянно звучало одно слово «давай». Возникали обычные споры, недоразумения, конфликты. Наш 4-й танковый полк являлся базой формирования новых боевых единиц, но ведь и он имел свою программу боевой подготовки. Кроме этого, я, посоветовавшись со своими помощниками, наметил решить несколько тактических задач с выводом в зимнее поле всего состава полка и большого количества боевых машин. Наши танковые соединения не имели опыта действий в зимних условиях. Этот пробел чувствовался и в уставах, и в наставлениях того времени.

Выход намечался с длительным, трехдневным отрывом от основной базы. Это заставило всех нас — строевиков, штабников, политработников, снабженцев, техников и особенно медиков — серьезно готовиться к зимнему выходу.

В лице Хонг-Ый-Пе я имел прекрасного помощника. То ли уже полностью, до дна был исчерпан мед супружеской жизни, то ли так безраздельно отдавался работе, но Хонг засиживался в штабе до полуночи, а иногда и ночевал там. Женат он был на худенькой, невзрачной, старше его тремя годами, московской ткачихе. Двое малышей — Ревком и Марат — своими прелестными личиками пошли не в мать, а в отца. Майор Луи Легуэст, льнувший к командирским детям, особенно сдружился с малышами Хонга. А ведь душу взрослого легко узнать по его отношению к детям.

Ко всем нашим прямым заботам добавлялись и косвенные. В части все еще проходил стажировку литовец Печюра. Отличник учебы, он из кожи лез, стараясь оправдать затраты каунасского правительства. К Новому году он был даже премирован вместе с рядом отличников полка.

В середине января как снег на голову свалился на нас, приехав из Москвы, военный атташе Болгарии. Накануне о его приезде нас предупредила телеграмма из Москвы и звонок командующего Дубового. Мы имели право принимать иностранных военных представителей лишь по телеграмме

Ворошилова, шедшей в два адреса — мой и Дубового.

Высокий, грузный брюнет, в форме, скопированной с царской, он и по умонастроению ничем не отличался от царских полковников. С фотоаппаратом в руках, с необычной для его комплекции подвижностью гость проявлял неумное любопытство. Осмотрев детально все парки, каждый бокс в них, неудержимо рвался в гараж, где стояли тяжелые танки Т-28 учебного батальона Ильченко. Мы ему сказали, что там нет ничего интересного — обычные пожарные машины. Но он настаивал, Хонг махнул рукой: «Машины разобраны, на ремонте! Двинемся дальше»...

Болгарин не упустил и боевую технику, заполнившую казарменный двор. Ну что ж? Пусть знает, а если хочет, пусть напишет, куда найдет нужным, что в нашем полку колоссальный против штатов избыток машин.

Военному атташе захотелось сняться с нами на фоне боевого танка. Пожалуйста! Снимки этих машин уже сотни раз помещали во всех наших газетах.

Банкеты иностранным гостям давались двух разрядов. По первому — в гостинице «Красная», по второму — у себя в части. Болгарину по указанию Москвы был устроен банкет по высшему разряду. Птица!

После первого нашего тоста за болгарского гостя и его армию «птица» подняла тост за Советский Союз, за Красную Армию. Выпив, болгарин продолжал:

— Наши народы сроднила Шипка, но не знаю, что сроднит наши правительства. Слишком они разные, хотя... кое-какие сдвиги есть. На сессии вашего ЦИКа военный доклад делал не Ворошилов, а маршал Тухачевский. — Гость лукаво сощурил глаза. — Господин Тухачевский все же бывший царский офицер-дворянин. И даже ваша «Правда» писала: «Появление на трибуне Тухачевского было встречено бурными и продолжительными аплодисментами». Не только я, но и весь дипломатический корпус обратил на это внимание. Началось перерождение. Не Ворошилов, а Тухачевский. Это знаменательно!

Чудак человек! Чем он и иже с ними себя тешили? Напрасно наш замполит Зубенко убеждал его в том, что Тухачевский прежде всего коммунист, член партии с 1918 года. «Птица» долбила свое...

Мы же, армейская среда, расценивали выступление маршала Тухачевского на сессии ЦИКа как знак тесной деловой дружбы между Наркомом обороны и его заместителем.

На Западе раздавались первые раскаты страшной грозы. Доклад Тухачевского, изобиловавший фактами роста нашей

военной мощи, говорил о том, что страна готова в любой момент дать отпор любому агрессору. Вот почему делегаты так дружно и единодушно аплодировали докладчику.

В этом аспекте было знаменательным и выступление на сессии премьера Советской Украины П. П. Любченко, который сказал: «Пусть запомнят господа капиталисты: Страну Советов, руководимую партией большевиков, руководимую великим Сталиным, никогда и никому уже не победить». Его поддержал Буденный: «Уверенность наша крепка и потому, что у нас есть замечательный полководец — пролетарий, Народный комиссар обороны, Маршал Советского Союза товарищ Ворошилов».

Но... генерал силен своими воинами. И вся Красная Армия работала в те дни не покладая рук. Страна жила напряженной жизнью. Не благодумствовали и мы.

В январе Кремль принимал передовиков предприятий золота и цветных металлов, МТС, далекого Азербайджана. 3 января родители академика Лысенко через «Правду» благодарили Сталина за награждение сына орденом Ленина. В тот же день отмечалось 60-летие Вильгельма Пика. 5 января Екатерининскую дорогу переименовали в Сталинскую. 19 января Коссиор на киевском активе доложил, что в результате проверки исключено 10 процентов из партии. И «всем мы обязаны мудрому, непоколебимому вождю и организатору наших побед товарищу Сталину». 24 января Стецкий, делая доклад о 12-й годовщине смерти Ленина, сказал: «В сознании всех членов партии Сталин и Ленин это одно». А вот слова Барбюса: «Сталин — это Ленин сегодня». 29 января отмечалось 70-летие Ромена Роллана, и в тот же день «Правда» писала: «Лондон. Маршал Тухачевский шел в процессии вместе с представителями армий других держав. Шли также Нарком Литвинов, полпред Майский и военный атташе Путна. На похоронах короля Георга V из-за давки упало в обморок 7 тысяч человек».

Много интересного произошло и в феврале. Первого числа правительство после приема в Кремле наградило передовиков Бурят-Монголии. Москва встречала Андре Жида. «Правда» напечатала главы из 4-го тома «Тихого Дона». 5 февраля была объявлена амнистия профессору Рамзину и другим из Промпартии, осужденным 7 декабря 1930 года. Находясь в заключении, Рамзин разработал проект своего неповторимого прямоточного котла. 16 февраля Кремль принимал животноводов и выдал им более ста орденов.

А у нас, в танковом полку, жизнь шла своим чередом. Мы наметили свой зимний выход на 20 февраля. Танкисты дали обязательство в честь 18-й годовщины Красной Армии провести

выход отлично, по-стахановски, без потерь в людях, без ущерба для боевой техники.

Накануне, 19 февраля, позвонил мне заместитель начальника штаба округа хромоногий Ауссем. С Владимиром Ауссемом, сыном наркома, мы уезжали из Киева на деникинский фронт летом 1919 года. Я услышал в трубке знакомый мне хриловатый голос:

— Мы тут решили отправить тебя на Сабурову дачу. В такие морозы выводить часть, да еще на три дня. Сумасшедший! Передаю приказ командующего — выход отменяется. Проведете его, когда потеплеет.

Я ответил, что приказ не отменю, а завтра с рассветом полк выступит. В трубке снова загудело: «Сумасшедший! Осел!»

На Ауссема я не обиделся. Нередко и ему приходилось слышать от меня не менее лестные эпитеты. Все же это был друг!

На фронте, под Новым Осколом, когда его, долговязого дылду, сразила пуля станичника-гундоровца, я первый оказал ему помощь. Часто открывалась в колене Владимира рана, и я часами просиживал у его постели в госпитале. Такие же знаки внимания он оказывал и мне.

Вслед за Ауссемом позвонил сам командующий.

— Что вы там затеяли, дружище? — выговаривал мне Иван Дубовой. — Что, соскучились по ЧП?.. Чего, чего? Не хватает нам еще обмороженных. Не слышали, что произошло на прошлой неделе в Москве? Начальника академии Корка, комиссара Щаденко, начальника штаба Кит-Вийтенко отдали под суд. Они устроили лыжный пробег и обморозили слушателей. Кое-кому отрезали руки, ступни ног. Что? Захотел познакомиться с трибуналом? Округу устроить неприятность?

Я напомнил командующему французскую поговорку: «Отмена приказа — залог беспорядка». И настоял на своем, сославшись на то, что зима всегда была нашим союзником. Я сказал, что не жду за поход наград, и постараюсь избежать взысканий, что Колчак наступал летом, а разбит был зимой, что Юденич имел успех осенью, а разгромлен был в морозы, что Деникин летом 1919 года, а Врангель летом 1920 года шли вперед, а зимой их растрепали в пух и в прах. Что товарищ Зима — наш союзник, а не враг. И чтоб она нам не изменила, надо не прятаться от нее, а сдружиться с ней. Я просил Дубового не настаивать на отмене выхода.

После долгих дебатов Дубовой уступил. Под конец сказал:

— Убедили. Смотрите, не подведите себя, не подведите округ. Это очень и очень ответственный шаг. И берегите полк. Прежде всего, конечно, людей. Захватите с собой побольше

спирта...

А мороз все крепчал и крепчал. И это, по правде сказать, тревожило меня, особенно после телефонных звонков. Мороз был лютый, с плотным густым туманом. На броне машин сверкал синеватый иней. Голой рукой нельзя было дотронуться до нее.

Земля звенела под траками гусениц и подошвами красноармейских сапог. Валенки в полку не было, и я, не желая ставить себя в особое положение, выехал не в фетрах, а в сапогах. Зубенко, Хонг-Ый-Пе, обутые в катанки, отлучившись домой, тоже переобулись. В валенках оставался лишь один командир роты Георгий Щапов — всегда небрежно одетый, малодисциплинированный, вечно чем-то недовольный, расхлябанный человек.

— У меня пальцы отморожены, не могу в сапогах, — заявил он. Под стать Щапову был и помпотех Юматов. Из-за выхода, требовавшего тщательной подготовки, ему пришлось не спать несколько ночей.

Но вот яростнее загудели машины. Длинная колонна танков, выслав вперед быстроходную разведку, головное и боковое охранение, двинулась по шоссе к Новой Баварии.

Вызвав в голову врача Бакалейникова, я отдал в его распоряжение три легковые машины. В них погрузили теплые одеяла, термосы с чаем, бидоны со спиртом, несколько пар валенок. Всех обмороженных было решено немедленно снимать с танков и везти в ближайшие больницы. Дислокация последних была нанесена на докторскую карту.

...Широкий снежный простор сверкал мириадами искр. Они, как живые, горели и переливались золотым и серебряным светом. Снег летел из-под быстровращающихся гусениц легкой сверкающей дымкой. Пологие бугры на востоке казались смугло-фиолетовыми, а сосновый бор на западе, освещенный первыми робкими лучами, — золотисто-огненным. Зимний воздух был насыщен ароматом свежевскрытого арбуза.

Батальоны двигались дружно, умело, стремительно. Машина шла за машиной. Тяжелые — приятно журча широкими гусеницами, а быстроходные — грохоча моторами и крепкими траками.

На ночевку, в совхоз под знаменитыми Борками, мы прибыли в сумерки. Там нас ждал горячий обед и отдых до рассвета. После обеда в клубе совхоза был устроен разбор. Одни командиры заслужили похвалу, других пришлось взмылить. Помню, особенно крепко досталось Щапову. Таким, каким он был в повседневной жизни, таким оказался в тяжелых условиях зимнего похода. Я попросил всех командиров, не лентяй, записывать все, чего нет в

наставлениях и уставах, чтобы мы могли после поделиться опытом с другими танковыми частями. Напомнил им поговорку периода гражданской войны: «Они нас на танках, мы их на санках». А теперь и мы их будем крошить танками не только летом, но и зимой.

Из клуба мы шли вместе с Зубенко. Он мягко укорял меня:

— Щапов, конечно, получил по заслугам. Но вы забыли, что с нами иностранец, этот Печюра...

— Пусть! — ответил я. — Думаю, что он скорее запомнит все хорошее, нежели плохое. А хорошего у нас, кажется мне, немало. А потом — какой он иностранец? Он уже со всеми своими потрохами наш...

Может, увлеченный субъективизмом, я переоценил иностранного стажера? Но вот выдержки из письма Витаутаса Печюры от 2.11.1962 года лучше всего свидетельствуют о том, что я тогда был недалеко от истины:

«Пребывание в 1935 году в Харькове было для меня большой жизненной школой, которая повернула мне всю жизнь на правильный путь к народу. Я навсегда остался Вам искренне благодарен за создание мне всех условий лучше увидеть жизнь, познакомиться с советской печатью, литературой. Еще раньше я побывал в Швеции, Германии, Дании, и у вас понял разницу между социальным строем вашим и капиталистическим. Эти мысли мне, тогда офицеру буржуазной армии, были опасны, они тревожили меня. Я очень благодарен прикомандированному ко мне товарищу Некрасову, который много разъяснял мне. Помню комсомольскую конференцию, на которую пригласили меня. Вот там я окончательно понял разницу между нашими армиями, между вашим сознательным бойцом и нашим вымуштрованным солдатом».

Мы зашли в помещение, где отдыхали бойцы-быстроходчики. В неосвещенном клубе, на полу, как волчьи зрачки, вспыхивали огоньки папирос.

Мы вслушивались в веселый гомон бойцов. Один хвалил свою машину, другой, выставляя себя, кое-кого высмеивал, третий благодарил Толкушкина за наваристый плов.

Бойцы жаловались лишь на одно — не хватало питьевой воды. И тут впервые, вопреки моим правилам, крепко и грубовато отчитал на людях Бакалейникова, хотя и он, бедняга, за день намотался как следует.

А мороз не сдавал. Юматов получил приказ, в порядке опыта, в одних машинах спустить на ночь воду и масло, в других — периодически прогревать моторы. Второй способ вполне себя оправдал, хотя пришлось выделить на ночь дежурных

прогревальщиков. Другие танки, хотя их и залили горячей водой и маслом, пришлось заводить тягачами.

Многие танкисты несли службу и ночью. Не пришлось спать и самому. Не раздеваясь, запасшись газетами, я лег на койку в тесной кабине совхозной конторы. Над головой гудело радио. Там, в борковском совхозе, той ночью я услышал радостную весть — в Испании победил народ. Ушло в отставку реакционное правительство Вальядареса. Ему на смену пришло правительство народного фронта Асаньи.

Я подумал — создается тыл у нашей союзной Франции.

Вспомнил майора Легуэста. И, словно подкрепляя мои мысли, радио возвестило о бурном обсуждении советско-французского договора. На заседании шли дебаты о ратификации этого пакта. Его противник, бывший коммунист, переметнувшийся к фашистам предатель Дорио, как обычно, клеветал на Советский Союз, а председатель палаты Эррио, возвестивший в 1921 году: «Ни фашизм, ни коммунизм, ни Рим, ни Москва», отвечая Дорио и другим противникам договора, заявил с трибуны палаты: «С полным основанием крупнейший французский специалист генерал Луазо, посетивший Советский Союз, заявил, что Красная Армия является одной из наиболее мощных армий в Европе».

Палата большинством голосов ратифицировала договор. Я подумал: в этом, возможно, есть и крупица нашего труда, труда всего боевого коллектива 4-го танкового полка, принимавшего французского гостя майора генерального штаба Луи Легуэста.

Тогда же радио сообщило, что 20 февраля вернулся из Англии маршал Тухачевский вместе с военным атташе в Лондоне комкором Путна. Встречали маршала замкомвойск Московского округа Горбачев, начальник военных сообщений Аппога, комкор Геккер.

Чуть свет эти новости мы с Зубенко поспешили сообщить полку, и работа закипела еще веселее. Люди заливали радиаторы горячей водой, заправляли масляные баки горячим маслом, а в бензин добавляли неразбавленный спирт.

Затем мы двигались по заснеженным полям, сближались с «противником», занимали исходное положение, атаковывали, палили из пушек, рвали гусеницами девственный снежный покров и вновь шли на сборный пункт, чтобы к вечеру встать на ночлег в намеченном приказом месте.

Теперь уже на коротком, шестичасовом ночлеге не спускали воду и масло. И в полночь, когда часть выступала в поход, все машины тронулись с места.

Мною овладела тревога. Но машины шли и шли, хотя я знал, что этой тревогой охвачены многие. Казалось, что

непроницаемый мрак еще больше усиливал стужу. Видны были лишь огромные силуэты ближайших машин да ныряющий свет сигнальных огней.

Невольно вспомнились предостережения Дубового и Ауссема.

Я выслал вперед Хонга приготовить людям стоянку. Сам вернулся назад, считая на ходу машины. Добрался до хвоста, где в открытых «языках» двигались части обслуживания. Бойцы, стоя, отплясывали быстрый танец и согревались, толкая друг друга плечами. На мой вопрос: «Каково?» — они отвечали веселыми шутками.

Опять проскочил вперед и снова вернулся в самый хвост. Стал брезжить неясный рассвет. В хвосте кое-кто, спрыгнув наземь, бежал, держась за борт машины. К рассвету холод усилился.

Я видел, что стужа одолела многих. Приблизился к бойцам, посмотрел им в лицо и взял к себе в машину троих. Погнал снова вперед, опередил колонну и забросил этих троих в село, где уже дымился горячий кофе, а Толкушкин наполнял кружки спиртом.

Через полчаса весь полк собрался на широкой улице поселка. Мерно гудели моторы. Танкисты обогревались в колхозной конторе, в хате-читальне, в домах колхозников, пили кофе, глотнули крепкого спирта, совали руки в горячие печи и с полчаса молчали, словно бессердечная стужа сковала их молодые сердца.

И вот снова слышались шутки, смех.

Обогревшись, мы двинулись дальше. Прошли через город Изюм. А после обеда показались смутные очертания большого фабричного центра. Танкисты узнавали знакомые с детства трубы знакомых заводов. Это был Харьков.

Выступили мы из него 20 февраля на рассвете в сторону Новой Баварии, а вернулись 22-го числа, сделав кольцо по зимнему бездорожью в 200 километров, со стороны Змиева. Этот поход дал нам очень много. Наши люди оказались на высоте, борясь со стужей, бураном, усталостью и сном. Нам раскрылось многое из поведения людей и машин в тяжелых условиях зимы. Во всех отношениях поход был поучительным. Наши командиры исписали и вручили Хонгу кипу тетрадей. Нам с Хонгом и Зубенко предстояла задача все это подытожить и обобщить.

На подходе к Харькову пришлось «прогревать» еще одного товарища — помпотеха Юматова. Тут, очевидно, была и моя вина — танки израсходовали весь запас горючего. Юматов объяснял это постоянным прогреванием машин на стоянках. Но управлять — значит предвидеть. Следовательно — мы управляли не совсем хорошо. Благо рядом находился бензосклад аэропорта.

Гражданский воздушный флот выручил нас.

Разместив машины и людей, я из нашего штаба по телефону доложил командующему:

— Четвертый танковый полк задание выполнил. Потери — сломанный ленивец БТ в роте Щапова и один обмороженный.

— Кто и что себе обморозил? — спросил Дубовой.

— Один санитар Бакалейникова обморозил палец правой ноги...

Не ужиная, не раздеваясь, я завалился на диван. После трех бессонных ночей и трехдневного напряжения сил спал сутки. Не слышал, как мать сняла с меня задубленные от стужи сапоги.

Вечером, это было 23 февраля 1936 года, позвонил дежурный по полку. Сообщил содержание полученной из Москвы телеграммы: «Поздравляю праздником Вам присвоено звание полковника Ворошилов».

Я подумал: «Ого! Сам Ворошилов поздравляет меня. Что ж? Это неплохо!»

Но дежурный ошибся. Подумав, что на телеграфе произошла опечатка, он по-своему передавал подпись. А телеграмма была подписана комдивом Хорошиловым, заместителем начальника Управления кадров РККА.

Новое нас подстерегало на каждом шагу. Мы каждую минуту набирались опыта. И свой опыт надо было передать танкистам всей Красной Армии.

Хороший конь домчит тебя до врага, а в крутую минуту и унесет от него. Сумеешь приручить коня — получишь надежного боевого товарища. Так и с зимой. Споешься с ней — она довершит то, что начал ты. А так, за здорово живешь, не жди милостей от русской зимы.

Потом у немецких захватчиков пошло в ход словечко «генерал зима». Весь наш дружный коллектив, не щадя себя, делал все, чтобы иметь право назвать нашего сезонного союзника и боевого друга «товарищ Зима!».

Гитлеровский эмиссар

Пришла шифровка от Ворошилова: «К вам едет эстонский военный атташе майор Синка».

Присвоение воинских званий вызвало недоумение среди старых рабочих Харькова. В сознании бывших красногвардейцев слова «капитан», «полковник» ассоциировались с понятием «контра». На специальных митингах рабочим разъясняли, что союз с армиями Запада вызвал необходимость унификации воинских званий.

Такой митинг устроили и на Холодной горе. Там размещалась основная часть Харьковского гарнизона. Мне поручили сделать доклад. Наш замполит Зубенко, зная мою загруженность в части и литературную работу дома, не обременял меня партийными поручениями. Но вскоре после митинга о званиях он дал мне еще одну нагрузку — рассказать танкистам о новой книжечке, посвященной истории большевистских организаций Закавказья. Если брошюрка Ворошилова «Сталин и Красная Армия», обойдя Ленина, приписала все победы молодой Республики Сталину, дав тем зарядку на много лет всем фальсификаторам истории, то Лаврентий Берия, поставив на книжечке, написанной не им, свою фамилию, переадресовал Сталину все заслуги большевиков Закавказья.

Брошюрка всячески популяризировалась. Ее автор, до того известный лишь на Кавказе, приобретал всесоюзное имя.

Увы! Занимался этой популяризацией и я.

Еще окончательно не отпочковались новые формирования — полк Рабиновича, отдельный батальон БТ Лозгачева, три батальона Т-26, сколоченные для стрелковых дивизий округа. И наш почин с зимним выходом пришелся многим по вкусу. 23-я Харьковская стрелковая дивизия проводила теперь зимние занятия с участием танков. Эти танковые подразделения приказом командующего наряжались из нашего полка.

И округ проводил свои занятия — полевые поездки, военные игры. Там каждый участник выполнял роль, близкую к той, которая ему предназначалась мобилизационным планом.

Успешно двигалась работа над романом о будущей войне. Домысел домислом, а участие в окружных учениях широкого диапазона давало мне материал для подкрепления домысла конкретным содержанием.

...Шел третий месяц стахановского года. Награждались стахановцы — участники встреч в Кремле. Сотни орденов выдали

животноводам, льноводам, передовикам Грузии, участникам украинской декады. «Правда» напечатала песню Максима Рыльского: «Слово Сталина меж нами, воля Сталина средь нас...» В те дни Сталин заявил Рой Говарду: «Наша новая Советская Конституция будет, по-моему, самой демократической Конституцией из всех существующих в мире». А печать опубликовала постановление ЦК ВКП(б), в котором говорилось: «Осудить незаконные действия замдиректора Безопасненской МТС Северо-Кавказского края Грачева в приеме гр-ки Обозной на курсы трактористов как дочь высланного кулака»...

Умер академик Павлов. Отмечалось десятилетие смерти Дмитрия Фурманова. На экраны вышел потрясающий фильм «Мы из Кронштадта», вступила в строй вторая очередь метро.

А к нам вскоре явился наш новый гость. Из Москвы приехал военный атташе Эстонии майор Синка. Грузный, на славу откормленный, розоворылый боров, с золотыми замысловатыми виньетками в петлицах, напыщенный, спесивый, он своим несдержанным любопытством превзошел даже болгарина и японца, которых мы принимали у себя. Он вел себя нахально, пытался всюду совать свой нос, и нам приходилось с той же циничностью лгать, с какой этот невежа пробовал лезть во все щели. И в дальнейшем нам стало ясно, что он не столь печется о своей стране, сколь о фашистской Германии.

Как ни странно, а Москва указала дать майору Синке банкет по первому разряду. После традиционных тостов в честь Эстонии, Советского Союза и их армий началась беседа. Как и литовцы, свободно владея русским языком, эстонский шовинист, с ничем не прикрытой наглостью, завел свою фашистскую шарманку:

— Господа! Зря ваша печать нападает на Гитлера. Уверяю вас, его главная задача — покончить с Версальским договором. И он будет воевать не с вами, а с Францией. А если Англия сунется, то и с ней.

Зная, что и эстонцу хорошо известно о существовании советско-французского и советско-чехословацкого договоров, я сказал:

— Господин майор! Я не дипломат, я солдат и понимаю: враг нашего друга — наш враг.

— Напрасно! — ответил майор, опрокинув рюмку коньяку. — Уверяю вас, доктрина Берлина такова: Германии — Запад, Советскому Союзу — Восток.

— Запад вместе с Эстонией? — заметил Хонг.

— Хотя бы и так! — не смутился фашист с Прибалтики. — В наше время нельзя сидеть меж двух стульев. Чего вас так страшит фюрер? — разглагольствовал он. — В первую очередь он

обрушится на Францию. Вы понимаете — реванш! Позор Версаля!

— Будем точны, господин майор, — ответил я. — Это не реванш, а контрреванш! Был Версаль, но был и Седан!

— Знаете, полковник, — продолжал фашистский лазутчик, — можно говорить о канцлере все, что угодно, но он великий философ. Его идеи...

— Это не великий философ, если на каждого его агитатора приходится десять палачей, — перебил его Зубенко. — Еще Тимур сказал, что начальник, который держит свою власть на палке, недостойн этой власти.

— А кто он, этот самый Тимур? Какой-нибудь ваш проповедник? Марксист?

— Нет, господин майор. Этот проповедник — знаменитый монгол. Тамерлана слышали?

— Ах, ах, Тамерлан! Вы бы так и сказали!

Но германский агент в эстонской форме не унимался.

— И все же в Германии, как нигде, проводится и социализм, и демократия. Там и красные флаги, и Первое мая, и слово «товарищ»... Самая полная демократия...

— Демократия с тиссенами, шредерами, Круппами, с Дахау и с расовой теорией Розенберга — это будет не демократия, а фрицократия, — ответили военному атташе.

Все гости рассмеялись. Улыбнулся и майор.

— Я слышал о теократии, о бюрократии, о технократии, об охлократии, наконец. Еще какая-то есть кратия, ага, аристократия.

— Ну, а сейчас услышали о фрицократии, — сказал Хонг, и все вновь рассмеялись.

— А все же вы бедны. Мы — страна маленькая, а наши офицеры живут лучше вас.

— Мы живем сейчас лучше, чем два года тому назад. А через два года нам будет еще лучше, чем теперь, — возразил ему Зубенко. — Не нам одним, не тысячам, а всем ста семидесяти миллионам! Ваши генералы, если они еще только останутся к тому времени, будут завидовать нашим лейтенантам.

— Да, — улыбнулся майор, закулив толстую папиросу. — А пока что одни глотают дым после масла, а другие почему-то вместо масла!

— Господин майор, представьте себе, мы тоже любим глотать дым после масла, только после своего...

Эта полемика в рамках дипломатического этикета длилась на протяжении всего банкета. Я слушал наших командиров и радовался за Советскую страну. Так же, как и во время гражданской войны, каждый полк имел сотни нештатных

комиссаров, так и сейчас страна имела сотни нештатных наркомов иностранных дел. Зацепи их только!

Перешепнувшись с Зубенко, мы решили пригласить нашего «дорогого гостя» в кино. На экраны Харькова только что вышел фильм «Мы из Кронштадта». Нам уже было известно его содержание. Хотелось, чтобы гость увидел, с кем придется столкнуться в будущей войне его подзащитным.

Мы с огромным волнением следили за мужеством советских людей, дававших врагам последний и решительный бой. Майор Синка в самые напряженные моменты киноповествования невнятно мычал, непрестанно обмахиваясь надушенным платком.

— Ну, как фильм? — спросил гостя Зубенко.

— Что ж, — ответил майор Синка, — то был сброд Юденича. Теперь будет не то.

— Но теперь будут не винтовки и пулеметы, а танки и самолеты, — ответил Хонг.

— Посмотрим! — вяло ответил гитлеровский разведчик и пропагандист.

Вернувшись домой, я раскрыл лежавшее на столе письмо. Оно было из Парижа.

«Мон колонель! Я ехал к Вам, — писал Луи Легуэст, — терзаемый сомнениями, а вернулся, окрыленный надеждами. Больше всего меня поразили Ваши люди. С такими людьми можно встретить любого врага и штурмовать любые преграды. Я понимаю, мон колонель! Все, что Вы могли, Вы мне показали. О всем, что я хотел, я догадался сам! Я направлялся к Вам, как союзник, а покинул Вас, как Ваш лучший друг. Жду Вас в Париже, мон колонель!

Примите мои искренние уверения в совершенном почтении — Луи Легуэст, французского генерального штаба дипломированный майор, танкист и кавалер орденов.

Париж, 15.11-1936 года».

Я улыбнулся. Вспомнил генштабистскую сухость, которую привез с собой в Советский Союз Легуэст, и чисто французскую восторженность, с которой он уезжал к себе на родину. Подумал об эстонском военном атташе, который в это время строчил очередную сводку в фашистский Берлин. Для начала показали мы майору нашу технику. А за боксами, где она содержалась, вытянулись ряды новеньких боевых машин. Созданные нами для Дальнего Востока и Сибири полки еще не ушли. Пусть он — официальный лазутчик того мира — подумает: «Если столько машин в одном полку...» И что же? Вмиг осунулись его вздыбленные плечи, сникла надутая грудь.

Эта дипломатическая учтивость всем нам стоила великого

терпения. Учтивость по адресу человека, преклонявшегося перед Гитлером и зоологически ненавидевшего все наше. Но со времен Ленина так повелось — партия скажет: «Будь солдатом!» — и ты солдат. Скажет: «Будь дипломатом!» — и ты, добрый или худой, а дипломат.

В подобных визитах было кое-что и позитивное. Полезное. Наши люди увидели живого фашиста. И то было хорошо, что не только его суждения, а вся отталкивающая внешность, чванливая физиономия вызывали отвращение.

Черный буран

Вызов к Якиру

Этот вызов и радовал, и огорчал меня. Радовал, так как Дубовой, отправляя меня к своему боевому другу Якиру, сказал, что вызов связан с каким-то новым, весьма интересным формированием, которое хотят поручить мне. Огорчал, так как сбивал с налаженного ритма работы и в полку, и дома. Творчеству я мог отдавать немного времени — три-четыре часа в день. Но чем дальше, тем больше возникало интереснейших ситуаций и сложнее сплетались судьбы героев. Не всегда я, автор, распоряжался их действиями и поступками. Частенько сами персонажи подсказывали мне дальнейший ход действия.

Киев показался мне чище, нарядней, праздничней, чем всегда. Был март, когда воздух пахнет по-весеннему и на каштанах набухают липкие почки.

Я шел к штабу округа для встречи с командующим не без волнения. Якира за его героизм в гражданской войне, за полководческий талант, за неутомимую работу с командирами и с войсками, за большой ум и строгую человечность любили и уважали не только мы, военные, но и все трудящиеся Украины. Не было ни единого уголка в республике, где люди не знали бы командующего войсками Якира.

На улице Ленина, против невзрачного особняка, стояла правительственная машина — черный «фиат». Раскрылась парадная дверь — появился П. П. Любченко. Заметив меня, пошел навстречу. Небольшого роста, в легком сером плаще, кепи, с коротко подстриженной бородкой, свежий, румяный, он производил очень хорошее впечатление.

— О! Идет же вам форма танкиста! — премьер Украины осмотрел меня с головы до ног с неподдельным восхищением.

Этот восторг человека, отношения с которым в прошлом были не столь уж душевными, немного меня смутил.

— Нравятся мне вот эти брюки навыпуск с ботинками. Больше, чем чеботы. Знаете, ведь и я в молодости мечтал о военной карьере. А стал политиком... — Панас Петрович виновато улыбнулся. — Приезжал недавно мой однокашник Демьян Бедный. Мы с ним тайком пошли на Печерск — посмотреть нашу «альма матер», военно-фельдшерскую школу... Одно я вам скажу по большому секрету: старый фельдфебель — не нынешний старшина. При нас территория школы была чище.

— Может, поэтому школа и выпускала тогда вместо фельдшеров премьеров, знаменитых поэтов, полководцев. Щорса, например...

— Ну, ну! — погрозил мне пальцем Любченко. — А все же вы, полковник, обратите внимание на старшин. Содержание содержанием, а форма тоже должна ей соответствовать. В армии должно все сверкать и блестеть, вот как ваши петлицы. Впрочем, не забывайте нас. Если что понадобится, милости просим. Выручим...

В штабе, прежде чем явиться к Якиру, я заглянул к начальнику бронесил. Комбриг Николай Игнатов в гражданскую войну командовал бронеотрядом в червонно-казачьем корпусе Примакова. Шофер по профессии, простой, душевный работяга, с совершенно белой головой, за что получил прозвище Князь Серебряный, он прекрасно знал бронетанковое дело.

Я ему рассказал о разговоре с Дубовым и о вызове к Якиру.

— Гм! — неопределенно хмыкнул комбриг. — Значит, речь идет о тяжелой танковой бригаде. Но при чем же тут ты? Я только вернулся из Москвы. Беседовал с Халепским. Он намечает на тяжелую бригаду Степного-Спижарного. Не чета тебе — комдив, два ромба. Бывший буденновский начдив. Перед таким все ворота настежь. Да и наш общий друг Митя Шмидт нацеливается туда же. И не только он. Просится на бригаду и начальник Казанской школы Спильниченко. Тоже комдив. Федоренко, Куркин, Аллилуев. Мы там в Москве насчитали двенадцать кандидатов. Дюжина! Все ж таки не фунт изюму — отдельная тяжелая бригада. И права командира дивизии. Я тебе друг, так что учти...

Раз такова ситуация, подумал я, то, очевидно, Якир вызвал меня совсем по другому вопросу. Я направился в приемную командующего. На стульях вдоль стен беседовали вполголоса сотрудники штаба и приехавшие с периферии начальники. Записался у секретаря и я. В приемную вошел Шмидт, в высоких охотничьих сапогах, штатской куртке до колен, в зеленоватой фетровой шляпе.

— Здоров, здоров, Митя! — посыпалось со всех сторон. Командиры окружили Шмидта. — На охоту или с охоты? Где же твои зайцы?

— Тс... секрет... Мои зайцы в Голосеевском лесу проводят слет. Повестка дня: как околпачить Митьку Шмидта...

Заявление комдива вызвало общий смех, встревоживший торжественно настроенного секретаря Виссариона Захарченко.

— А утренний выпуск новостей не слушали? — спросил «охотник», когда вновь наступила тишина. — Сообщает «Солдатский вестник»: «На осенние маневры во Францию едет Якир, но при одном условии, — тут Шмидт стрельнул глазами в сторону начальника ПВО, тоже ждавшего приема, — если мы согласимся обменять Швачко на ихнего Петена. Наши будто

согласились. Только чтобы Петен стал Петенко, а Швачко станет Швачкэн...

— Барбос Митька, — выругался начальник ПВО, и вновь все дружно рассмеялись. Сам Шмидт, как всегда, оставаясь невозмутимо спокойным, взял меня под руку:

— Твоя очередь не близко. Пойдем, потолкуем.

Мы вышли в коридор. Стали прогуливаться вдоль его длинных стен.

— Слышал новость? — с нескрываемой тревогой зашептал Дмитрий Аркадьевич. — В Москве взяли комкора Гая. Не то немецкий шпион, не то готовил покушение на Сталина. Кто не знает, что Гай был на ножах с Буденным?.. Открыто шерстил Семена, Ворошилова за кумовство. За то, что все заслуги красной конницы присвоили себе, за то, что на все лучшие места суют буденновцев, что им и в праздник, и в будни раздают ордена. А чтоб он, Гай, был против Сталина? Это невероятно! Всем известно — он и в оппозициях не состоял. Поверь мне — заваривается какая-то каша. Подумать только — взять такого героя комкора! Так могут схватить любого из нас, тебя, меня, и скажут — шпион! Кто поверит? Мой командующий? Моя парторганизация?

Дули! Народу скажут шпион — верь. Ты мне голову отруби — не согласен, что Гай шпион...

Мне пришлось видеть Гая летом 1919 года под Новым Осколом. Его 42-я Шахтерская дивизия, прорвав фронт белоказаков, стремительно двигалась к Валуйкам. Начдив Гай, в прошлом ереванский конторщик, большевик, был широко известен в войсках как крупный организатор, как человек необыкновенной отваги. До этого он во главе 24-й Железной дивизии, сформированной им из самарских рабочих, громил на Волге колчаковские корпуса. Летом 1920 года Гай, возглавив 3-й конный корпус, смелым рейдом обошел правый фланг армии Пилсудского, создав прямую угрозу Варшаве. Контрудар белополяков, сорвавший наше наступление, прижал к прусской границе советские стрелковые дивизии и конницу Гая. Корпус бился до последней возможности, после чего отошел в Пруссию, там интернировался. Потом Гай командовал 7-й кавалерийской дивизией в Гомеле, а после преподавал тактику в военно-воздушной академии.

Сообщение Шмидта ошеломило меня. Я подумал: что же это делается? На Западе осатанелый враг неустанно точит ножи. Войска наши, готовясь к смертельной схватке с фашистами, день и ночь шлифуют свое мастерство, а под спудом творится нечто ужасное, неправдоподобное. Неужели среди нас, старых

коммунистов, есть предатели, плюнувшие на свое героическое прошлое и стакнувшиеся с врагом? Или же это сводятся личные счёты, борются за ложный престиж, за посты? И почему о деле коммуниста Гая, большевика с 1903 года, не сказать открыто партии, армии, народу? К лицу ли нам, большевикам, все то, что некогда называлось «тайнами мадридского двора»? Но, веря Сталину, органам, мы все, несмотря на тяжёлые раздумья, считали: «Раз взяли, значит, что-то было! Нет дыма без огня»...

Шмидт продолжал:

— Ездил я недавно в Москву. Вozил наркому с моими изобретателями модель нового танка. Мои люди смастерили. Принял меня Ворошилов обыкновенно, танкистов наградил. А вот на лестнице встретились с Тухачевским. Он мне говорит: «Что, Митя, не любит вас нарком? Не горюйте, он и меня не терпит». А что мне — свататься к его дочке? Я женатый. Начхать на его любовь. Вот послушай. В Москве, в столовой Наркомата, обедали с Суреном Шаумяном. Он же рос в семье Сосо. Недавно Сталин его спросил: «Как там поживает Митя Шмидт?» Значит, помнит меня по царицынским боям. Ну, еще была одна встреча. На выпуске академии какой-то дьявол меня толкнул поднять бокал за «героя советской конницы Думенко». Сталин поморщился — ведь расстреляли Думенко в 1920 году не без его ведома. На меня все зашикали — Буденный, Тимошенко. А Сталин сказал: «Да, мы тогда поторопились...» И впрямь страдаю за свой язык. — Сделав паузу, Шмидт снял шляпу, разглядел пятерней густую шевелюру, спросил: — Ну? Ты зачем к Якиру? Не по поводу ли тяжелой бригады?

Я сказал, что не знаю, зачем командующий вызвал меня.

Шмидт продолжал:

— Речь пойдет о тяжелой бригаде. Но вопрос о ее командире пока не решен. Учти, Халепский хочет ее дать Степному-Спижарному, буденновцу. Да и сам Игнатов — «хрен не сороковка, белая головка» — метит на нее. Ездил специально к Халепскому. Скажу по совести: и я просил Якира дать мне тяжелую бригаду, а тебе мою. Не обижайся — я ведь старше тебя, был твоим начдивом. Комдив, два ордена, и, как танкист, имею больше опыта.

Я ответил:

— Как скажет Якир, как решит Москва, так и будет.

— Ладно, — усмехнулся Шмидт, — иди к Якиру. Будет время, заезжай, живу возле театра Франко. Покажу тебе дочь. Растет королева...

Я направился в приемную. Вскоре меня позвали к командующему. На длинном столе вдоль окон лежали

испещренные цветными карандашами топографические карты. Ясно — шла подготовка к очередной полевой поездке или военной игре.

Якир вышел из-за стола. На широкой груди командующего блестели депутатские значки члена ЦИКа СССР и ВУЦИКа. Один из его трех боевых орденов выделялся золотыми просветами. Первые наши знаки отличия чеканились из чистого золота. После Блюхера, получившего орден Красного Знамени № 1, был награжден Якир.

С улыбкой на смуглом лице, с лукавыми искорками в умных карих глазах, командующий приветливо встретил меня:

— Здравствуйте, товарищ Чичерин! — начал он, приглашая сесть.

— Это почему же Чичерин? — удивился я.

— Дипломат, а спрашивает! — ответил Якир. — Мы живем в Киеве, а знаем, чем дышит Харьков. Борода докладывает мне обо всем. Слышали про ваши диспуты с лимитрофами, с болгаринном. А этого эстонского майора сразу раскусили — сволочь, фашист. Живет на гитлеровские марки.

— Надоели, по совести скажу, гости, — сказал я. — Стихийное бедствие. Не дают работать. Хотя от них есть и польза. Танкисты все время начеку. Сами подтягиваются. Не хотят ударить лицом в грязь. Берегут честь Красной Армии.

— Не помню, — задумался Якир. — Не то Виктор Гюго, не то Золя сказал: «Один француз — это нация, один мундир — это армия». Правильно понимают свою роль наши бойцы. Золотые у нас люди, я вам скажу. Вот почему я считаю — нет у нас плохих частей, есть плохие командиры.

Якир раскрыл коробку «Казбека». Мы закурили. Он продолжал:

— Так вот. С гостями конец. Больше вам не придется иметь с ними дело. Пока... Дальше будет видно. Трудно предвидеть, что нам готовит будущее. Другие задачи мы возлагаем на вас. Будете в Киеве формировать тяжелую бригаду. Учтите, что это значит. Пока мы имеем таких три единицы — в Ленинграде, Стрельне, Смоленске. Наша будет четвертая. И то спасибо кировцам — работают всю. Ездили мы туда с Халепским. Обещают к июню подбросить нам тяжелые танки. А пока что привезите в Киев ваш учебный батальон, и здесь мы вам дадим батальон Петрицы. Сегодня же поезжайте к нему. Ознакомьтесь с людьми, со строительством казарм, клуба, парков, мастерских, жилого дома. Нажмите на строителей. Поклонитесь вашему бывшему шефу Любченко, пусть поможет. И чего мы от вас ждем? К первому октябрю соединение должно быть готово. На эту бригаду ТРГК я

возлагаю большие надежды. Пусть там Буденный мечтает крошить врагов шашками, а нам нужна единица, которая с небольшими потерями сможет рвать оборону врага. Открывать дорогу войскам. Этой высокой задачей надо зажечь танкистов. Вместе с парторганизацией поставьте перед ними задачу — завоевать для бригады право называться Сталинской. Это имя окрыляет нас всех. Заканчивайте в Харькове дела и перебазируйтесь сюда. Хотелось, чтобы вы Первого мая с двумя тяжелыми батальонами приняли участие в киевском параде. Вот все, дорогой. Думаю, что это вам по душе. Работайте, ищите. Обобщайте опыт.

Сообщение командующего взволновало меня. Растрогало его доверие, доверие партии. Ведь со мной говорил член ее Центрального Комитета. Но я вспомнил разговор с Игнатовым, со Шмидтом. Сказал Якиру, что новая задача мне по душе, но вряд ли мне придется ее выполнять. Изложил ему все, что услышал от начальника бронесил. Якир на миг задумался. Положил локти на карту, подпер подбородок ладонями.

— Хорошо, что вы мне об этом сказали. А я ведь всей этой закулисной кухни не знал. Подобрать кандидата Ворошилов и Фельдман поручили мне. Ладно, скоро буду в Москве, а вы езжайте к Петрице, делайте, что я вам сказал. Передайте нашему Фуллерову-Игнатову мое распоряжение — пусть едет вместе с вами в тяжелый батальон. Кстати, как продвигается ваш новый труд?

— Дальше в лес — больше дров, — ответил я. — Роман наполовину готов...

— Да я не об этом, — улыбнулся Иона Эммануилович. — Меня интересует другое — труд о танках прорыва. Разве вам Туровский ничего не говорил?

— И эта работа движется, — со смущением ответил я.

— Ну, это хорошо. Учтите — это ваш главный козырь, не роман. Роман — для души, военная теория — для дела.

— Ясно, Иона Эммануилович, — ответил я, вставая.

— Вот еще что. Не давайте себя там грабить дальневосточникам. У маршала Блюхера много своих хороших командиров. Везите сюда боевых ребят, пригодятся. И вот что скажите мне. Как, по-вашему, Хонг шпион или нет?

Этот вопрос ошарашил меня. Я ответил:

— Хонг отличный штабник. И мне бы не хотелось с ним расставаться. Но разве влезешь в душу человека? Тем более такого, у которого не лицо, а глыба гранита.

— Знаете, в чем дело? — продолжал Якир. — Хонг — выходец из Кореи. Он там партизанил, а его родная сестра вышла замуж и

вместе с матерью уехала в Японию. Наши особысты возражали против назначения Хонга начальником штаба Дальневосточного полка. Придется взять его сюда в Киев, в тяжелую бригаду. Вы себе представить не можете, как нам приходится дорожить каждым мало-мальски дельным командиром. Везите Хонга в Киев, а там посмотрим.

— Посмотрим! — ответил я.

По дороге к Петрице я все время раздумывал над тем, что услышал в штабе округа. Гай — немецкий шпион, Хонг — японский. Мне и в голову не приходило, что Хонг-Ый-Пе может быть двуликим Янусом. Что же это? Здоровая бдительность или ничем не оправданная излишняя подозрительность? А возможно ли совместить и то и другое?

Но, заслоняя все грустное, возникали мысли о более важном. Партия чувствует назревающую грозу. Готовится ее встретить во всеоружии. Еще одна танковая бригада... Пока в идее. Но у большевиков так повелось еще со времен Ленина. Нынче идея, а завтра она уже материальная сила. Память о прошлом опыте нужна ради будущего. При Ленине разрозненные полки и эскадроны выросли в грозные конные армии и конные корпуса. И вот теперь отдельные батальоны танков сливаются в мощную ударную силу — бригады, корпуса.

«Открывать дорогу войскам...» Вот где ленинская забота о солдате. О человеке с ружьем. Забота о том, чтобы малой кровью, а не горами пушечного мяса достигалась победа.

«Открывать дорогу войскам...» Вот простые, полные высшего гуманизма слова. Их сказал Якир — член ЦК нашей партии. Значит, это линия всего ЦК. И не только это. А летающие с конвейера Кировского завода тяжелые машины. ЦК — это люди. И прежде всего его мозг — Политбюро. Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Чубарь, Рудзутак, Коссиор, Постышев...

Значит, свято выполняется клятва, данная у гроба Ленина двенадцать лет назад.

Надо потолковать с людьми. Надо, чтобы будущая тяжелая бригада во что бы то ни было носила имя того, как сказал Ворошилов на первомайском приеме, кто ведет нас от победы к победе.

А тревоги Шмидта? Это сугубо личное и сугубо преходящее. Все утрясется. Уладится. И «дававший духу пруссакам и баварцам» партизан еще подложит их потомкам не одну мину, думал я. Гай — это лишь единица. Пусть и значительная. Главное — это целое. А целое стоит на широком и верном пути.

Адъютант Франца-Иосифа — Богдан Петрович Петрица, мой соученик по бронетанковой академии, принял меня очень тепло.

Нагрянула весна. Последние остатки обильного в том году снега веселыми ручейками сбегали по холодногорским склонам в низину. Богатая осоками Холодная гора оделась в зеленый весенний убор. И даже довлеющая над всем тем районом мрачная тюрьма с ее высокой облезшей стеной скрылась за свежей зеленой завесой.

Ожила природа. С приходом весны ожил и наш казарменный двор. Деловая суeta не прекращалась на нем с подъема до отбоя. Непреложная истина: победа на фронте — это жатва. А подготовка к ней проходит в мирные дни. Чем старательней к ней готовишься, тем обильней урожай. Что посеешь — то и пожнешь.

Четвертый танковый полк умирал, но это была животворящая смерть, подобно смерти брошенного в землю зерна, дающего жизнь целому колосу зерен.

И тем не менее было больно. Боевая единица, в которую вложено много труда и энергии, за которую мы все болели, распадалась. Командиры, воспитанные и обученные нами, уйдут в дальние края. И, быть может, никогда я с ними не встречу.

Заканчивалось сколачивание новых боевых единиц. Шла подготовка к переброске остатков нашего полка в Киев для формирования тяжелой бригады, хотя из Киева еще не сообщали, кто же из «двенадцати кандидатов» будет ее командиром. Кто бы ни был, а приказ о перебазировании надлежало выполнять в точности.

Приближалось 1 Мая. Если осенью боевую подготовку части проверяет военное начальство, то 1 Мая и 7 Ноября армия как бы отчитывается перед трудящимися страны, демонстрируя свои достижения за прошедшие полгода. Командующий войсками округа Иван Дубовой возложил на меня подготовку к первомайскому параду всей боевой техники. А ее набралось к тому времени больше чем достаточно. Наш полк, полк Ольшака, полк Рабиновича, батальон Лозгачева, четыре вновь созданных батальона для стрелковых дивизий округа. Дубовому было о чем беспокоиться. Надо было показать славному харьковскому пролетариату дело его рук.

Подготовка к выходу на парад мощной танковой колонны началась задолго до 1 Мая. Короче — дни и даже ночи были заполнены большим и увлекательным трудом. И в этом заключались величие и прелесть военной жизни.

В первых числах апреля меня срочно вызвали в штаб к

заместителю командующего. В приемной шла оживленная дискуссия между командиром 25-й Чапаевской дивизии чубатым, редкозубым, коренастым крепышом Михаилом Зюком и адъютантом Туровского. Молоденький старший лейтенант, заслонив спиной дверь в кабинет, доказывал возмущенному командиру дивизии:

— Понимаете, товарищ комбриг, не велено никого пускать. Сам командующий в эти дни не тревожит комкора.

Заметив меня, Зюка поздоровался, стал жаловаться:

— Ну, что скажешь? Все забюрократились. И Сенька туда же. Забыл, барбос, как под тюремными юрцами я его отогревал своим бушлатом. Забыл наше червонное казачество, лучших друзей...

За спиной этого незаурядного командира-большевика был славный революционный и боевой путь. В 1915 году за распространение революционных листовок его, черниговского гимназиста, вместе с друзьями по подполью Туровским и Буниным выслали в Вологодскую губернию. Он вернулся после Февральской революции. Во время январского восстания 1918 года против Центральной рады командовал батареей киевских железнодорожников. С лета 1918 года до 1925 возглавлял артиллерию 1-го конного корпуса Примакова. О бесстрашии и мужестве Зюки и сейчас с восхищением вспоминают ветераны червонного казачества. После учебы он в корпус не вернулся. Его послали командовать дивизией на Дальний Восток. Оттуда перевели в Ленинград на 4-ю Туркестанскую стрелковую дивизию. После убийства Кирова секретарь обкома Жданов из-за прошлых колебаний Зюки потребовал его удаления из Ленинграда. Армия при ее безудержном росте не могла разбрасываться заслуженными, боевыми, опытными кадрами. Возможно, что не обошлось без помощи Якира, Дубового, Туровского, хорошо знавших Зюку по революционным годам. Его послали в Полтаву — командовать чапаевцами. Дивизию он вел хорошо. Раскаиваясь за прошлые колебания, Зюка не в пример Шмидту был молчалив, сдержан, ни на что и ни на кого не жаловался. Очевидно, сознавал снисходительность, проявленную к нему партией.

Видя безуспешность своих поползновений, комбриг, сверкнув маленькими, сдвинутыми к переносью глазами, погрозил в сторону наглухо закрытых дверей кулаком и громко выругался:

— Я тебя, барбос, и дома найду. Готовь свои бока, намну их по-червонно-казачьему...

Потом обратился ко мне, не снижая голоса:

— Знаешь, я влюбился в твою Полтаву. Рай, а не город. Взял бы и приехал в выходной прямо в лагерь, в Ерески. Повезу на

Шведскую могилу...

Слова Зюки всколыхнули во мне воспоминания детства. Перед глазами возник утопающий в зелени город, мраморная колонна памятника Славы с золотым орлом, провинциальная зеленая Всехсвятская улица, где я провел часть своего детства, заросшие чебрецом и молочаем гранитные редуты Петровских времен...

— Ладно, — обещал я. — При первой возможности приеду...

Вдруг широко раскрылась дверь кабинета. Высунулась взъерошенная голова Туровского.

— Что за шум? Не даете работать! Ах, это ты, Мишка, узнаю, узнаю...

Комкор кивнул мне, поздоровался. Зюка попытался было проникнуть в кабинет.

— Не могу. Нет, не могу. Иди к Вере, поиграй со Степкой. Приеду обедать, поговорим. А вы заходите, — позвал меня Туровский.

— Ну и дела! — добродушно ворчал Зюка. — Дожил, нечего сказать. Знал бы, задушил бы тебя собственными руками под тюремными юрцами.

— Иди, иди, трепач! — добродушно улыбнулся Туровский. — Дома потолкуем.

Зюка ушел. Туровский, в расстегнутой гимнастерке, со сдвинутой набок пряжкой широкого ремня, с горящими глазами, с пачкой карандашей в левой руке, рассредоточенный, взволнованный, позвал меня к своему столу.

— Зашиваюсь! Вот это зашивка! Ну, прямо сажусь в лужу. Москва торопит с проектом Полевого устава, а я, видно, в срок не уложусь. Не оправдаю надежды наркома, Военного совета. Будто Тухачевский и Мерецков свои проекты заканчивают, а я застрял.

Туровский указал на ворох исписанной бумаги, на кипы книг, загромождавших его рабочее место и длинный стол, стоявший у стены.

— Все это надо было изучать, — он достал и бросил на стол одну, другую, третью книгу. — Все, начиная с «Уложения царя Алексея Михайловича о ратных хитростях пехотных людей» и кончая новым английским Полевым уставом.

Я подумал: «Знал, за что берешься. Жалуешься на нехватку времени, а сам тратишь его на бесполезные жалобы».

А Туровский продолжал:

— Знаете, зачем я вас вызвал? Вы должны мне помочь. Напишите разделы по коннице и бронетанковым войскам. Это не займет много времени. Исходными материалами я вас обеспечу в достатке. Прошу вас...

При моей нагрузке я не мог брать на себя нового труда, к тому же такого необычного... Шутка сказать — проект нового Полевого устава, да еще такие ответственные его разделы! И действительно, задача была очень серьезной. Армия стала неузнаваемой. Выросшая индустрия обогатила ее новой техникой. Стал иным и командир. Потребовались иные принципы и формы вождения войск, их взаимодействия. Все это должно было найти свое отображение в новом руководстве по вождению войск — в Полевом уставе.

Я отказался. Посоветовал Туровскому привлечь своих штабников. Среди них было много опытных, с академической подготовкой товарищей — Соколов, Ауссем...

— А вы знаете, кто писал уставы Фридриху Великому? Шиллер! Вот кто! Пусть хоть часть нашего устава напишет литератор...

На эту лезть я ответил:

— «Уж сколько раз твердили миру...» Я думаю, что мне так же далеко до Шиллера, как кое-кому до Фридриха Великого...

— Я согласовал вопрос с Бородой. Он даст вам недельный отпуск, а если нужно — и больше. Видите, это не только мое желание. Понимаю, — сказал он с ноткой обиды в голосе, — для вас, для Зюки я не начальник: сосали один сухарь в червонном казачестве... А вот, может, командующего уважите?

Пришлось уступить. Туровский просиял. Позвонил адъютанту. Попросил два стакана чаю с печеньем. Достал из кипы книг тоненькую брошюрку в красной обложке.

— Итальянское наставление. Вроде Полевого устава. Свеженькое. Написано на опыте абиссинской войны. Нежданно для итальянцев они встретились с отчаянным сопротивлением безоружного, мирного по своей сути народа. Пришлось заново переобучать войска. Вот и появился на свет этот катехизис, — комкор потряс в воздухе красной брошюрой. — Посмотрите сюда, — он начал листать книжечку. — Видите, кто написал предисловие? Сам Муссолини! Он, конечно, сволочь, фашист, отец фашизма, а отнять нельзя — пером владеет в совершенстве. Ничего не скажешь — в прошлом бойкий и опытный публицист. А у нас, — Туровский понизил голос, — кто сможет написать такое сугубо военное предисловие. Сталин, Ворошилов?..

Мой собеседник меня ошеломил. Сказал бы это Шмидт, — а то Туровский, член бюро обкома, ярый борец с ленинградской оппозицией, стойкий цекист, непоколебимый сталинец. Что это? Неужели такой способен переоценивать ценности? А если да, что вынудило его? Ведь редко кто пользовался таким доверием партии. За восемь лет пройти путь от начальника школы до

замкомвойсками, до члена Военного совета республики? А может, это честный, но одурманенный славословиями партиец, умеющий трезво оценивать руководителей, с которыми ему пришлось поближе столкнуться. Ведь можно, болея за дело, за партию, сожалеть, что во главе ее стоят люди, которым не по силам ее огромные задачи. Ведь сказал Бернард Шоу: «Рим перерос своих владык». Но сказал же и Стецкий, подкрепляя себя Барбюсом, что Сталин — это Ленин сегодня. Как же понять Туровского?

В голове моей все смешалось. Я ничего не понимал. Подумал даже такое — Туровский, твердокаменный цекист, зная, что меня прочат в командиры тяжелой бригады, проверяет меня. Не клюну ли я на его деланное вольнодумство?..

Щелкнул английский замок. Раскрылась широко дверь. В ее проеме сначала показалась окладистая золотистая борода Ивана Наумовича Дубового. Затем и сам огромный, плечистый командующий. Его зеленые глаза, как всегда, искрились природной добротой.

— Ах, вы тут! — воскликнул он, протягивая мне руку. — Могу вас обрадовать. Вы назначены командиром 4-й Отдельной киевской тяжелой танковой бригады. Но я заявил Ионе — пока вы не закончите все формирование и не проведете в Харькове первомайский парад, вас в Киев не отпускаю...

— Поздравляю! — тиснул мне руку Туровский. — Тем более вы обязаны мне помочь. А за это я вам подарю военную энциклопедию Березовского. Вот при Иване Наумовиче обещаю...

— Но если б ты, Семен, знал, какой бой мы выдержали с Ионой из-за него, — повернулся Дубовой к своему заместителю, — не бой был, а настоящая война «русских с кабардинцами». Сидим у наркома. Халепский дает своих кандидатов — один другого лучше, заслуженней, а мы — своего. Якир говорит: «Он сейчас готовит труд о танках прорыва». Что в прошлом червонный казак — молчит. А Халепский: «Раз так, раз он такой грамотный, назначим его начальником нашего научно-исследовательского института». Я говорю: «Он сейчас готовит труд о танках прорыва. И на тяжелой бригаде проверит свои теоретические выкладки». Это подействовало. Нарком сказал: «Пусть командует он!»

Дубовой разгладил бороду.

— Я вот на своих червонных казаков не жалуюсь, — усмехнулся командующий, — ни на Зюку, ни на Ивана Самойлова — командира авиационной бригады, и, конечно, и на тебя, Семен Абрамович...

— А вот наш нарком их не терпит, — ответил Туровский. — Еще с гражданской войны. В 1920 году, под Бродами, адъютанты

Ворошилова и Буденного явились к нам.

Звали Примакова в штаб Конной армии. А он сдуру, конечно, ляпнул: «Если им нужно, пусть едут ко мне!» Зато в декабре 1935 года, когда по просьбе трудящихся Украины решался вопрос о награждении червонного казачества орденом Ленина, Ворошилов сказал: «Не давать этим башибузукам». Серго Орджоникидзе ему ответил: «Зря, Клим! Не понимаешь ты национальной политики. Орден Ленина надо дать!» И 3 декабря «Правда», опровергая наркома, в редакционной статье написала: «Червонные казаки — это могучая вооруженная сила революции». Что говорить — старые счефы!

— Так оно и получается, — заметил Дубовой, — паны дерутся — у мужиков чуб трещит. Но мы с Ионой не дадим в обиду наших червонных казаков. Никогда в жизни!..

Допив чай, я ушел. Ушел не столь расстроенный новой нагрузкой, сколь подавленный услышанным мною в кабинете замкомандующего, представшего передо мной в новом свете, свете неразгаданного сфинкса.

Приходила в голову и такая мысль — нет ли чего общего между репликой Туровского, брошенной в Гаграх, и здесь, в Харькове, с постоянным брюзжанием его свояка Дмитрия Шмидта.

Вскоре все это вылетело из головы. Работа над новым заданием вытеснила все мысли и тревоги.

Настал день 1 Мая. Для нас этот день пришел значительно раньше. Ночью, когда город спал, мы выводили танкистов гарнизона дважды на площадь Дзержинского — раз в пешем строю, раз с боевой техникой. Утром 1 Мая наши машины с медными антеннами, начищенными до блеска, заняли половину всей площади и всю Сумскую улицу до гостиницы «Красная». Одна мысль сверлила меня непрестанно — провести колонну как следует, в полном порядке. Не заглохли бы моторы. Правда, укрытые брезентами, стояли за трибунами тягачи. Но не к чести командира прибегать к их помощи. Мы отчитывались не только перед трудящимися, руководством области, командованием. Рядом с основной стояла трибуна иностранных консулов. Среди них был и представитель гитлеровской Германии. Напоминая о страшном враге, над зданием консульства, почти рядом с обкомом, развевалось фашистское знамя с черным пауком — свастикой.

Выдался ясный, солнечный день. Парадом командовал Туровский, принимал Дубовой. Настало время торжественного марша. Трибуны, словно усеянные маками, замерли. На основной трибуне стояли в ряд секретари обкома Демченко, Мусульбас,

Шарангович. Как былинные витязи, выделялись два великана — один с белой бородой, бывший шахтер Наум Дубовой, председатель ЦКК, другой — с рыжеватой, его сын Иван Дубовой, командующий войсками округа. Рядом стояли два его заместителя: Семен Туровский и Казимир Квятек — польский пролетарий, осужденный в 1905 году на казнь за убийство варшавского генерал-губернатора. Прошла мимо трибун 23-я стрелковая дивизия, промчались ее пушки. Взвился желтый флажок — загудели сотни моторов на площади, загудели машины на Сумской. Стало тихо на трибунах. Взвился красный — танки, тройка за тройкой, соблюдая равнение, двинулись вперед. Мы с Зубенко, выскочив из газика, стали у трибун, пропуская с замиранием сердца колонну. Защелкали затворы консульских фотоаппаратов. Заплодировали советские люди. Вот уже прошли амфибии, малоповоротливые Т-26, быстроходные БТ, грозные Т-28 и сухопутные Т-35. Отлегло от души — не пришлось потревожить ни одного тягача. Сошел с трибуны Дубовой. Потряс руки мне с Зубенко.

— Спасибо, товарищи. Теперь можете ехать в Киев.

Я поднялся на гостевую трибуну. Позвал мать, сына. На газике, ждавшем за Госпромом, отвез их домой. В машине мать, радостная, сияющая, сказала мне:

— Ну, сынок, и для меня сегодня был праздник. Какой-то неизвестный человек тронул меня за плечо и сказал: «Смотрите, смотрите, мамаша, вон поехал и ваш Дуб».

Что ж? Это было заслуженной наградой старушке за плети петлюровцев, деникинцев и махновцев, измывавшихся над матерью большевика.

В тот же день в Померках был устроен прием участникам парада. После обеда подошел ко мне новый второй секретарь обкома Шарангович. За столом, это бросалось в глаза, он сидел в сторонке, хмурый, неразговорчивый. Никто из руководящих товарищей не оказывал ему никаких знаков внимания.

— Чего-то шарахаются от меня? — криво усмехаясь, пожаловался мне новичок.

Но что ответить ему? Ведь я, далеко стоявший от обкомовских товарищей, не знал ни их дел, ни их отношений. А подошел он ко мне, потому что за обедом, сидя рядом, перебросились двумя-тремя репликами.

Немного позже подошел ко мне Туровский.

— Что он вам говорил?

Я передал Туровскому жалобу Шаранговича.

— Понимаете, — возмущался Туровский. — Прислали его неожиданно-негаданно. Раньше как-то спрашивали членов обкома,

согласовывали с ними. А тут с неба свалился. Что? Не доверяют Демченко, Мусульбасу, всем нам? И сразу повел себя как комиссар. Я уверен, что это делается за спиной Сталина. Ежов, оргсекретарь, сует всюду своих людей. К Коссиору приставил Постышева, к Демченко — Шаранговича. А мы его бойкотируем. Пока еще ленинскую партийную демократию никто не отменял.

После короткой паузы Туровский продолжал:

— Вот вы от нас уезжаете. Скоро, возможно, не увидимся. И, наверное, думаете, что случилось с твердокаменным Туровским? Да, я и сейчас в непогоду чувствую сломанное ребро: память зиновьевцев. Рискаю головой, Туровский не боролся, а дрался с оппозицией за генеральную линию, сейчас ропщет! Что? Мало меня возвысили? Нет! Болею за ленинский курс. Разве Ленин допускал, чтобы его так славословили? Вспоминаю девятый съезд. Ленин не позволил отмечать свое пятидесятилетие. А тут Каганович, Ежов при каждом удобном и неудобном случае при упоминании имени Сталина бросаются в бараний восторг. Разве это нужно партии, нужно народу, нужно самому Сталину? Нет, это нужно им — Кагановичу, Молотову, Ежову. Этим они укрепляют свои позиции, а кое-кого в партии развращают! Затыкают всем рты. Партия, естественно, не дискуссионный клуб, но и не дисциплинарный батальон! Разве так было при Ленине? Я воевал, подставлял свои ребра за ленинскую линию, а не за посты Ежова и Кагановича.

— А вы бы выступили открыто! — сказал я. — Кто вам мешает? Депутат ЦИКа, член Военного совета...

— И выступлю на ближайшем съезде партии! — вытаращил на меня сверкающие глаза Туровский. — А сейчас бесполезно. Это лишь Дон-Кихот вслепую лез на ветряки.

Кто не знал Туровского, мог бы подумать: «У трезвого на уме, у пьяного — на языке». Во время гражданской войны этот боевой соратник Примакова питал особую слабость к сметане. Один мог осушить полный глечик. Вина не терпел тогда, больше рюмки не выпивал и теперь. Словно отвечая моим мыслям, Туровский сказал:

— Чтобы узнать характер человека, надо его разозлить. Этот Шарангович злит меня на каждом заседании бюро обкома. Ведет себя не как партийный товарищ не как равный с равным, а как завоеватель. Посылают нам комиссаров, посылали хотя бы умных, не дураков. Что? Мы против генеральной линии? Против единства? Единство! Я был, есть и буду за него. Но при Ленине единство достигалось силой ленинских идей. А шаранговичи ведут курс на завоевание единства силой сталинской иконы. Заслоняют ею образ Ленина. Что? Мои слова крамола? Ничего

подобного! Вспоминаю двадцать седьмой год. Сколотил я из курсантов крепкую группу. Молодежь гордилась тем, что в нашей школе учился поэт Лермонтов. Ленинград назвал нас — «летучий отряд Туровского». Где сильнее были зиновьевцы — туда летели мы. Но мы их давили не копытами наших боевых коней, а силой боевого ленинского слова... Нам «иконы» и боги не нужны. Народ верит в ленинское слово больше, чем в «иконы». Очень просто так докатиться и до советского Цезаря...

Одно скажу — чем дальше, тем больше сумбура накапливалось в моей голове. Но после слов Туровского я запомнил это малоизвестное широким партийным кругам имя — имя Ежова.

Долго об этом думать не пришлось. 3 мая на погрузочном дворе нас ожидали два состава. 4 мая оба наших эшелона отправились из Харькова. С одним ехал я, с другим — Зубенко.

На одной из платформ, прислонившись спиной к броне тяжелого танка, я углубился в свежую «Правду». В ней сообщалось много интересного. «На приеме участников парада в Москве первое свое слово Ворошилов посвятил тому, кто ведет нас от победы к победе, к новой, счастливой, лучезарной, свободной жизни, — вождю советского народа, величайшему человеку современности, любимому другу и учителю нашему Сталину». «Сталин поднял тост за вождя Красной Армии, за одного из лучших руководителей партии и правительства, за Клим Ворошилова».

Если это так, подумал я, то как же понять слова Туровского, сказанные им в кабинете?

Газета сообщала о параде в Киеве. «На трибунах стояли: Коссиор, Постышев, Петровский, Любченко, Якир, Затонский, Балицкий, Попов, Шелехес, Порайко, Сухомлин, Шлихтер, С. Андреев... Мотомехчасть выделяется сотнями воспитанных в ней стахановцев. Бывший партизан, причинивший много неприятностей немцам и гетманцам в 1918 году, товарищ Шмидт в совершенстве овладел новой техникой».

«Ну, — подумал я, — эта заметка в «Правде» придется ворчуну по душе».

...Пришел зыбкий рассвет. Из окна вагона открывалась широкая даль. Родившись вблизи тихой зеркальной Ворсклы, я любил этот знакомый мне с детства пейзаж. За Борисполем началась полоса заливных лугов.

Рассеченный московской магистралью, красный, словно окованный бронзой, бор тянулся от Гребенок до самого Киева.

Зычный гуд паровоза гремел по округе, как боевой клич. Много лет подряд стоят эти задумчивые леса, пропуская мимо

себя вереницы звенящих и ревущих составов. Из Москвы и из Харькова путь в Киев лежит через Дарницкий мост. Сжалось сердце, обвитое тревогой...

Густая заросль жасмина зеленела там, где когда-то стояло капище Дажьбога. Оттуда опальный идол был низвержен киевлянами в холодную пучину Непряди. Вдали, на высоком берегу, под каменными нагромождениями минувших веков высились золотые шлемы Киево-Печерской лавры. По реке скользили белые, как лебеди, экспрессы, плелись буксиры, увлекая за собой почерневшие баржи.

Мы любовались заднепровской ширью, уплывавшей на восток. А там, вдали, на востоке, чернели сосновые леса. Из этих лесов тысячу лет назад выходили скопища половцев, привлекаемых богатствами стольного града Киева. А позже, как саранча, вылетали оттуда орды татар.

Славянский утес не дрогнул против половцев и против монгол. Но я не мог себе представить того кровавого урагана, который вот-вот разыграется здесь, на этой священной для нас земле, тех жертв, которые понесет народ, и того зла, которое будет причинено нашей Родине.

А вот и вокзал — тяжеловесное слепое чудовище, созданное бездарными строителями.

У подъезда стояла знакомая фигура слепого нищего с мальчиком-поводырем. Они тянули на два голоса веселую детскую песню: «Петушок-петушок, золотой гребешок». В этом был какой-то психологический смысл. Веселых попрошаек никто не обходил.

Столица Украины. Восемь месяцев назад здесь подводились итоги больших Киевских маневров. Здесь я прощался с нашим славным гостем из Парижа Луи Легуэстом. Тогда и я был гостем столицы. Теперь придется прописываться в ней на постоянное жительство. На постоянное ли?..

Судя по ситуации, по звериному реву берлинского радио, всем нам, всему Киевскому гарнизону, и не только ему, предстоит дальний путь на запад, на встречу с фашистским воинством. А пока мы туда подойдем, с ним сцепятся наши союзники — чехословацкие и французские дивизии. Договор... И, может, где-нибудь на Рейне еще встретимся с нашим стажером Легуэстом.

Сомнений нет — в Киеве не засидимся. Его придется покинуть. Но пусть это случится не раньше, чем будет создана тяжелая танковая бригада имени товарища Сталина, предназначенная «открывать дорогу войскам».

С товарной станции, где выгружались эшелоны, боевая техника своим ходом двинулась в Вышгород.

В тенистом сосняке у Днепра, вблизи высоких вышгородских холмов, на которых некогда стояла летняя резиденция князей Киевской Руси, в течение всего апреля трудились наши люди. Во главе с капитаном Чурсиным они возвели ряд легких вспомогательных сооружений — навесы для мастерских, для машин, для классных занятий, пищевой блок, столовую, легкие хибарки для командиров, домик для детской площадки, протрассировали линию палаток.

Шмидт любезно отвел половину своей лагерной площадки для нашего тяжелого соединения. Штаб 8-й мехбригады потеснился в своем просторном бревенчатом бараке в пользу нашего штаба. Я рассчитывал, что 4-я тяжелая танковая бригада ТРГК разместится в Вышгородском лагере с теми же удобствами, какие имел наш 4-й танковый полк в Чугуеве.

С этими мыслями в открытом газике, вместе с Хонгом, я двигался в лагерь по загородным киевским проселкам во главе нашей колонны Искоса поглядывая на спутника, вспоминал весенний разговор с Якиром. Я думал: «Неужели этот замечательный командир, безупречный штабник, — человек с двойной жизнью, чемодан с двойным дном?» Не верилось.

У дач Кульженко нас нагнала легковая машина. Спрыгнувший с нее старший лейтенант, назвавшись адъютантом командира танкового корпуса Борисенко, настойчиво просил повернуть на Сырец, где меня ждал его шеф. Я подумал, что командир корпуса интересуется судьбой своего младшего брата. Взводный командир 4-го танкового полка Борисенко рвался с нами в Киев, а неумолимая отборочная комиссия определила его в Дальневосточный полк.

Хонг повел колонну, я пересел в машину старшего лейтенанта.

Борисенко, герой гражданской войны на Северном Кавказе, дважды краснознаменец, небольшого роста, коренастый, с добрым мужицким лицом, в своем лагерном кабинете усадил меня за накрытый столик, налил бокал цинандали, поздравил с прибытием и сразу повел такой разговор:

— Вы забрали у нас тяжелый батальон Петрицы. Мы вам дали лучшего нашего штабника — полковника Шкуткова. У вас будет тяжелая бригада. Это хорошо. Не хорошо то, что вы потянулись к Шмидту, в Вышгород. Я хотел бы, чтобы бригада стала на Сырец,

здесь, в нашем лагере.

— Зачем? — удивился я.

— Скоро начнутся бригадные, корпусные тактические учения. Хотелось бы отработать их вместе с тяжелыми танками.

— Где вы стреляете? — спросил я.

— Из пулеметов здесь, на Сырце...

— А из пушек?

Борисенко замялся:

— Конечно, из пушек едем стрелять в Вышгород, на полигон Шмидта...

— То-то, — ответил я. — Огонь — хлеб насущный тяжелых танков.

Борисенко улыбнулся:

— А может, за лето свыклись бы... Стали бы четвертой по возрасту и первой по номеру бригадой в моем корпусе...

— Но тяжелая бригада — это ударное средство фронта, армии, не танкового корпуса, — возразил я. — К тому же наш капитан Чурсин уже много настроил в Вышгороде. Нельзя все затевать сначала. Кстати, Вышгород выбрал не я, а Чурсин, с ведома Якира.

— Жаль! — покачал головой комдив и наполнил бокалы. — Что ж? Будем друзьями. — И лишь после этого он заговорил о брате...

Этот разговор, закончившийся безрезультатно для Борисенко, дал мне понять, какое значение придается высшими танковыми командирами будущей тяжелой бригаде... И эта беседа, которая, возможно, кое-кому покажется незначительной, несостоящей, сыграла известную роль в том сценарии, который под спудом уже разрабатывался подручными Ежова.

Весь май месяц прошел в напряженной, захватывающей работе. Кировский завод слал нам вооруженные трехдюймовками прекрасные по тому времени машины. Донбасс, Днепропетровск, Харьков давали нам лучших сыновей рабочего класса — потомственных шахтеров, слесарей, наладчиков. Эти будущие отважные танкисты, с образованием не ниже семи классов, схватывали все на лету. Луи Легуэсту нравилось, когда за рычагами танков сидели пейзане, а мы считали, что в интересах дела хозяином танка должен стать рабочий, знакомый с техникой мастеровой человек. Танковые училища, ЛБТКУКС^[2] слали командиров, партийные организации больших городов — коммунистов.

Оживленно, с огоньком прошло общее партийное собрание, первый форум всей нашей бригады. Танкисты торжественно обещали добиться срочного формирования бригады, завоевав

право носить имя великого Сталина.

Целый день гудели и грохотали тяжелые и быстроходные танки, вздымая к небу тучи песчаной пыли. Над танкодромом высилось вновь построенное сооружение с кружевной каланчой для дежурного.

За шоссе, примыкая к заповедному бору, западный фас которого подходил к Пуще-Водице, залегли бугристые пески, поросшие жесткой травой и молочаем. Здесь был полигон. На нем целый день грохотали пулеметы и пушки. Вечерами, когда бледные тени ложились на не остывший еще песок и в барханах дерзко свистали суслики, с вышки полигонной команды доносились мелодии бойкой гармонии.

На западе раскинулись широкие, как море, колхозные поля. Высокие хлеба созревали, неустанно колеблясь, играя пестрыми переливами красок. За низкорослым молодым лесом, на востоке, такая же беспокойная, золотистая ширь, рассеченная надвое извилистым желтым проселком. И по его сторонам высокие «левитановские» сосны, накрытые роскошными шлемами зелени.

А дальше, по ту сторону полей и песков, вилась булатная лента Днепра. За ним раскрывалась заманчивая даль, одинаково прекрасная и при утренней, и при вечерней заре. Бескрайние зеленые луга с высокой по пояс травой, вечно подвижной, вечно бурной, как поверхность океана. А за этой изумрудной бесконечностью в туманной дали, закрывая горизонт, застыли нетронутые синие леса.

Я мечтал вот здесь, на одном из лагерных холмов, построить будущей весной штабной домик с высоким стеклянным мезонином, где люди работали бы, вдохновляясь красотами приднепровских широт.

Но уже назревали в обманчивой тиши события, одно грознее другого. Моим мечтам не дано было сбыться. И всегда, в непостижимых превратностях судьбы, испытанных мной впоследствии, я часто вспоминал этот уголок и думал — вспыхивает и угасает человеческая злоба, а величие мира остается незыблемым.

Если танкистов 4-го полка подтягивало сознание, что они постоянно находятся под наблюдением иностранцев, то здесь, в 4-й бригаде, их заставляло быть начеку другое. Через территорию Вышгородского лагеря, отсекая от него полигон, проходило шоссе из Киева в Межгирье, к правительственным дачам. Наши бойцы могли ежедневно видеть машины, в которых следовали Коссиор, Постышев, Петровский и другие. Это к чему-то обязывало...

Всех уволенных в город мы с Зубенко наставляли сами. Объясняли, как нужно вести себя на улице, в трамвае, в кино, в

общественных местах и даже в пивных, если кому придется туда заглянуть.

Каждый наш танкист знал, что в округе только одна тяжелая бригада. Что принадлежать к ее составу — большая честь, что честью бригады надо гордиться, как честью матери.

Вовсю кипела учеба в классах, на танкодроме, полигоне. Наши люди соревновались с танкистами старой, шмидтовской, бригады. Успешно продвигалось строительство казарм, парков, жилого дома в городе на Лукьяновке, недалеко от бывшего Бабьего Яра.

Мне отвели квартиру в доме у театра Франко, этажом выше жилья Шмидта. Когда-то в этих шикарных квартирах, с узорчатым паркетом, лепными потолками, изразцовыми голландскими печами, жила киевская знать. При нашей скромной обстановке квартира казалась пустой и необжитой. В ней жила жена, занятая работой в опере, а мы с мамой и сыном поселились в дощатом домике, построенном для нас капитаном Чурсиным в лагере.

Эта хибара не шла ни в какое сравнение с бревенчатым, обжитым коттеджем Шмидта, где были все удобства — водопровод, балкон на втором этаже и даже свой небольшой тир, сыгравший роковую роль в обвинениях, выдвинутых против танкового комдива...

Однажды явился ко мне начальник оперативного отдела нашего штаба майор Хонг. Развел в недоумении руками. По генеральному плану учебы надлежало разработать учение на прорыв укрепленной полосы. Начальник штаба полковник Шкутков распорядился готовить учение на встречный бой. До этого еще я мог убедиться в стремлении начштаба превысить свои права.

Я вызвал Шкуткова. Высокий, тощий, немного сутулый, с узким изможденным лицом, он походил больше на индийского факира, нежели на боевого полковника. Но, закончив академию, он хорошо знал штабное дело. Я ему сказал:

— Давайте кое-что уточним. Это в интересах будущей нашей работы. Есть люди, которые говорят «я», а фактически выходит «мы». И есть, которые любят говорить «мы», а на деле у них получается «я». Не знаю, как кому, а мне нравятся вторые больше, чем первые...

— К чему это вы? — захлопал глазами начальник штаба.

— К тому, чтоб каждый из нас знал свое место. Мы оба полковники. Но я полковник — командир и комиссар бригады. А вы полковник — ее начальник штаба.

— Вы меня совершенно не знаете — и сразу такое вступление!

— Ошибаетесь, полковник. Я вас знаю. Знаю по маневрам тридцать четвертого года. Помните, когда были турки. Ваш командир бригады Евдокимов приказал вам по радиации выслать батальон против засевшей в лесу пехоты. А когда подъехал командующий, вы не доложили: «Командир бригады послал в атаку батальон», а похвастались: «Я послал в атаку батальон». Мне такие вещи не нравятся!

— Однако у вас память! Евдокимов давал мне широкую инициативу, — стал оправдываться Шкутков. — И к тому же он заядлый охотник.

— Я тоже охотник, — возразил я ему. — Только охотник до того, чтобы мои приказы выполнялись точно.

Эта беседа оказалась небезрезультатной. Без трений и склок протекала наша дружная работа по сколачиванию, обучению, воспитанию тяжелой бригады.

Все ближайшие помощники работали отлично — начштаба Шкутков, замполит Зубенко, помпотех Громов, помощник по материальному обеспечению Толкушкин. Увы! Все они претерпели дьявольский удар черной руки, погубившей лучшие армейские кадры.

В конце мая меня вызвали в Москву, к Халепскому. В оперативном отношении тяжелая бригада подчинялась командующему войсками округа, во всем прочем — автобронетанковому управлению. В процессе сколачивания соединения выявилось много нужд. Разрешить их могла Москва. В АБТУ мне пришлось встретиться с начальниками всех отделов — с Лебедевым, Бокисом, Степным-Спижарным, Аллилуевым — бледнолицым, с огромными скорбными черными глазами, товарищем. Теперь-то я уж знал, что это свояк Сталина. Но когда мы с ним учились на ВАКе в 1924–1925 годах, мало кто из нас знал, что этот скромный, молчаливый командир, с техническими знаками в петлицах, — родственник Первого секретаря ЦК. Хотя с нами учился товарищ, который и мог это знать. То был небольшого роста, рыжеватый, вечно дымивший огромной трубкой Эйно Рахья — товарищ, в ночь с 8 на 9 августа 1917 года перевозивший В. И. Ленина из Выборга в Петроград. Позже он был военным комиссаром стрелкового корпуса в Виннице.

Халепский принял меня сдержанно. Я доложил ему о ходе формирования бригады. Выслушав его наставления, подарил ему только что вышедшую книжечку «Броня Советов». На прощание он сказал, что мне следует зайти в отдел внешних сношений к Геккеру.

После делового свидания с начальником я позвонил в ПУР к Круглову. Александр попросил ждать его на Арбате, против

памятника Гоголю. У Круглова нарывал палец, и по дороге в поликлинику он решил встретиться со мной.

— Куча новостей! — начал он разговор с необычайно озабоченным лицом. — И очень важных. Ты внимательно следили за газетами? — спросил он, уставившись на меня черными как смоль глазами.

О чем писали газеты? 11 мая Кремль принимал активисток — жен работников тяжелой промышленности. Выдали им сорок орденов. 15 мая открылся Центральный музей В. И. Ленина. В тот же день «Правда» сообщила о награждении работников Наркомата обороны и НКВД СССР, обеспечивших образцовый порядок при проведении первомайского парада и демонстрации. Ордена были выданы Алкснису — начальнику Военно-воздушных сил, Ракитину — командиру танкового корпуса, Паукеру — начоперода НКВД, Ткалуну — коменданту Москвы, Воловичу — заместителю Паукера, Вулю — начальнику милиции Москвы и еще ряду лиц, вплоть до водителя танка Дубко.

Это награждение удивило многих. До этого еще ни разу за порядок на Красной площади не награждали никого.

24 мая «Правда» отвела всю вторую страницу кавалерии, назвав репортаж: «Наша славная лихая конница». 26 мая был опубликован законопроект о запрещении аборт. Он ставился на всенародное обсуждение. В тот же день сообщалось о награждении орденами 500 летчиков. Наградили также участников казахской декады. Газета поместила новые стихи Джембула: «А песню лучшую свою я Сталину пропою».

28 мая газета дала фото: «Калинин и Уншлихт среди награжденных за первомайский парад». Найдя на снимке своего земляка Зиновия Воловича, я подумал: «Ну, значит, человек идеально справляется с возложенным на него большим делом...»

— Так вот, — продолжал Круглов. — Не случайно наградили многих товарищей за первомайский парад. Скажу по секрету — готовилось покушение на вождей. Какая-то сволочь, учитель из Горького, с бомбой за пазухой затесался в колонну демонстрантов. Наше счастье — вовремя его обнаружили. Троцкисты не спят. Вот до чего мерзавцы докатились, до терроризма... Вспомни снимок в газете «Правда». Президиум совещания жен. Весник и Манаенкова со счастливыми, смеющимися лицами, а вожди чем-то озабочены, строги, серьезны. Сталин, Орджоникидзе, Молотов, Калинин, Ворошилов, Каганович. Все их помыслы о пятилетке, а тут троцкисты лезут из грязных щелей. Ну, ничего, сейчас искореним всех, кто стоит на нашем пути. Если враг не сдается, его уничтожают... Мы им вождей не дадим, не дадим нашего Сталина!..

Это сообщение встревожило меня. Люди лезут из кожи, чтоб выковать надежную силу для отпора врагу, а оно, вражеское подполье, таится среди нас, не сдается, что-то затевает, действует... С восхищением подумал о недремлющих чекистах, о моем земляке Воловиче.

Мы пошли в поликлинику. С Кругловым, после перевязки, направились к выходу. И вот чудо — нам навстречу шла Флорентина д'Аркансьель. То, что она имела доступ в лечебное заведение Штаба, кое о чем говорило. Широко улыбаясь, она протянула руку. Следом за ней шел небольшого роста, упитанный, краснощекий мужчина лет двадцати пяти.

— Знакомьтесь, — сказала она. — Это мой Биби. Все же приехал из Парижа. — Посмотрев счастливыми глазами на мужа, добавила: — Это тот комбриг из Гагр, о котором я тебе говорила.

Молодой француз искоса посмотрел на меня. Поздоровался. Я познакомил чету с Кругловым. Потолковав минут пять о малозначащих пустяках, мы попрощались. Покинули поликлинику.

— Какая женщина! Где ты с ней познакомился? Вот это экземпляр! — с чисто южным восторгом воскликнул Круглов. — Вот ты сразу подумаешь: «Круглов бабник». Ничего подобного! Я музыкант, а у этой парижанки не голос — музыка...

Круглов направился к себе, я — в бюро пропусков. Спустя полчаса комкор Геккер, приняв меня радушно, вручил мне красную атласную коробку. В ней находились серебряная ручка и карандаш.

— Это вам подарок из Парижа от майора Легуэста. А! патефон с пластинками мы послали на Дальний Восток капитану Некрасову.

Григорий Штерн, доверенное лицо наркома, позвал меня к себе. Перейдя на кабинетную работу всего лишь с полка, он во время присвоения новых званий получил два ромба. Вручив мне за большие Киевские маневры подарок наркома — ручные часы, Штерн сказал:

— Стремлюсь в строй. Хочу в танковые войска. Не примете ли меня к себе на стажировку? Дадите мне какой-нибудь батальончик!

Я ответил согласием. Но комдив Штерн вскоре был назначен командиром 7-й кавалерийской дивизии, той самой, которой после гражданской войны недолго командовал Гай. Потом он отправился в Испанию. За Гвадалахару получил орден Ленина. После избиения полководческих кадров стремительно вознесся по лестнице военной иерархии — занял на Дальнем Востоке место маршала Блюхера. В самом начале Отечественной войны

начальник противовоздушной обороны страны, командарм второго ранга Штерн был расстрелян.

Вечером в вестибюле гостиницы «Метрополь», где я остановился, меня окликнул коренастый, с топорным крупным лицом человек. Это был Исидор Крот, в прошлом директор Ленгиза, а теперь замначглавка Наркомтяжпрома. Два года назад мы с ним встретились у В. Я. Чубаря. Влас Яковлевич, указав на Крота, сидевшего в его кабинете, сказал:

— Это хозяин всех радиозаводов. У них срывается оборонный заказ. Наш завод не дает деталей к рациям для танков и подводных лодок. Что будем делать?

Чубарь лучше меня знал, что надо делать. Но таков был стиль Предсовнаркома Украины, не подавлявшего инициативы подчиненных. Я поддержал просьбу «хозяина радиозаводов». Тут же было составлено нужное постановление, и Крот получил все, что ему причиталось.

— Что делаете вечером? — спросил меня Крот.

— Ничего! — ответил я.

— Поедем в гости к моему другу. Не смущайтесь — это тоже военный. Начальник Технического управления Красной Армии Стефан Бордовский. Мы только вернулись с ним из Америки — размещали там заказы.

Вечером поехали на Арбат, в дом военведа. Открыл нам хозяин. Провел в гостиную, которая вполне подошла бы под манеж.

— Живем по-холостячки. Пойду похозяйничаю, — сказал он. Дав нам журналы, сам ушел в комнаты.

Мы углубились в чтение. В гостиную кто-то вошел. Я поднял глаза. В полосатой пижаме, с удивленным лицом, стоял перед нами Халепский. Я растерялся. Посмотрел на лукаво улыбающегося Крота. Вот это так подвох! Пойти к одному, а очутиться в гостях у Халепского, с которым я еще днем попрощался. Что он подумает обо мне? Нахал, лезет в дом. Я рывком поднялся, зло посмотрел на своего спутника, направился к выходу.

— Остановите этого чудака! — услышал я за спиной.

Крот нагнал меня у дверей, вернул. Тут же стал бормотать, что с 1918 года вечный холостяк Бордовский живет в одной квартире со своим другом Халепским.

Но стол уже был накрыт вечным холостяком. Хозяйка дома находилась на курорте. После первой же рюмки я спросил Халепского, чем объяснить его недружелюбие. Он ответил:

— Высоко себя ставите. Думаете, если работали с вождями, то на начальника можно плевать? Почему не пришли

представиться после окончания академического курса? Нос дерете?

Я сказал, что считал себя слишком малозначительным человеком, чтобы отрывать время начальника бронетанкового управления.

После второй рюмки Халепский сказал, что скоро наши танкисты поедут в Англию, пошлет он и меня. И, ставя крест на прошлом, велел утром явиться к нему, чтобы получить направление в Ленинград, где мне покажут то, что не показывают многим.

Прошел еще один день, и в особом цеху Кировского завода мне продемонстрировали опытную машину — танк Т-28, оборудованный не только механическим управлением — обычными рычагами, но и электрическими кнопками. Рядом с командирским пультом был смонтирован небольшой экран. Вызвав по радио подчиненного или начальника, можно было увидеть на экране и его лицо, и его командирскую карту. Замечательное новшество! Не знаю — пошла ли эта машина в серийное производство.

После любезностей Халепского я подумал, что на прошлом и в самом деле окончательно и бесповоротно поставлен крест.

После возвращения из Москвы позвонили из штаба округа. Сказали, что моя просьба о замене барских хором нормальной квартирой удовлетворена. Мы переехали в новый дом у Золотых ворот.

Барские хоромы занял новый помощник командующего по материальному снабжению Петерсон. Пользовавшийся огромным доверием партии, доверием Ленина, он с 1918 до 1936 года состоял на высоком ответственном посту коменданта Кремля. Наступила новая полоса, и Сталин меньше стал доверять тем, кому безгранично верил Ленин. Выпал из доверия и знаменитый латыш — большевик Петерсон. Его не только не терпели в Кремле, но и в Москве не оставили. Послали в Киев, к Якиру.

Тогда это расценивалось как обычное перемещение. Теперь можно смело утверждать, что все это делалось в порядке осуществления широкого, детально разработанного плана замены старой, ленинской, администрации новой, сталинской, им подобранной и ему обязанной.

В один из выходных дней, захватив с собой из лагеря кипу газет, рукопись романа, я поехал в Киев. Но так я к ней и не прикоснулся. Меня захватили целиком сообщения газет. После нашей беседы в Москве с Кругловым я уже вникал не только в текст газетных сообщений, но и в их подтекст.

Необычной показалась корреспонденция о посещении 3 июня отдельного кавалерийского дивизиона НКО Сталиным, Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Орджоникидзе, Микояном, Ждановым, Ягодой, Бауманом, Реденсом, Гамарником, Буденным. По сути, это была скорее маневренная единица, нежели боевая. Она занималась выездкой и сбережением верховых лошадей Ворошилова, Буденного и других высших начальников НКО.

Круглов мне сказал, что сейчас будет уделено большое внимание армии. И не только в связи с усилением гитлеровских вооруженных сил. Бахвалясь, Троцкий в своей новой резиденции, в Норвегии, заявил, что вопреки стараниям Сталина Красная Армия в нужный момент пойдет за ним. При этом он упомянул знаменитый «тезис Клемансо», утверждавший, что наилучшим моментом для свержения правительства является тот, когда враг у ворот столицы. «Партия еще больше сближается с армией, — сказал Круглов, — отсюда и награды летчикам». Шутка ли — пятьсот орденов одним приказом! Среди награжденных оказался бывший червонный казак, командир авиадесантной дивизии БВО

Федор Кармалюк, написавший после, из заключения, разгромное письмо Сталину.

Сейчас некоторые объясняют сталинские репрессии против армейских кадров провокационными фальшивками гитлеровской разведки. Но в тех фальшивках, если они и были, значились лишь единицы, а истреблены и репрессированы десятки тысяч армейцев. Где, когда, в какой стране враг мог залучить в свои сети столько шпионов и вредителей? Тем более в Красной Армии, созданной и воспитанной партией Ленина.

Не только подвохи иностранной разведки, не только стремление Сталина стать «и царем и богом», но и похвальба Троцкого, стремившегося одной тиранией сменить другую, сыграли свою зловещую роль. Эта похвальба нагнала жуткий, неизбывный страх на Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Жданова, видевших в каждом заслуженном ветеране Красной Армии и в каждом бывшем красном партизане эвентуального сторонника Троцкого.

Не зря «Правда» 8 мая 1936 года в передовой статье «Против зазнайства и самоуспокоенности» привела сталинское высказывание: «Надо иметь в виду, что рост мощи Советского государства будет усиливать сопротивление последних остатков умирающих классов». В передовой говорилось: «Ни проверка, ни обмен (партдокументов) не дают гарантии того, что в партии не осталось и не останется ее врагов — замаскировавшихся троцкистов и прочей сволочи». Передовая призывала к бдительности. Параллельно с манией величия бурно развивалась и мания преследования.

В газетах сообщалось о смерти Сурена Шаумяна, начальника АБТ войск Ленинградского военного округа. О том, что в Бразилии брошен в тюрьму вождь Компартии Луис Карлос Престес, о состоявшемся 5 июня Пленуме ЦК, где говорилось об уборке урожая и о проекте новой Конституции. А в номерах за 12 июня 1936 года был опубликован для всенародного обсуждения и сам проект.

С каким восторгом и душевным волнением вчитывался я в его прекрасные, человеческие строки. Отложив газету в сторону, я встал с тахты, подошел к широкому окну, с которого открывался вид на здание нашего ЦК и на древние, выдавшие виды Золотые ворота. Забыв о том, что писалось в передовой «Правды» за 8 июня, я предался раздумьям о прекрасном будущем народа...

Это был большой праздник. И, думаю, его ощущали все граждане нашей страны и все наши друзья за ее пределами. Раздумья над проектом новой Конституции разволновали меня.

На стене кабинета висел небольшой портрет Сталина.

Повесил я его недавно. Как-то заехал ко мне Шмидт. Похвалив строгость обстановки, сказал:

— А портрет Сталина надо иметь. Знаю, что ты ему предан, а зайдет какой-нибудь ортодокс, талмудист и сразу наматает на ус: «Вот он какой, этот командир танковой бригады! Гнушается портрета вождя».

Давая мне этот совет, Шмидт сказал:

— При Ленине этого, конечно, не было. Мы все носили и носим его образ в своем сердце. Теперь другое. Полагается иметь портрет вождя на стене...

Однажды мать, зайдя ко мне в кабинет и посматривая на новое украшение его стен, доверительно мне сказала:

— Вот вы выбрали себе после Ленина нового начальника. А посмотри... Такой лоб у доброго человека не бывает... Это не ленинский лоб...

И все же я подошел к портрету, сказал вслух:

— За такую Конституцию, Иосиф Виссарионович, ваше имя войдет в века!

Переодевшись в штатское, я вышел из дому и с мыслями о светлом будущем советского народа до вечера бродил по зеленым улицам, как мне казалось, счастливейшего города в мире.

Спустя несколько дней из Москвы к нам в бригаду нагрянула большая комиссия. Возглавлял ее заместитель Халепского — комдив Ольшанский. Бывший царский прапорщик, активный участник гражданской войны, краснознаменец, рослый, представительный человек с бледным строгим лицом, он в прошлом командовал стрелковой дивизией, был начальником военных сообщений Красной Армии. С ростом бронетанковых войск его, крупного военного специалиста, перебросили в АБТУ.

Комиссия строго и придирчиво проверяла все: огневую подготовку, знакомство с проектом Конституции, строй, тактику, знание и состояние боевой техники, вождение, дисциплину, несение внутренней и караульной служб, строительство на зимних квартирах, портянки у бойцов и отчетную документацию штаба.

За полтора месяца мы сделали много, но в нашем распоряжении было еще больше трех месяцев, чтобы довести бригаду до полной боевой готовности. Борясь за право носить имя вождя, наши люди сами сократили этот срок на месяц.

Нас радовал приезд москвичей. Кое-чего нам не хватало, еще не был полностью укомплектован штат, и мы надеялись, что комиссия, вникнув в наши нужды, крепко нам поможет. Но с первых же дней бросилась в глаза чрезмерная и неоправданная придирчивость и членов комиссии, и ее председателя. Это

заметили не только наши люди, но и соседи по танковому лагерю.

Однажды Шмидт, начальник лагерного сбора, встретившись со мной на танкодроме, сказал:

— Чего этот телеграфный столб вяжется к тебе? Думаешь, не вижу? Ей-богу, Халепскому хочется спихнуть тебя и поставить на бригаду Степного-Спижарного. Потом скажешь, что я врал... Знаешь что? Устрой у себя в хавире, на веранде, небольшой воскобойничек. Только смотри, чтоб коньяк не пах клопами. Позови Ольшанского, меня. И я враз обломаю. Будет не акт, а хвала господу. Для всех вас он шишка, а для меня Колька Долговязый — и все.

— Нет, Дмитрий Аркадьевич! — ответил я. — Пока не будет подписан акт инспекции, никаких воскобойничков не будет.

Прошло еще два дня. Проверялось огневое дело. Танки вышли на исходную линию. Экипажи приняли сигнал. Тяжелые громады плавно тронулись с места, зашевелились башни, короткие дула пушек задрали вверх свои рыла, грянул залп, и сразу же, хорошо видимые, щиты окутались голубым дымом.

Один щит остался непораженным. Уже отстрелявшиеся машины шли, пятясь к исходной черте, а одна все еще оставалась на линии огня. Из ее башни донесся глухой удар, и вслед за этим захлопали крышки люков. Экипаж Т-28 выскочил наружу: в дуло орудия застрял снаряд. Люди знали свое дело. Накинули на конец банника длинную веревку, пустив от нее два конца. Ввели банник в дуло ствола. Два танкиста, взявшись за концы, легким нажимом начали выталкивать снаряд из казенной части орудия.

Комдив Ольшанский, проверявший стрельбу, позвал меня к себе, на наблюдательный пост. Я не откликнулся. Вызов, теперь уже с гневом, повторился во второй и третий раз. Я махнул рукой, продолжая стоять у застрявшего на линии огня танка. Люди вспотели не столь от тяжелой работы, как от сознания опасности операции: от малейшего толчка мог сработать взрыватель.

Опасность была очевидна. Взорвавшийся снаряд мог разнести вдребезги пушку, в клочья искромсать башню, и его смертельные осколки не пощадили бы никого. Большому риску были подвержены эти юноши, которые не колеблясь выполняли свой воинский долг. И быть может, они потому с таким рвением взялись за опасное дело, что своего старшего начальника видели рядом с собой.

Наконец заклинившийся снаряд сдвинулся с места. Теперь уже без особого труда его извлекли из пушки. Я направился к наблюдательному посту.

Позеленевший от злости комдив Ольшанский начал меня

распекать:

— Отдам под суд. Самовольничаете. Не выполняете приказов. Кто я для вас? Замнач АБТУ или пешка? Трижды я вас звал, а вы ни с места. А что, если б снаряд разнес танк, экипаж, вас? Прикажете мне отвечать? Не так ли? На моих глазах разорвало командира бригады!

Тут во мне скопилась вся горечь за все придирки инспекции и ее главы. Я ответил:

— Командир бригады! А люди? Товарищ комдив, кроме суда трибунала есть еще суд собственной совести. Я и сам отдал бы себя под этот суд. Подумайте, как бы я повел в бой людей, которых покинул в момент смертельной опасности? Отдавайте меня под суд...

— Я, конечно, должен был приказать вам отойти от танка. Это моя обязанность!

— А я обязан был не исполнить ваш приказ. Это мой долг!

Глупые люди не терпят возражений. Малейшее несогласие они принимают за бунт. А в военном деле, с его строгой дисциплиной, с модусом безоговорочного подчинения младшего старшему, быстроменяющийся ход вещей сам по себе нередко требует уклонения от буквы приказа.

Ольшанский смолк. Достал папиросу, закурил. Вскоре стрельба закончилась. Пешком, пересекши правительственную трассу, мы молча возвращались узкой тропинкой в лагерь. Чувствуя предвзятость во всех действиях комдива из АБТУ, я не был склонен вести с ним беседу. И вдруг рука моего долговязого спутника легла на мое плечо.

— Вот что, комбриг! — проникновенно начал Ольшанский. — Теперь скажу вам откровенно — ваши танкисты покорили меня давно, а сегодня... Скажу по правде — хотел проверить вас. Конечно, многие наши командиры поступили бы так же — людей не бросают в беде. Но кое-кто воспользовался бы случаем — начальство позвало. А вы не воспользовались...

Лед тронулся. Вскоре был подписан акт инспекции. С этим актом на руках Ольшанский пригласил меня, что уж было совсем необычным, к заместителю командующего войсками округа Фесенко. После посещения штаба округа у нас в лагере, на общем собрании всей бригады, Ольшанский поздравил наших танкистов с достижениями и пожелал им новых больших успехов.

А вечером на веранде нашего лагерного домика моя мать и жена накрыли стол. Мы с Зубенко пригласили Ольшанского, всех членов комиссии, Шмидта с женой.

Ужин прошел в теплой, дружеской беседе. Ольшанский повеселел. Куда девалась строгая, неприступная маска с его

большого лица. Он встал во весь рост, нагнулся через стол, взял руку моей матери, трижды ее поцеловал:

— Спасибо вам, мамаша, за командира тяжелой бригады.

Шмидт наполнил бокал московскому гостю.

— А теперь скажи, Колька, по чистой совести, почему ты так мучил моего бывшего командира полка? Знаешь, сколько мы с ним в 1921 году разгромили банд на Подолии!

— Скажу! — ответил Ольшанский. — Думаю, что мои члены комиссии меня не продадут. Я получил установку от Халепского построже проверить командира тяжелой бригады. Но я солдат, и для меня интересы дела выше всяких амбиций...

После ужина мы всей компанией через молодой сосняк, опоясывавший лагерь, двинулись к Днепру. Что еще можно сказать? Чуден Днепр при тихой погоде...

Кашу не сварили, а заварили

Человечество потеряло одного из лучших своих представителей, народ — лучшего мастера слова. 20 июня «Правда» передовую статью «Скорбь страны» посвятила только что ушедшему в мир иной Алексею Максимовичу Горькому.

Начальник лагеря Шмидт распорядился провести траурные митинги. Переживая тяжелую утрату, он весь день ходил пасмурный и угрюмый. Дмитрий Аркадьевич любил литературу, много читал, особенно писателей XIX века. После напечатания его повести «Станция Хролин» в журнале «Молодая гвардия» считал и себя в какой-то степени причастным к труженикам пера.

В лагерном клубе собрались танкисты обеих бригад — 8-й линейной и нашей тяжелой. Лица бойцов пасмурны. Глаза полны скорби. Сердца опечалены. Нет ни одного, кто бы не знал, не чувствовал на себе влияния могучего горьковского образа, слова. Весь лагерь собрался, чтобы отдать последний долг усопшему писателю, буревестнику революции, великому гуманисту.

Доклад делал я. Танкисты слушали внимательно. Я чувствовал, что слова мои не падают в пустоту, что какая-то упругая волна идет от моего сердца к сердцам слушателей.

Максим Горький глубоко вошел в мое сознание, когда мне было всего лишь семь лет. Шел 1905 год. Я помнил молодежь, носившую глухие горьковские косоворотки с кручеными поясками и длинные волосы взачес.

Горького читали. О Горьком говорили, беседовали, спорили, хранили открытки с его изображением. И когда однажды ночью пришел в дом жандарм, он тоже искал какие-то книжечки Максима Горького.

Два пророка, два гиганта жгли огнем правды простые сердца русских людей. Их имена тогда гремели на весь мир — Ленин и Горький, Ленин и Горький.

Имя Горького было близко простым людям, рабочим, труженикам, скитальцам, сезонникам, мастеровым, батракам и бездомным. Толпами и в одиночку, наполняя пароходные трюмы, палубы, вонючие пристани, грязные вокзалы, смрадные ночлежки, они кидались за счастьем из одного конца страны в другой. Для этого черного люда с тощим карманом и богатой душой, впервые раскрытой миру Горьким, царь учредил специальный поезд четвертого класса, носивший название «Максим Горький». Я хорошо помнил четырехъярусные вагоны, в которых люди спали вповалку.

После не раз довелось мне видеть Горького, когда наша

академия шла мимо трибун Мавзолея В. И. Ленина.

На съезде писателей я слушал его речь, стоял с ним рядом в фойе. На всю жизнь запомнилась сильная, чуть согнутая в широких плечах фигура писателя, его чеканные формы лба, подбородка, носа и моржовые усы, нависшие над решительным ртом.

Запомнился его сильный, грудной и как будто немного простуженный голос, которым он, основоположник советской литературы, призывал к творчеству писателей, которых он не только имел право учить, но которыми имел право гордиться.

«Мы — дети одной матери — всесоюзной советской литературы, — говорил он. — Партия и правительство отняли у нас право командовать друг другом, а дают право учиться друг у друга».

И вот этот великий человек угас! Смерть Ленина, смерть Кирова, смерть Горького... Три непоправимые, тяжелые утраты!

Горький, как и Ленин, как и Киров, был страшен врагам советского народа. В нескольких словах он, великий гуманист, сформулировал лозунг самозащиты советского общества: «Если враг не сдается — его уничтожают».

* * *

В выходной день, это было в конце июня, Шмидт подъехал к моему домику на легковом автомобиле. В белом, свежеотутюженном кителе, при всех регалиях — двух орденах, депутатском значке члена ВУЦИКа, в брюках навыпуск, гладко выбритый, он казался моложе своих сорока лет.

Проводив наших танкистов, уволенных в город, я возился с сыном на веранде.

Шмидт, выйдя из машины и играя цепочкой, на которой висел ключ зажигания, взял Володю на руки.

— Королевский мальчик! — восхищался комдив ребенком. — Вот и растет жених для моей младшей Сашки. Чудесная будет пара. Что? Может, не хочешь со мной породниться?

— Не рано ли свататься? — спросил я.

— Верно говоришь, — согласился Дмитрий Аркадьевич. — Меня с трех лет считали женихом соседской девочки. А вот женился на Сашке... Знаешь, что я тебе предложу, — продолжал Шмидт, опустив мальчика на траву. — Поедем к Пуще-Водице в лес — варить кашу. Вот только надо захватить с собой Затонского. Мы с ним давно сговорились. Садись, поедем к нему. И сынахвати, профессор любит детей.

С Затонским, в свое время близким к червонному казачеству, мне приходилось видаться часто, вместе бывали и на заседаниях Совнаркома. После выхода в свет «Золотой Липы» он, встречая меня, много говорил о событиях 1920 года в Галиции. Главой ее первого советского правительства — Галревкома был Владимир Петрович Затонский.

Крупнейший лидер украинских большевиков, профессор Затонский пользовался у всех нас большим уважением. Но ехать с ним, с наркомом, членом Политбюро ЦК, на пикник...

— Это мой старый друг, — настаивал Шмидт. — Хотя я на него имею зуб за старое. Весной девятнадцатого года явился ко мне в Проскуров парламентар от галицийского Главкома генерала Микитки. Как раз Пилсудский выгнал их из Львова. И был момент склонить галичан на нашу сторону. Отбил я депешу Затонскому. А он из-за каких-то принципов сорвал переговоры. Интеллигент!

— Политика повелевает, армия исполняет! — возразил я.

— Теория! — Шмидт носовым платком смахнул со смотрового окна пылинку. — Жизнь умнее теории. Ну, что? Едем?

Я согласился. Комдив сел за руль, я с Володей на коленях рядом с ним. День выдался яркий, солнечный. Сосновый аромат кружил голову.

Дорога в город пролежала по заповедному лесу. Его вековые сосны и пышные липы нависали шатрами над самой трассой. Далеко, в глубине леса, мелькали неясные очертания богатых вилл сахарозаводчиков, превращенных в детские здравницы.

Аккуратные дорожные знаки, лента белых столбов, газоны и цветы на откосах, мозаика из мелких камней, стремительный бег нарядных машин и строгие милиционеры в белых перчатках придавали автостраде торжественный вид.

Шмидт, уверенно управляя машиной, занимал меня разговорами.

— Великого человека потеряли мы, — глубоко вздохнул он. — Представь себе, со многими московскими величинами удалось мне встретиться. С Горьким нет. Очень об этом сожалею. Послушаешь умного человека, и сам кажешься значительней. Да, теряю и теряю друзей. Умер Багрицкий. И не стало хорошего друга — Сурена Шаумяна. Откуда к нему эта болезнь пришла? Белокровие! Возили его в Вену. Не помогло. Умер совсем молодым. Эх, — покачал головой собеседник, — был один человек, который мог за меня замолвить словечко, где надо, и того не стало...

— Судьба! — сказал я.

— Судьба, судьба! Скажи, это тоже судьба? Вот мы с тобой

имеем революционные заслуги, партизанили в 1918 году, неплохо воевали, оба краснознаменцы — и что? В гражданскую войну я был начдивом, водил в бой десять полков, а сейчас у меня аж четыре танковых батальона. Ты был комбриг, и сейчас командуешь бригадой. Чем ты хуже Фесенко? Не мог бы быть замкомвойск? И Куркин командир бригады, а был политруком роты. Ясно, люди растут, это закономерно. Но нельзя же забывать о тех, кто имеет заслуги...

Жалобы комдива Шмидта не удивили меня. Не я один выслушивал их. Меня удивило другое — новый оттенок этих нареканий. Особенно это противопоставление меня заместителю командующего КВО комкору Фесенко. Здесь уже проявилось стремление вызвать и во мне какое-то недовольство. Но, скажу по совести, не кривя душой, мне и в голову не приходило сопоставлять себя с Фесенко или с кем-либо равным ему по рангу и по положению.

Я вспомнил недавний разговор с Кругловым. По всему было видно, Шмидт ничего не ведал о том, что происходило на Красной площади 1 Мая. Не желая расстраивать болезненно настроенного танкиста, я не стал делиться с ним услышанным от Круглова. Но он, думал я, ведь читал грозные передовицы «Правды».

Я ответил Шмидту:

— У тебя действительно большие заслуги. Куда мне? Вот почему больше, чем о тяжелой танковой бригаде, я и не мечтаю. Работа мне по душе. Благодарен за нее партии, наркому Ворошилову, Якиру. И если он находит, что Фесенко должен быть замкомвойск, а я командиром бригады, значит, так и надо...

Шмидт покосился на меня. Я иного ответа не мог дать. Он соответствовал моим действительным настроениям. И к тому же мне не понравился новый, необычный нюанс жалоб собеседника.

— Да, — продолжал он, — в Испании сейчас горячие дела. Вот куда рвется моя душа. Но я уже стар. Скорей всего — и не пустят туда...

— Это почему же? — спросил я.

— Ты что, смеешься? И тут держат за спасибо. Вот тебя пустят. Хочешь, переговорю с Семеном Урицким. Это мой дружок. Скажу слово — и поедешь. Вот ты что-то пишешь о танках. Обобщаешь опыт учений. А там у тебя будет опыт боев. Тогда и напишешь...

— Мировая революция только началась, — ответил я. — На наш век хватит. Закончу формирование бригады, а там видно будет.

— Как хочешь! А то могу поговорить с Урицким.

— Думаю, что пока нет смысла, — возразил я.

Наша машина, миновав шумный Подол, приближалась к Кировской улице. Горожане живописными группами, с радостными лицами, спускались вдоль парка к бойким речным причалам.

Мы подъехали к старинному особняку на площади, где сейчас стоит величественное здание Верховного Совета. В этом особняке жил секретарь ЦК Павел Петрович Постышев. Во дворе отдельный флигель занимал Затонский.

Профессор принял нас в полупустой, скудно обставленной гостиной. В кепке на огромной кудлатой голове, в очках, готовый к выходу, он, радушно улыбаясь, поздоровался с нами, присел на корточки, обнял моего сына. Узнав, что его зовут Володя, потрепал по щечке:

— Будем знакомы, тезка! Это твой, Митя? — спросил он.

— Что? Склероз? Я же тебе говорил, Владимир Петрович, что у меня невеста. А это жених. Вот его папаша, — Шмидт указал на меня.

— Виноват, Митя! Старость подходит. Забывчивость.

— Ну, что? Готов? Поедем варить кашу!

Профессор виновато улыбнулся.

— Прости, Митя. Рада душа в рай, да грехи не пускают. Еду на пристань. Сейчас, как знаешь, идет пленум ЦК. Вот и решили всем гамузом прокатиться по Днепру. Коссиор и Постышев обязали меня рассказать членам ЦК о моей поездке за границу. На пароходике я это и сделаю. Как говорится — приятное с полезным...

Новый нарком Затонский, заняв место Скрыпника, покончившего самоубийством, вернулся недавно из-за кордона, где знакомился с постановкой дела народного образования. Побывал в Германии, Австрии, Англии, посетил там знаменитый Кембриджский университет.

— Вот, — продолжал нарком просвещения, указав на картонную коробку. — Везу на пароход и заграничные экспонаты...

Затонский достал из коробки игрушечный лимузин, грузовик, пожарную машину. Завел их, пустил по полу. Володя, оживившись, гонялся за ними по паркету.

— Вот, тезка, скоро будем делать эти цацки и мы. Твой отец купит тебе, — снова опустившись на корточки, сказал Затонский.

Затем знатный коробейник старательно подобрал весьма «внимательные» игрушки и уложил их в свой вместительный корб.

— Значит, каша тю-тю? — с горечью произнес Шмидт. — А

моя Сашка готовится к ней со вчерашнего дня. Ничего не скажешь — великий пан — нарком! Куда там!

— Извини, извини, Митя! Каша никуда не уйдет. Давай отложим ее до будущего выходного. А насчет панства скажу: сегодня нарком — завтра пешком...

Мы попрощались. Вышли во двор. Уселись в машину.

— Ну и жадюга! — возмущался танковый комдив. — Такому королевскому мальчику и не подарить игрушки. Хотя бы одну. У него же там целый базар. От кого-кого, а от нашего профессора этого не ждал... Знаешь, — продолжал он, — достаточно мне увидеть, как человек встречает ребенка, чтоб сразу оценить его нутро. Не узнаю людей...

Шмидт, доставив нас с Володией в лагерь, повернул в сторону своего коттеджа.

В течение следующей недели мы с ним встречались, как обычно, во время занятий на танкодроме, полигоне, в общем штабном помещении. Наступил выходной день, тот самый, который был намечен Затонским для пикника. Меня не удивило, что Шмидт не явился ко мне с приглашением. Подумал — комдив обиделся на профессора и больше не стал звать его варить кашу.

В эти дни я больше всего находился на зимних квартирах. Стройка подходила к косцу. Новые казармы, построенные полуциркулем, вырастали в глубине участка, за ажурной чугунной решеткой. Стройные, изящные тополя прикрывали весь его живописный фасад. Старинные оранжереи вклинились в участок бригады. Я любил этот прекрасный уголок и неумолимых стариков-цветоводов.

Заканчивалась стройка парков и мастерских. Отделялся жилой дом, и шедевром всего строительства был клуб с обширными залами, классами, аудиториями, плюшевыми дорожками, японскими вазами, люстрами.

Государство не пожалело средств для ударного ядра своих Вооруженных Сил — танковых войск.

Религиозные храмы, как и клубы, театры, музеи, призванные служить человеческому духу, затемняют ли они его или просвещают, сплывают ли они народ религиозно, национально или социально, всегда капитально архитектурны, высясь над общим строем городских сооружений. Этим они как бы символизируют превосходство духовной красоты над материальной, хотя материя и является первоосновой всего. Материя, как бы она ни была совершенной, имеет предел красоты. Красота духовная неизмерима и беспредельна!

Любовным, хозяйским глазом осматривал я все эти предназначенные для нас сооружения. Меня не прельщало кресло

заместителя командующего войсками, которым Шмидт хотел разжечь мое самолюбие. И в бригаде много было простора для командирской инициативы.

Я ощущал наплыв большого и, как мне казалось, вполне заслуженного счастья. И это сознание счастья напугало меня. Нет, уж слишком ладно все складывается!

Возможно, что в этих раздумьях было больше мистического тумана, чем здравого смысла. Но, если принять во внимание, что успех вызывает зависть, удачники находятся в большей опасности, чем заурядные люди.

В госпитале я навестил Адъютанта Франца-Иосифа — командира нашего учебного батальона майора Богдана Петровича Петрицу. Во время стрельбы казенная часть орудия при откате повредила ему локоть. Это была неосторожность Петрицы. Тем не менее мне пришлось выслушать от Якира немало укоряющих слов.

Петрица смутился и не мог скрыть радости от оказанного ему внимания.

Уроженец Прикарпатской Руси, долго изнывавшей под цисарским ярмом Франца-Иосифа, а затем попавшей в жадные лапы польской шляхты, он с 1920 года находился в новом своем отечестве, в Советском Союзе.

Отец его и братья так и остались подневольными батраками подневольной Галичины, лишь ненадолго узрев свет свободы, пришедшей к ним с востока в двадцатом году.

Юношей еще, ненавидя шляхту, Петрица стал под советские флаги и вместе с Красной Армией проделал тяжелый поход от отрогов Карпат к берегам Буга. Но он жил верой, что рано или поздно вернется в Карпаты победителем и его измученный край возвратится в лоно своей великой родины.

В палату вошел седовласый, коренастый человек. Это был знаменитый хирург Тимофеев. Спросил о самочувствии майора, пристально взглянул на меня.

— Так и есть, — радостно воскликнул старик. — Вы же мой старый пациент.

— Совершенно верно, профессор. Вы меня помучили...

— Ах вы, неблагодарный! — старик погрозил мне желтым, прокуренным пальцем. Сел на край койки. — Помню, вас привьючили к операционному столу и я собрался уж отхватить руку... Подумал тогда — жаль калечить молодого человека. Авось рука ему еще пригодится.

— Пригодилась. Вожу танк.

— А сердце ваше, батенька, каково оно? Помню, первый раз, никак мы не могли вас усыпить. Понимаете, — повернулся он к

майору, — человек трижды считает до ста двадцати — и никакого впечатления. Ей-богу, пришлось подтолкнуть морфием.

— Пока не жалуюсь.

— Вот, батенька мой. Тогда я был седоватый бобер, а сейчас беломорский медведь. Вот и вы были совсем еще юношей тогда, когда я вас мучил. А сейчас и вы уже седоватый бобер.

У этого знаменитого профессора остался позади очень тяжелый путь поисков и борьбы. Он поднялся из самых низов, из народной гущи, когда царские вельможи важно твердили, что наука существует не для кухаркиных детей.

Простой фельдшер, он упорным трудом достиг труднодоступных высот науки и делал такие операции, которые были не под силу многим корифеям.

...Прошли еще два дня. Мне понадобилось согласовать с начальником лагерного сбора какой-то вопрос. Позвонил в его служебный кабинет. Никто не ответил. Позвонил домой. В трубке услышал голос Александры Константиновны. На мой вопрос: «Где Шмидт?» — она спокойно ответила: «Уехал в Москву».

На следующий день у танкодрома подошел ко мне помпотех 8-й бригады. С бледным лицом, взволнованный, полупшепотом сообщил мне:

— Шмидт арестован... В выходной день... Приезжал за ним Бржезовский. Сделал обыск и увез комдива сразу в Москву.

— А что там? Причина? — спросил я.

— Кто его знает... — пожал плечами танкист.

Это сообщение взволновало меня. Вот так штука! Значит, Шмидт теперь ест кашу, приготовленную не его Сашкой, а совсем другими поварами, подумал я. Ну и дела! Ведь взяли не лейтенанта, а комдива с двумя ромбами, командира Отдельной танковой бригады. Схватили не случайного, с туманной биографией, человека, а известного всей армии героя гражданской войны, дважды краснознаменца, которого хорошо знает и видел в боях под Царицыном сам Сталин, рабочего человека, члена ВУЦИКа. И втихомолку, не информируя об этом необычном, из ряда вон выходящем случае ни партию, ни армию. И об аресте хорошо знала Александра Константиновна, но почему-то не хотела мне сказать. Представляю себе состояние жены и матери, оставшейся с грудным младенцем на руках.

Надо думать о приеме прибывающих с Кировского завода машин, а в голове жалобы Шмидта. Жалобы на зажим одних, холодность других, отчужденность третьих.

На очереди бригадное учение, а мысли уносятся в гулкие коридоры якировского штаба, где Шмидт с глубокой тревогой говорил о тяжелой доле героя гражданской войны Гая.

Хочется самыми теплыми словами напутствовать первый выпуск учебного батальона, а текст речи рвется в клочья тяжкими думами о судьбе Шмидта — такого же героического товарища, как и Гай.

Еще неделю назад он вхож в дом своего друга Затонского, а нынче... С кем общается, перед кем ответствен? Это не каенье в грешках в кабинете своего начальника. Тут уж не до жалоб на зажим, холодность, чванство. Но в тех кабинетах отчитываются не крупные грешники, а крупные злодеи. Что? Шпионаж, измена, террор? А может, не зря тревожился бывший партизан? Не зря слухи о комкоре Гае всполошили его?

Да, весть о шмидтовской беде всполошила меня. Грешен он или безгрешен, а поползут толки, пересуды — с кем встречался, с кем чаевал? И куда, зачем Шмидт возил на своей машине на той лишь неделе командира тяжелой бригады?..

А вдруг в одно действительно прекрасное утро предстанет передо мной Шмидт и начнет извиняться за причиненные огорчения... Как это случилось с Марией Шульгой. Вот чертовщина — все мысли, знания, энергию отдаешь работе, думаешь только о ней, о «задании наркома», как сказал Якир, а тут на голову сваливаются ненужные, грозные осложнения...

Зря, видать, не уступил тогда натиску комкора Борисенко. Стал бы на Сырце — и не было бы никаких контактов со Шмидтом. Но, как стало ясно позже, география была здесь ни при чем.

Когда вводили новые воинские звания осенью прошлого года, были возвещены строгие гарантии командирской неприкосновенности. Лейтенанта и то можно было арестовать, лишь предъявив командованию неопровержимые доказательства его вины. «А тут? Что же это — неумный язык Шмидта? Широкоизвестная его фронда? Может, снова при встрече с Ворошиловым хлопнул его по плечу? Или же что-либо иное?» — лезло в голову, когда вспомнил передовую «Правды». Первомайский парад в Москве и новости Круглова. Но ведь там шла речь о неразоружившихся троцкистах. Шмидт же будто давно отошел от них, раскаялся, поддерживал генеральную линию партии! Или же он ловко обманывал меня, обманывал других? И как все это скажется на моральном состоянии 8-й, нашей 4-й бригады, день и ночь готовящихся к встрече с грозным врагом? Какой резонанс это получит во всей армии? Ведь по пустякам не станут брать командира бригады. Пришел на память случай с Шульгой. Очевидно, при нынешней ситуации станут интересоваться, с кем встречался Шмидт, какие были у него контакты с другими командирами, и прежде всего с теми, с кем

он повседневно сталкивался на работе. А мы-то с ним знакомы еще с 1918 года, с дней подполья. Встречались не только на танкодроме и полигоне.

Подумал — вот все свои мысли, знания, энергию отдаешь бригаде, думаешь только о ней, а тут на твою голову сваливаются ненужные, грозные тревоги. Пришел домой взволнованный. Сердце матери — это чуткий барометр. Она сразу разгадала мое состояние. Спросила, чем я расстроен. Я ей сказал.

— Так устроена жизнь: одни скачут, другие плачут, — ответила она.

Я сказал:

— Знаешь, мама, чую: в лучшем случае снимут с бригады.

— Чем же ты виноват?

— Бывают и без вины виноватые, — ответил я, охваченный недобрым предчувствием.

— Перемелется — мука будет, — успокоила меня мать.

Придавать значение встрече с пустыми ведрами или зайцу, перебежавшему дорогу, или считать понедельник тяжелым днем, а вторник днем легким, — все это можно назвать суеверием.

Но какое-то смутное чувство отмечает приближение недобрых и, реже, добрых событий, как пеленгатор засекает импульсы.

Затишье перед бурей

Якир был неутомим. За инспектированием дивизий следовали военные игры, полевые поездки, проверка боевой готовности укрепрайонов. При таких воистину суворовских темпах армейской жизни он не жирел сам и не давал тучнеть своим подчиненным. Недаром генералитет иностранных армий, приезжавший в Советский Союз, высоко оценил полководческий дар командующего войсками Киевского военного округа.

Когда осенью 1935 года Москва решала, кого поставить во главе Военной академии Генерального штаба, она остановилась на кандидатуре Кучинского — начальника штаба КВО. Совсем еще молодой командир, в прошлом ротный в 45-й дивизии, он под началом Якира прошел прекрасную школу. На смену Кучинскому пришел другой выученик Ионы Эммануиловича — комдив Бутырский.

В двадцатых числах июля 1936 года Якир собрал в Киеве высший начсостав округа. Решил ознакомить командиров корпусов, дивизий, отдельных бригад и их комиссаров с боевой техникой и ее применением. А боевая техника и в ту пору росла не по дням, а по часам.

За Сырцом, в поле, впереди редкого соснового леса, инженеры округа устроили зону заграждения, состоявшую из завалов, рогаток, волчьих ям. В высокой траве саперы раскидали силки из мотков тонкой проволоки. В зону погнали мохнатую дворняжку, выпустив ее из клетки, где находилось еще несколько собак. Животное, очутившись на воле, с минуту покружилдсь на месте, а затем со всех ног, с радостным лаем рванулось сквозь зону заграждения к лесу. Но недолго длился восторг дворняжки. Ступив лапой на проволоку с током высокого напряжения, она сразу испустила дух.

Окружной инженер дал команду выключать движок, направился к зоне заграждения и тут же вернулся с убитой собакой в руках. Держа дворняжку за задние лапы, высоко поднял ее, демонстрируя перед участниками сбора результат своей работы.

— Ток убивает мгновенно, — пояснил он командирам. — А человек более чувствителен к электричеству, нежели собака. Вражескому солдату такая зона заграждения не по зубам. Если угодно, эксперимент можно повторить. — Повернувшись к своим помощникам, скомандовал:

— Включайте!

Растянувшийся на траве комкор Криворучко, после убийства

Котовского возглавивший 2-й конный корпус, поднялся во весь свой исполинский рост. В 1924–1925 годах мы с ним учились в ВАКе. Возвратившись в Москву с похорон своего командира, он мне сказал с гордостью: «Теперь я наместник Котовского».

— Ты что? Живодер? — возмутился он. — Предъявил свою механику — и довольно. Хватит. Оно хотя и собачка, а тоже хочет жить...

— Хватит, хватит! — раздались голоса.

Якир, участвовавший с нами в сборе, сказал Криворучко:

— Не знал, Николай Николаевич, что у тебя, злого рубаки, такое чувствительное сердце.

— Ну и знайте, товарищ командующий, — ответил «наместник Котовского».

Против повторения эксперимента протестовали те, кто прошел через огонь Перекопа и Каховки, Орла и Воронежа, Киева и Львова. С рубцами огнестрельных ран и сабельных ударов, эти люди были свидетелями смерти своих лучших товарищей и друзей. Мы считаем гуманизмом человеческое отношение к человеку. Но это высокое чувство может проявиться не только по отношению к людям. Оно может иметь место и к животным, и к вещам — творению гениальных человеческих рук.

Увы! Большинство из тех, кого Якир созвал для ознакомления с техникой, и сам он не знали еще тогда, что им готовится участь похуже той, что выпала на долю подопытной дворняжки.

К участку, где готовилась показать себя наша тяжелая бригада, мы ехали в одной машине с начальником бронесил округа. Комбриг Игнатов заговорил о Шмидте:

— Что скажешь? Опозорил всех нас, танкистов, Митька. Взяли бы кого-нибудь там из пехоты, конницы, а то нашего командира-механизатора. Я ему давно говорил: «Митя, ешь борщ с грибами и держи язык за зубами». Не послушал меня...

— Что-нибудь слышно? — спросил я.

— Разное болтают, — ответил Игнатов. — Кто говорит, что он арестован за подсобное хозяйство, будто там обнаружена растрата. Я не верю. Не станут за это брать комдива. Кто говорит — за политику. Все знают — он голосовал в 1927 году за оппозицию. Но и комбриг Лабас, начштаба у Борисенко, тоже голосовал в 1927 году, когда учился в академии. Его же не взяли. Поговаривают — начоперод НКВД Соколов-Шостак пытался неудачно ухаживать за женой Шмидта. Может, он и подложил ему свинью? Прямо голова лопается от догадок. Может, ты что-нибудь знаешь?

— А что говорит командующий? — спросил я.

— Не говорит ничего. А я не стану его спрашивать, раз он не

находит нужным информировать меня.

На участок тяжелой бригады явился весь командный состав Киевского гарнизона. Зрители расположились вокруг КП на высоком холме в районе озер за Гостомельским шоссе. Многие вообще еще не видели машины Т-28, а тем более действия подразделений тяжелых танков.

Показ начался со строевого учения. По радиокомандам, подававшимся с КП, батальон тяжелых танков Богдана Петрицы быстро и сноровисто вытягивался из походного порядка в линию ротных колонн, затем послушно совершал сложнейшие эволюции, то собираясь в походный кулак, то развертываясь веером для атаки.

Огромные сухопутные крепости плыли по песчаному желтому морю. Тактика тяжелых танков многим напоминает тактику морского флота. Как и во флоте, все их искусство состоит в том, чтобы суметь встретить противника максимумом стволов, подставив ему минимум своей поверхности.

После другой батальон танков совершил прорыв оборонительной полосы. Широкие противотанковые рвы брал с ходу и, не сбавляя скорости, шел преодолевать полосу надолбов. Вот тут виртуозом показал себя командир роты Степан Шутов. Его тяжелый танк, кренясь с боку на бок, летел по высоким надолбам, как челн по разбушевавшимся волнам. Казалось, вот-вот вся эта многотонная масса врежется носом в почву и начнет кувыряться на ошетилившейся пнями земле. Мотор ревел, то снижая голос, то набирая самые высокие ноты. Машина, словно разъяренное животное, шла бешеным ходом, разумно учитывая все препоны на пути.

Гролом аплодисментов было встречено появление из танка высокого, в черном шлеме, Шутова, с лицом в крови. Во время одного из рискованных кренов он, несмотря на наличие пробкового шлема, ушибся лбом о выступ брони. Наш бригадный врач Липницкий тут же наложил швы и перевязал голову отважного танкиста.

Но настоящее изумление вызвало другое — показ наших телетанков. Тут уже героем дня был не человек, а машина, созданная гением и руками советских людей.

На поле у Гостомельского шоссе развернулась рота телетанков Т-26 нашей тяжелой бригады. Командир роты, инженер-москвич, оставаясь на КП при своем пульте управления, показал чудеса. Он нажимал то одну, то другую кнопку, и подвластные ему машины двигались с места, останавливались, шли назад, вперед, поворачивались во все стороны, открывали пулеметный огонь, выбрасывали из стволов далеко вперед

бушующее пламя.

Когда был дан отбой учению, командиры с холма КП ринулись вниз, к телетанкам. Открывали их люки, искали людей. Многие не хотели верить, что сама машина способна творить такие чудеса...

Диковинные боевые машины ошеломили не только выведенную на учения рядовую массу. Солидные командиры дивизий и корпусов, коменданты укрепрайонов, не опасаясь за свой престиж, ринулись со всеми любопытными к телемашинам.

Гигант Криворучко, командир кавалерийского корпуса, с трудом вылезая из нутра «робота», сокрушался:

— Нечиста сила! На танкиста, хоть он там в своем стальном сундуке, если с умом действовать, можно нагнать панику. А цю чертяку, цю нечисту силу не испугаешь. Только одно и остается — або минное поле, або прямой наводкой...

Наш Хонг, артиллерист по образованию, руководил стрельбой тяжелых танков с закрытых позиций. Знаток огневого боя, он, получив исходные данные с НП, четко и уверенно подавал команды. То сосредоточивал, то рассредоточивал, то переносил огонь танковой батареи, неизменно поражая цели, предъявленные ему артиллерийским посредником.

Командир Винницкого стрелкового корпуса бравый бородач Гермониус спросил:

— Где вы взяли такого волшебника?

Вспомнив вопрос, заданный мне Якиром еще весной в его кабинете, хотел сказать: «В японской разведке». Но, конечно, этого я не сказал.

— Ладно, — продолжал Бородач. — За одного этого майора могу вам дать любых трех. Согласны?

Но Хонг нужен был тяжелой бригаде. Уверен, что и наш много знающий начальник штаба полковник Шкутков не согласился бы расстаться со своим ближайшим помощником.

Затем нас повезли на химический полигон. Химики, выдав всем противогазы, приступили к окуливанию. Пустив туманную завесу, проверяли способность каждого участника двигаться и работать в противогазе. Побил все рекорды замкомвойск по кавалерии комкор Тимошенко. Он, вызвав всеобщее одобрение, снял маску позже всех.

— У тебя и легкие конские! — шутил Криворучко.

— Да! — подтвердил добродушно Якир. — С такими легкими, Семен Константинович, ты пойдешь далеко...

Это предсказание сбылось.

Вспомнил высказывание нашего командующего после одного большого учения:

— Хороший у меня вам по коннице. Вот только одно... он замечательный исполнитель, но не мыслитель. А смотреть вперед полезно и кавалерийскому начальнику...

Своих мыслителей советский народ нашел, но не среди тех, кто, почивая на лаврах, кичился прошлым — «Спасли Рим!», — а среди тех малозаметных, но башковитых полковников, умевших смотреть в будущее.

Якир направился к своей машине — голубому открытому «бьюику». Я нагнал его. Сказал, что в Вышгороде, где собраны две бригады, ежедневно возникают вопросы, которые должен разрешить начальник лагсбора. А такового нет.

— Начальником лагеря являетесь вы. Сегодня отдадим приказ.

Набравшись духу, я спросил:

— Иона Эммануилович, у меня к вам деликатный вопрос.

— Спрашивайте.

— Коммунисты интересуются причиной ареста Шмидта. Толкуют по-разному. Что нам отвечать? Ведь Ленин учил говорить людям правду.

— Что я вам скажу, дорогой товарищ? Вы же знаете язык Митьки Шмидта. А потом учтите — его всегда тянуло к богеме. Очевидно, болтнул лишнее... Среди богемы разные люди бывают. Язык мой — враг мой. Думаю, что все скоро выяснится и Митю отпустят. Все? Все!

Ответ Якира успокоил меня. Успокоил за нашу армию, за Шмидта, за себя самого. Это был наш первый разговор с Якиром о Шмидте. Первый, но не последний. И надо прямо сказать, что разговоры, хотя и подымались нашими коммунистами, по не в той мере, как можно было этого ожидать. Войска продолжали жить своей нормальной, размеренной жизнью. Все было обыденно и, как всегда, тихо в нашей дружной среде. По это было затишье перед бурей.

Показ техники, рассчитанный не на один день, включал также действия авиадесанта, отражение налетов вражеской авиации, хождение танков под водой.

У Голубого озера капитан Кульчицкий показывал сверхчудеса. С трамплина высотой в двухэтажный дом он с танком на скорости прыгал в воду. Огромный БТ, взревев, словно чудовище, совершил в воздухе длинную кривую и с выключенным мотором падал гусеницами в озеро, на ивовый ковер, специально сплетенный саперами. Вновь включенный двигатель толкал машину к берегу, а мощный вентилятор выбрасывал вверх сияющий мириадами разноцветных искр высокий фонтан воды.

Искры собирались в короткие радуги и одна за другой

волшебными арками повисали вслед, за танком капитана Кульчицкого.

Показали нам и переправу под водой целого стрелкового батальона. Красноармейцы со специальными аппаратами, с дыхательными трубками, торчащими над поверхностью реки, в высоких резиновых сапогах, погружались в холодные воды Десны и по ее дну выходили на другой берег.

Проводились опыты и в других округах. Маршал К. Мерецков вспоминает: «Исследованием вождения танков под водой занимался начальник бронетанковых войск округа (Ленинградского), Шаумян и командир бригады Тылтин...

К сожалению, это новое и полезное изыскание не нашло тогда поддержки, и ценный опыт был забыт».

Потом на отдельном пароходе нас повезли в Ржищев. На его знаменитом артиллерийском полигоне намечался показ настоящего огневого вала — фронтального и отсечного, под прикрытием которого танки пойдут на укрепления «врага». Это учение особенно хотелось посмотреть, чтобы подтвердить расчеты огневого сопровождения тяжелых танков. Наши командиры после каждого учения передавали мне свои замечания. Этих записей — и своих, и помощников моих — накопилось много.

* * *

«Чичерин», плеская плицами колес, спускался вниз по Днепру. За пароходом плелся широкий пенистый след. Впереди стлалась извилистая зеркальная дорога с цветными знаками-буйками по ее сторонам.

Справа красный крутой берег падал отвесно в реку. И весь его обнаженный склон представлял собой невероятное сочетание кровавых тонов одной и той же яркой краски. Слева, за пологими песками, проплывали мимо сосновые леса с толстыми бронзовыми стволами и бесконечные просторы созревших золотистых хлебов.

На корме сгрудилось несколько десятков машин — «паккарды», «форды», газики. Шоферы копались в моторах, протирали стекла, наводили блеск.

В просторном салоне собрался весь цвет Киевского военного округа. Дымя папиросами, трубками, командиры развалились в мягких креслах, вкушали заслуженный отдых. Технику им показывали другие, но все это делалось в таких напряженных, якировских темпах, что усталость чувствовали не только показывающие, но и смотрящие.

В салоне находились вожаки кавалерии — командир Проскуровского конного корпуса червонного казачества, бывший наборщик, спокойный, уравновешенный Михаил Демичев. Командир Шепетовского конного корпуса худощавый, порывистый, бывший московский рабочий Петр Григорьев, в свое время нанесший окончательный удар батьке Махно. Командир Житомирского конного корпуса Криворучко, бывший батрак на Черкасщине. Командир Житомирского стрелкового корпуса Антонюк, бывший украинский партизан. Командир Винницкого стрелкового корпуса, бывший аристократ, участник гражданской войны, Вадим Гермониус. Командир Одесского стрелкового корпуса Сидоренко. Командиры отдельных танковых бригад: Шепетовской — Федоренко, Старо-Константиновской — Жилин, Проскуровской — Куркин. Коменданты укрепрайонов: Коростенского — Зусманович, Винницкого — Саблин, Тираспольского — Ольшевский.

Их войска составляли нашу армию прикрытия. Ее задача — отражать первый удар войск вторжения, а если надо будет, то и самой вторгнуться на территорию врага. Под ее прикрытием должны были прибывать и разворачиваться соединения из глубин страны. Почетная задача возлагалась на этих командиров. И к ней они готовились не один год. Демичев возглавлял дивизию двенадцать лет, корпус — три года, Григорьев — четырнадцать лет, Криворучко — двенадцать. Точно так же и другие. Но, увы, за очень редким исключением, во главе соединений остались их старые командиры. Наша армия прикрытия не стала армией вторжения, но с великими потерями и с чисто чапаевским мужеством справилась с задачей отражения вероломного врага...

В салоне разговор шел об одном.

— Нет с нами Мити Шмидта, — сказал Гермониус, — некому анекдоты рассказывать.

— Он их теперь расскажет Ягоде, — ответил Григорьев.

— Не понимаю, — для пущей важности басил Гермониус. — Комдива и чтоб взяли как последнего каптенармуса! Тут что-то не то. Хоть режьте меня, а тут что-то не то. Так и под каждого из нас свободно могут шары подкатить. Одним словом — дело ясное, что дело темное.

— Говорят, его директор подсобного хозяйства проворовался, — вставил слово командир Васильковской стрелковой дивизии Илья Головкин, бывший комиссар.

— За это не станут брать комдива, — решительно возразил Демичев.

— Троцкистские грешки! — отозвался Куркин.

— Я ему давно советовал, — сказал Криворучко, — тебе

следует быть тише воды, ниже травы...

— Нашел кому советовать, — нахмурился Тимошенко.

— А я думаю так, — продолжал Криворучко. — Взяли не абы кого — комдива. Надо сказать нам, за что взяли. А может, зазря. А может, услышу и сам скажу: «Давно надо было отсечь эту болячку». Почему молчат?

— Придет время — скажут! — ответил котовцу начальник ПУОКра, флегматичный, малоповоротливый Амелин, бывший столяр. — Зазря не берут никого. Не ел чеснока — не будет вонять...

— А шо сказал наш вождь и учитель? Способный ты себе уяснить? — нажимал Криворучко на соседа справа — танкового комбрига Федоренко, — Чьи это слова: «Самый ценный капитал — это человек!»? И после этого сцапать комдива... Героя из героев... Мы с тобой, должно быть, только взводами командовали, а он своей дивизией колошматил контру. Нехай у меня аж три ромба, а у него два, а считал и считаю его повыше себя. И повыше многих... Шо ж получается — все люди, а он не человек? Не самый ценный капитал? Думаю — это обтяпывается шито-крыто от Сталина. Бо невозможно, щоб на словах было одно, а на факте — совсем другое... До меня ж, до корпусного командира, до «наместника Котовского», уже пристают люди, допытываются. А шо я им? «Ура, ура, дуем на-гора!»

— Такого без согласия наркома и без одобрения Сталина, думаю, не тронут, — перебил разволновавшегося комкора Амелин.

— Раз так, — авторитетно отрубил танковый командир бригады Куркин, — то тут подсобное хозяйство ни при чем. Бери, браток, глубже...

— Вот я его, того чеснока, сроду не ел, от меня и не воняет, — картавя, похвалился Гермониус.

— Тебе и образование не позволяет его есть, — поддел бородача Демичев.

Вот так, перебрасываясь репликами, начальство и не ведало, что выстрел по Шмидту был лишь пристрелкой, за которой последует губительный огонь на поражение из всех батарей. И в этом огне редко кому из них удастся уцелеть, даже Амелину, хотя он и «не ел чеснока»...

Вечером на корме я подошел к Саблину. В полосатой пижаме, как всегда, гладковыбритый, с миловидной родинкой на классически красивом лице, он, уставившись задумчивым взглядом в зеленые воды Днепра, нагнул над перилами. Между нами издавна сложились дружеские отношения. К тому же он был женат на моей землячке Гале Величко.

— О чем задумался, Юрий? — я положил руку на его плечо.

Саблин от неожиданности встрепенулся.

— Думаю о Мите. Каково ему там? Ведь сейчас так дорог нам каждый опытный командир. Не посчитались с этим. Знаю, что его не любит нарком, не любит Буденный, Тимошенко. Так разве так сводят личные счеты? Кстати, и меня Ворошилов не любит. Весной восемнадцатого года наши колонны, моя и его, наступали на Донбасс. И белоказаки больше считались с колонной Саблина, нежели с колонной Ворошилова. А разве моя вина, что в «Хождениях по мукам» Толстой вывел меня, не Клима. Вот и держал он меня до отупения на дивизии в Черкассах. Сейчас «продвинул» — послал на Винницкий укрепрайон. И вот я думаю и думаю: дело Шмидта — не личные ли это счеты?..

Вот так, не получив настоящей информации, каждый по-своему истолковывал причину ареста Шмидта, который, как оказалось, тревожил не меня одного.

Пароход плыл среди розовых вод, озаренных сиянием мягкого заката. Линия реки резко ломалась и сразу пропадала за высоким берегом, охваченным грозными вечерними тенями. Слева пылали золотом мощные стволы сосен. Кружились над вечерней, мерцающей поверхностью реки острокрылые мартыны.

Степной коршун скользил с высоты распластанным парусом. На зыбких дубах, гремя длинными веслами, плыли по алой реке рыбаки в широких соломенных шляпах. Возвращались в село, через луга, косари. Гулко разносилась по Днепру их старинная запорожская песнь.

...Бывает так: витрина — шик, а в магазине — пшик. Якир водил командиров округа не вокруг витрин. Так что слухи о необычном росте бронесил вермахта настораживали, но не угнетали. Участники сбора верили, что на фашистский бронеклин сколочен свой довольно увесистый кулак. Портило настроение иное — недавнее ЧП, исчезновение Шмидта. И слухи, слухи, слухи... Один нелепее другого.

Там уже начали выделяться мастера своего дела — Гудериан, Клейст. Но у нас не было сомнения, что герои прошлой войны, наши танковые командиры превосходили их. Ракитин, Чайковский, Борисенко, Бакши, Шмидт. Да вот...

Превосходили немецких асов наши асы. Об этом говорил славный опыт Испании. На Киевских маневрах хорошо действовали новейшие истребители и скоростные бомбардировщики, вооруженные многоствольными шкасами. А искусство зенитчиков, а новинки инженерного дела, а химзащита, а неуязвимые чудо-доты в пойме Ирпеня! Да вот только необычная репрессия...

Если Шмидт пострадал зря, думали многие, это худо. Обрушивают удар на одного невинного, а это задевает всех невиноватых. Если не зря, тоже дело дрянь. Значит, вся армия копит силы для отпора врагу, а кое-кто рядом с тобой думает совсем о другом. Хорошо — грешного отсекли, а иди знай — сколько еще не отсеченных...

И вновь... черный буран

Первая половина августа 1936 года изобиловала приметами надвигавшейся грозы.

Как и предупреждал меня в свое время профессор Кричевский, постоянное пребывание на ветру и на солнце вызвало обострение старой болезни. Сказались и волнения последних недель. Разыгралась волчанка, поразив нос, щеки, шею. До того стала заметна болезнь, что на улице, встречая знакомых, я переходил на другую сторону. Пришлось съездить в Харьков к Кричевскому. «Не послушали меня», — сказал профессор и прописал курс лечения кризалганом — препаратом золота и гипосульфитом. И вот ежедневно ездил со мной в городскую поликлинику наш бригадный врач Липницкий, чтобы делать мне там вливание.

Дорога из лагеря в центр города шла мимо знаменитой Лукьяновской тюрьмы. И с каждым днем навстречу нам все чаще и чаще попадались мрачные, пронзительно гудящие «черные вороны».

Однажды над крышей летевшей нам навстречу машины взметнулась рука. Невидимый нам, загнанный в темную клетушку человек, воспользовавшись отдушиной, выпустил на свободу руку и, помахивая ею, словно предупреждал многих о ждущей их участи. Это было жуткое зрелище. Доктор Липницкий, с сумрачным, тревожным лицом, сказал:

— Сковано тело, но не скован дух...

Эти зловещие автофургоны, работавшие в те дни с максимальной нагрузкой, бросались в глаза не только мне. На одном красноармейском собрании в нашей бригаде какой-то танкист задал вопрос: «Что это значит? Вы нам толкуете о больших успехах, о единстве народа, а на улицах только и видеть этих «черных воронов».

Отвечая ему, я сказал, что «черный ворон» — это терминология наших врагов, а если кого-нибудь арестовывают, значит, за дело.

Особенно полна была приметами поднимавшегося «бурана» пресса. Лишь 3 августа она проработала какого-то казахстанского судью Зиновьева за то, что он осудил 37 исключенных коммунистов за скрытие социального происхождения. А спустя всего лишь день, 4 августа, газеты назвали контрреволюционерами группу рабочих ХПЗ за то, что они написали заявление в защиту исключенных из партии в арестованных товарищей. Сообщалось, что снят с работы

секретарь парткома ХПЗ Смирнов.

5 августа в заметке «Троцкистско-зиновьевское охвостье» давали жару директору Ленинградской «Электросилы» Пахомову. 6 августа писалось о благодушии секретаря обкома Хатаевича в отношении бывших троцкистов.

Итак — Харьков, Ленинград, Днепропетровск!

Это была хорошо продуманная подготовка — не случайные заметки корреспондентов. 7 августа пресса подвела итог и сделала выводы. Одна грозная передовая называлась так: «Уметь распознавать врага».

И зря Якир так простодушно расценивал причину ареста комдива Шмидта. Никто не собирался его отпускать. Уже было видно по многим приметам, что он взят «всерьез, надолго и навсегда».

Как-то в эти дни ко мне в кабинет, как к начальнику лагсбора, явился среднего роста, светловолосый, с румяным лицом крепыш. Я его видел впервые. Назвавшись комбригом Голиковым, сказал, что прибыл для вступления в должность командира и комиссара 8-й мехбригады. Все. Значит, не может уже быть вопроса о возвращении Шмидта. И дело было не в Филиппе Ивановиче Голикове. И не с повышением он явился в Киев. На Волге он командовал стрелковой дивизией. Командир следует туда, куда его посылают.

Дело было в Ворошилове. Арест Шмидта не произошел без ведома наркома. Нарком здесь уже открыто подковырнул своего «любимчика» Якира, не дав ему возможности подобрать кандидата на 8-ю бригаду из старых окружных контингентов. Для многих появление в округе нового командира соединения было также знаменательной приметой.

«Солдатский вестник» принес новую, грозную весть. В Виннице, как немецкий шпион, схвачен комдив Саблин, в Полтаве, как троцкистский террорист, — комбриг Зюка.

Грозные события нарастали изо дня в день. Зубенко провел экстренное собрание коммунистов. Мы с затаенным дыханием слушали необычное выступление нашего замполита. Многие касалось всей нашей партии, кое-что и нас самих. Оказывается, наш бывший начальник лагерного сбора Шмидт, двурушничая и ловко маскируясь, готовил покушение на наркома Ворошилова и в то же время собирался во главе 8-й мехбригады свергнуть в столице Украины Советскую власть.

Коммунисты оцепенели. Лица вытянулись. Видно было, как сжимаются их кулаки. Ведь это не бабы пересуды, не болтовня в салоне парохода, не сорока принесла на хвосте, а гневный голос нашей партии. И я нет-нет и думал: «Ловко же маскировался

комдив Шмидт. Вот откуда твое вечное брюзжание». И чувствовал, что какая-то грозная, тяжелая тень ложится и на меня. Ежедневно встречаться с ним и не распознать, что таится за словами злоумышленника. Вот почему его так волновал случай с комкором Гаем. Я испытывал тогда то же самое, что испытал много позже в Сибири, когда двигался проторенным трактом в Тасеево. Но, чувствуя приближение черного бурана, не знал, что послужит мне опорой в тяжелые часы его разгула.

В годы обостренной борьбы ЧК, осуждая врагов, не задумывалась над мотивировкой. Достаточным основанием для казни была их принадлежность к враждебному классу. Другое дело — коммунист, герой гражданской войны. Чтобы его осудить, нужны были веские доказательства вины. И они были нам предъявлены. Одного не знали мы тогда, что эти доказательства — искусный муляж. Но всякого, кто бы это сказал тогда, мы посчитали бы не только клеветником, но и злобным врагом.

Вспомнил беседу с Саблиным на пароходе. Какие же тут личные счета?

Выступали многие: Зубенко, я, другие коммунисты. Клеймили троцкистов, призывали к бдительности. Взял слово политком батальона Федор Романенко — рослый, плечистый, с пышной смолистой шевелюрой, красивый молодец. Сощурился монгольские глаза, зло вопрошал:

— А не для этого ли Шмидт ежедневно упражнялся в стрельбе в своем тире? Не следует ли докопаться, с кем же еще он собирался поднять свою бригаду против Советской власти? А не часто ли прогуливался и наш командир со Шмидтом?

Хотя на оратора зашикали со всех сторон, меня этот вопрос оглушил, словно кувалдой по голове. Но снова взял слово Зубенко, пользовавшийся большой любовью коммунистов. С обычной для него рабочей твердостью отверг все домыслы. Наши товарищи аплодировали ему. У меня немного отлегло от души.

А пресса изо дня в день била тревогу. Все громче и громче звучал по стране ее грозный набат. Вслед за сообщением о шумной встрече 10 августа Чкалова, Байдукова, Белякова — героев северного перелета 13 августа газеты писали: «Презренные двурушники, убийцы оплакивают свою жертву. Цинизм!.. Преступление против партии и народа совершает тот коммунист, который не разглядел врага, кто не разоблачит его хотя бы в малом, ибо за малым может скрываться и более крупное вражеское действие. Троцкисты сродни с гестапо...»

15 августа: «Враги народа пойманы с поличным. Они организовали подлое убийство Кирова и покушались на жизнь

товарища Сталина... Миллионы глаз устремлены с горячей любовью на товарища Сталина. Он надежда и отец всех угнетенных. Нет пощады для врагов народа, пытающихся отнять у народа его вождей». В тот же день Прокуратура СССР сообщила о предании суду Зиновьева, Каменева, Бакаева и других, всего 16 человек.

16 августа по всей стране прокатилась волна митингов. Ораторы требовали казни изменникам.

17 августа объявлялось о награждении 1500 командиров Красной Армии орденами. Это, очевидно, было сделано в ответ Троцкому, заявившему, что в Красной Армии он еще имеет опору. Алексей Сурков в тот день написал: «Пусть суд народный извлечет на свет всю мерзость дел предательского сброда. Нет оправдания а пощады нет поднявшим руку на вождей народа».

19 августа Берия тиснул статью «Развезть в прах врагов социализма».

20 августа газета писала: «Раздавить гадину... террористы готовили убийство Сталина, Ворошилова, Кагановича, Кирова, Орджоникидзе, Жданова, Коссиора, Постышева... Не бывший на подозрении в партии командир бригады Дмитрий Шмидт собирался убить Ворошилова либо во время доклада, либо на маневрах».

Вот так новость... Надо покрепче себя уцепить. Нет — это явь! И газета, и заметка в ней, и эти страшные слова. Уму непостижимо — брат на брата. Герои гражданской войны... Вот перебрать в памяти все жалобы, все нарекания Шмидта, намеки, слова и оттенки слов. Может, невзначай что-либо и проскочило. Вместе с башнерами он упражнялся в стрельбе по мишеням? Но это делали многие, делал и я. Он лупил в своем тире по тарелочкам? Все командиры стреляли из пистолетов. Стрелял и я в общем тире. Но значит ли это, что он собирался?.. Нет, не могу ни в чем уличить моего соседа по Вышгородскому танковому лагерю. Но, с другой стороны... Солидная газета... Может, имея глаза, я чего-то недосматривал, имея уши, чего-то не уловил...

Но знаменательно то, что Орджоникидзе сам застрелился, а Коссиор и Постышев были убиты не террористами, а авторами зловещего сценария — Ягодой, Ежовым, Вышинским... Эта «деталь» теперь уже позволяет судить о правдивости всего сообщения прессы от 20 августа.

20 августа в Ленинграде был арестован замкомвонск Примаков, а в Москве — Туровский. За ним не пришлось ездить агентам Ежова. Он сам явился на Лубянку и как депутат ЦИКа СССР, как большевик с 1912 года стал требовать предъявления ему доказательств виновности Шмидта и Зюки.

Туровский заявил Ягоде и Ежову: «Зюка такой же террорист и агент гестапо, как и я. Мы с ним провели годы на царской каторге бок о бок. Даю за него свою голову на отсечение. Меня знает вся партия по 1927 году...»

Да, наступает такой момент в жизни, когда самый реалистический человек становится ламанчским рыцарем Дон-Кихотом...

В тот же день, 20 августа, в помещении Киевской оперетты проходил партийный актив города и области. Зал был переполнен. В президиуме, суровые, строгие, взволнованные, находились Коссиор, Постышев, Любченко, Балицкий, все украинские руководители.

В своем докладе Постышев громил Зиновьева, Каменева, врагов народа. Начал крошить своих, местных, врагов. Первым, на кого он обрушился, был директор кожтреста, бывший закройщик, малограмотный человек, Винокамень. Его судьба, всем стало ясно, уже была решена. Ведь актив собрался в дни, когда головы так и летели с плеч. Потом пригнул черед Абдул-Гамида. Ему напомнили и остроту, сказанную им в Гаграх в адрес врача-горьковчанина: «Трубка у вас, как у Сталина, а патлы, как у Махно». С убитым видом, хорошо зная, что его ждет, Мануйлович сидел в первом ряду. Постышев называл одну фамилию за другой, без конца увеличивая список врагов народа. К ним причислялись все, у кого когда-либо находили соринку в глазу. Ведь газеты писали: «...за малым может скрываться и более крупное вражеское действие». Атмосфера накалялась... Неотвратимо надвигался на партию, на весь советский народ черный буран...

В перерыве подошел ко мне заместитель начальника ПУОКРа Наум Орлов. Рано потучневший, с вечной улыбкой на румянном лице, он обратился ко мне:

— Тебе придется выступить...

Я подумал: «Это что же? Отчитываться перед таким собранием, в такой раскаленной обстановке за свои контакты со Шмидтом? Значит, все! Пойдешь, без вины виноватый, по тропе Винокаменя, Мануйлевича, других...»

Орлов продолжал:

— Видишь ли, тебя хорошо знают вожди. Ты с ними работал. И тяжелая бригада в гарнизоне ведущая... Крепким большевистским словом заклеишь врагов народа...

Отказаться? Этот же Орлов подумает: «Совесть не чиста. Значит, чего-то боится». А потом скажет Амелину, секретарю ОПК, Якиру... Шла речь о партийной чести. Один бог знает, что у меня было на душе. Я согласился. Согласился, чуя сердцем, что Орлов без злого умысла толкает меня на край пропасти...

Мне предоставили слово. Всем нам хорошую зарядку дала пресса тех дней, дало выступление Постышева. Не было недостатка в тезисах. Клеймил я и Шмидта, отплатившего, как известно по письму ЦК, за высокое доверие, оказанное ему партией, черной неблагодарностью. Я почувствовал, что с аудиторией установлен контакт. А это поддерживает любого оратора.

И вдруг из зала, с того ряда, где я раньше заприметил молодчагу Романенко, поплыла в президиум записка. Прошло несколько минут... и я потерял с аудиторией контакт. «В чем дело?» — пронеслось в голове. Я обернулся к президиуму и — о, ужас! — встретился с враждебным взглядом Постышева, Коссиора, Балицкого. Согнувшись, стоял за их спинами нарком Затонский.

Другой на моем месте, как это делали многие «благонамеренные» и бдительные товарищи, переменял бы сразу ход речи и сказал бы приблизительно так: «Дорогие товарищи! Давайте же спросим нашего уважаемого профессора Владимира Петровича, что связывало его со злейшим врагом народа Шмидтом? И в те дни, когда наша партия была тревогу, призывая к бдительности, какую это кашу он собирался варить с заговорщиком Шмидтом? Не ту ли, о которой нам рассказывал верный соратник великого Сталина товарищ Постышев?»

В иное время это расценили бы как клевету. Но тогда это рассматривали как высшее проявление партийной лояльности и большевистской бдительности.

На такое выступление не только против Затонского, но и даже против родного отца и матери настраивало выступление Постышева, очевидно, фанатически верившего во все то, что сообщали газеты, как я твердо верил в то, что между Затонским и Шмидтом не могло быть преступных контактов. Но и его судьба не пощадила. Оправдалась его же поговорка: «Сегодня нарком — завтра пешком».

Кое-как закончил выступление. Недобрую услугу оказал я сам себе, оказал армейской партийной организации. Что ж? Отнесем это за счет недалековидности Орлова...

Я спустился в партер. Следом за мной шла приехавшая из Москвы Мария Данилевская — мой начподив в годы гражданской войны. В то время когда весь зал смотрел на меня исподлобья, она, нагнав меня, положила мне руку на плечо.

— Скажи прямо! Требую честного ответа! — Ее большие глаза засверкали. — Скажи, что ты был вместе с ними, с твоими друзьями, с твоим Шмидтом, Примаковым, и я перестану верить людям... Многое я услышала там, в президиуме.

— Нет, Мария. С ними я не был...

— У меня в жизни было много потерь. Но самая тяжелая потеря — это когда теряешь веру в людей. Я это скажу им — Станиславу и Постышеву.

Кто его знает? Теперь думаю: может, Данилевская и сыграла роль той лиственницы, которая послужила мне опорой во время черного бурана в тайге.

Всю ночь в квартире на Золотоворотской прислушивался к шагам по лестнице. Тревожили гудки машин. Думал — неужели и на меня, как на Винокаменя, обрушится гнев товарищей, возмущение массы, жесткое слово Постышева? Неужели в этой горячке смешают в одно — и правого и виноватого, чтобы среди сотни невинных как-нибудь не ускользнул один виноватый.

В воскресенье, в День авиации, я не выходил из дому. Мой печальный взгляд то падал на книжный шкаф с знакомыми рядами тисненых корешков, то на черную статуэтку Антония, стоявшую на письменном столе, то на точеные формы чугунного коня с поднятой головой и раздутым храпом, то на голову сестры-урсулинки, писанную неизвестным голландцем, то на профиль пастыря в красной ермолке.

Одно полотно говорило о вечной печали, другое — о вечной мудрости. Две разные кисти, изобразившие фанатизм скорби и фанатизм мысли, сроднили полную жизненных соков девушку и высушенного, облицованного пергаментом старика.

Давно уж не было в живых ни девушки-урсулинки, ни пастыря, с которых писались эти картины, и самих мастеров проводили из этого мира в мир иной, а волновавшие их чувства оставались запечатленными на двух лоскутах холста.

Я видел истину одной — то была великая печаль, и истину другого — это была великая мысль, и думал об истине борьбы, которой я отдал двадцать лет жизни, готовый отдать ей и всю жизнь. «Все на свете суета сует, а истина вечна». Вечна, если она есть истина борьбы.

Оставив дом, думал, что на улице избавлюсь от душевной тоски. Полагал, что хочу уйти из дому, а оказалось, что хотел уйти от себя самого. Но от себя самого никуда не уйдешь...

Пришел понедельник. Я ждал заключительного слова Постышева. И дождался его.

— Знаю товарища по работе в ЦК, Совнаркоме. Ничего плохого за ним не замечал. Но прошлой работой товарища пусть заинтересует его парторганизация.

С замирающим сердцем стоял я за креслами бельэтажа, слушая выступление Постышева. Очевидно, мое состояние не было секретом для окружающих. И тут услышал затаенный шепот

над ухом:

— Дорогой товарищ! Выше голову. Большевики борются за свою правоту...

Эти добрые слова сказала мне Женбат — Мария Гаенко, женщина в красном платочке, отдохавшая со мной в Гаграх.

Слова секретаря ЦК, да еще такого, как Постышев, кое-что значили. Следовательно, до моего отчета перед нашими коммунистами ничего плохого со мной не произойдет. А в бригаде дел невпроворот. Теперь уж учеба кипела в ней и день и ночь. Оставалась всего лишь одна декада до 1 сентября. К этому дню ее личный состав обязался закончить всю программу боевой подготовки и формирования. А там инспекторский смотр, после которого станет ясно — нести ли 4-й Отдельной Киевской танковой бригаде почетное имя «Великого Сталина».

Шла к концу работа над романом о будущей войне. Несмотря на волнения последних недель, успешно продвигался и труд «Танки прорыва».

Но Шмидта ведь взяли до решения вопроса в его партийной организации! Его арестовали, думал я, за дело. У меня же никаких преступных замыслов не было. Не только не было, но я о них и не знал. И в то же время после актива в помещении оперетты, еще больше, чем до него, на Лукьяновке попадались навстречу зловещие «черные вороны».

Однажды на Владимирской, против здания ЦК, я встретился со знакомым поэтом-москвичом Дмитрием Петровским. Долговязый, сутулый, в какой-то полинявшей просторной блузе, обтрепанных штанах и нечистых ботинках, он производил впечатление весьма неопрятного человека. Безумный взгляд крупных, на выкате, глаз и давно небритое, вытянутое в длину лошадиное лицо говорили сами за себя.

— Угости чаем! — таково было вступление Петровского, чем-то своей фигурой и лицом, но, разумеется, не гениальностью и талантом, напоминавшего Блока.

Мы пришли в дом. Я попросил мать вскипятить чайник. Жена, готовясь к театральному сезону, в разгар моих неприятностей, забрав с собой сына, уехала в Крым.

— Да, — продолжал поэт, развалившись в кресле, — отличились твои украинские казаки...

— Неплохо отличились, — ответил я. — Вышибли из Киева Центральную раду, гнали Петлюру до Збруча, били Деникина под Орлом, Врангеля на Перекопе, Пилсудского на Золотой Липе, Махно на Полтавщине. И «Правда» год назад писала: «Это могучая вооруженная сила революции...»

— Я не об этом, — перебил меня Петровский. — Виталия Примакова, организатора червонного казачества, взяли, взяли бывшего начальника штаба корпуса червонных казаков

Туровского, бывшего начальника артиллерии Зюку, бывшего начальника 2-й дивизии Шмидта, двух бывших адъютантов Примакова — Кузьмичева и Пилипенко. Разве мало?

— Очень много! — согласился я.

— Подумать только, покушаться на Ворошилова, Сталина...

— А вот в 1921 году перед Генуэзской конференцией митинг червонных казаков послал в Кремль телеграмму. В ней они писали: «Ленин может ехать в Геную не раньше, чем туда вступит Красная Армия». От имени казаков подписал депешу Примаков.

— Иное время — иные птицы, иные птицы — иные песни! — продекламировал нежданный гость, принимая из рук моей мамы чай. — Кстати, о Шмидте, — продолжал он, шумно и жадно отхлебывая из кружки. — Я же этого башибузука знаю давно. А в прошлом году встретились мы с ним на Тверском бульваре в одной писательской компании. Немного выпили. Митька забавлял нас смешными историями. Все катаются по полу, а он, подлец, строг, как Бестер Китон. Не улыбнется. Вдруг указывает на какого-то Жоржика, окололитературного типа, и говорит: «Знаете, друзья! Скажу ему: «Пляши!» — пойдет в пляс. Скажу: «Замри!» — замрет. Скажу: «Убей человека!» — убьет». А кто-то возьми и ляпни: «И даже Ворошилова?» Шмидт, не задумываясь, рубанул: «И Ворошилова. Владею внушением — хиромантикой!» Все засмеялись...

— А дальше — что было? — затаив дух, спросил я.

— Дальше что? — Взгляд поэта стал безумнее обычного. — Дальше пошел я в НКВД, попросился к самому Ягоде. Все ему изложил... Какая бы это была бдительность, если б я не просигналил об этих страшных словах Шмидта?

Петровский, в прошлом анархист, считавший своим вдохновителем, конечно, не Ленина, а Кропоткина, участвовал в борьбе с контрреволюцией в рядах какого-то анархического отряда. Теперь, очевидно, он знал лишь один путь выражения своей лояльности. Есть поэты, которые умеют стучать не только на машинке...

И когда Ягода с Ежовым строили свой сценарий, им по вкусу пришелся аппетитный кусок корма, принесенный Дмитрием Петровским. Вот так, очевидно, в обвинительном акте по делу Зиновьева и Каменева появилась драматическая интермедия «Покушение на Ворошилова». Для большей достоверности и правдоподобности сценаристы записали, что Шмидт «не был на подозрении в партии». А все партийные люди и даже беспартийные знали, что Шмидт не двигается по службе из-за прошлых колебаний.

Позже, в 1954 году, в Москве, в Союзе писателей СССР,

Петровский с пеной у рта доказывал мне, что Щорса по карьеристским мотивам убили Иван Дубовой и Казимир Квятек. Конечно, и эти герои гражданской войны не избежали бы трагической участи, но, без сомнения, к этому крепко приложил свою руку Дмитрий Петровский. Он мне рассказывал, что в 1937 году Дубовой и Квятек позвали его к себе в штаб и якобы угрожали выбросить из окна, если он не уймет свой язык. В те дни в Харькове находился Щаденко — новый начальник кадров Красной Армии, и Петровский поторопился встретиться с ним. Вскоре взяли и Дубового, и Квятека.

Свою клеветническую версию об убийстве Щорса Петровский изложил и в книге «Слово о полку Богунском и Таращанском». Это возмутило ветеранов гражданской войны. Но лишь после XX съезда партии, по энергичному протесту большевиков и жены Дубового — Н. Д. Чередник, издатели внесли поправку в «труды» Петровского.

* * *

Во время нашей беседы зазвонил телефон. В трубке я услышал дрожащий, тихий голос Александры Константиновны. Она собиралась в Москву с восьмимесячной Сашенькой на свидание со Шмидтом. Просила машину для поездки на вокзал.

Что таить? Эта простая, но чреватая последствиями просьба встревожила, особенно в преддверии решающего для меня партсобрания. Отказать — не позволяет совесть. Виноват Шмидт, но не покушались же на Ворошилова его жена и несмышленная дочь. Семь бед — один ответ! — решил я.

Извинившись перед гостями, я вышел в столовую. Там с книгой в руках отдыхал шофер. Я велел Руденко отвезти Александру Константиновну на вокзал, после чего вернуться к дому. И, на грех, Руденко, уходя, заглянул в кабинет и спросил:

— А где она живет теперь, Шмидтиха?

Гость встрепнулся.

— На старой квартире, — ответил я, стараясь не показать своего замешательства.

— Ты ей посылаешь машину? — издевательски усмехнулся Петровский. — Ничего не скажешь, галантно. А не подумал ли ты, кому и в какой момент оказываешь услугу?..

— Не твоя это забота — моя! — ответил я. — А впрочем, можешь и теперь проявить свою бдительность. Дорожку знаешь...

— Зря обиделся! — поднялся с кресла гость, отряхивая крошки со своей примечательной блузы. — На тебя капать не

стану... — заверил меня представитель богемы.

Не та ли это была богема, о которой мне еще недавно говорил Якир?

* * *

Вечером в бригадной столовой созвали коммунистов обеих бригад. Из Киева явился заместитель начальника ПУОКРа Орлов. Это собрание запомнилось мне на всю жизнь.

Орлов, сняв фуражку, расправил пятерней волнистую шевелюру, достал из папки документ и объявил, что он зачитает специальное письмо Центрального Комитета партии.

Собрание зашевелилось, и вмиг наступила напряженная тишина.

В самые тяжелые минуты жизни страны, в самые критические моменты своего существования ЦК откровенно обращался к массе, зная, что, как бы страшна ни была правда, масса всегда откликнется на зов вождей. Народ не любит сладкой лжи. Ему милее горькая правда. И этот великий закон, этот верный путь к сердцам миллионов раскрыл Владимир Ильич Ленин.

В письме сообщалось, что троцкисты стали на открытый путь террора, что бывший комдив Шмидт получил задание от троцкистского центра совершить террористический акт против Наркома обороны Ворошилова, а бывший майор Кузьмичев, начальник штаба Запорожской авиационной бригады, также взят, как террорист.

Прошло лишь полтора года с ужасного потрясения, перепесенного советским народом. Лишь недавно улегся гнев миллионов, вызванный ленинградским выстрелом. И враги, на миг притаившиеся, вновь подняли голову. Кровожадный дракон снова разинул свою алчную пасть, требуя жертв.

Центральный Комитет призывал коммунистов к бдительности.

Слова письма взрывались, как страшные бомбы. Ни один человек не шелохнулся. Лица вытянулись. Глаза сверкали.

И это здесь, в Вышгородском лагере, в 8-й танковой бригаде, будучи ее командиром и комиссаром, имея в кармане партийный билет, а в петлицах ромбы комдива, готовился к ужасному преступлению, к подлому удару из-за угла Дмитрий Шмидт — боевой руководитель и политический воспитатель вот этих самых людей, которые с расширенными зрачками слушают ужасное сообщение об их бывшем начальнике. Шмидт был среди них, общался с ними. Давал им приказы, слушал и принимал их.

Одних поощрял, других наказывал.

Мне казалось, что стальные обручи сжимают голову. Вот он, вот наступил самый страшный момент в моей жизни. Тогда, когда немецкий патруль в восемнадцатом году подходил к вагону, в котором я вез директивы для партизан, я не переживал ничего подобного. Ни тогда, когда шкуровцы настигали меня под Касторной, ни тогда, под Перекопом, когда отбивался шашкой от окруживших меня уллагаевцев.

К переживаниям, которые вызвало письмо ЦК у всех, добавилась еще своя, субъективная боль. Вспомнились слова Карлейля: «Тот, кто пользуется жизнью, должен быть готов к превратностям судьбы».

В абсолютной тишине танкисты прослушали доклад Зубенко о городском активе. Он закончил выступление, и слышно было в столовой лишь жужжание комаров. Я сидел в президиуме и видел, что за боковым столом у перил собралась тесная группа — Романенко, наш особист, полковник Шкутков, ротный командир капитал Щапов. Романенко то и дело бросал на меня злобные, нетерпеливые взгляды.

Дали слово мне. Я рассказал все, что произошло на активе. Об указании Постышева мне не пришлось говорить. Это входило в задачу Зубенко. Изложил свою биографию, подробно рассказал о моих встречах со Шмидтом, начиная с подпольной явки в Полтаве у Юрия Коцюбинского в 1918 году. Об ужине, данном комиссии Ольшанского, в котором принимал участие Шмидт. О совместной поездке с ним незадолго до его ареста к Затонскому. Не скрыл жалоб Шмидта. И словом большевика заверил товарищей, что ни разу не слышал от него о планах убить Ворошилова и свергнуть Советскую власть. Выступал и в то же время думал: «Ну и каша заварилась. Вместо того чтобы звать людей к наращиванию мощи бригады, ты должен отбиваться от грязных наветов. А с другой стороны? Должен же знать коллектив, кому доверена его судьба, жизнь сотен и сотен людей...»

Выступившие после меня товарищи говорили о процессе Зиновьева, о бдительности, о Шмидте. Высказался и Орлов, заявив, что на активе я выступил по его поручению. А что касается моих контактов со Шмидтом — пусть решает собрание. У него лично нет оснований обвинять меня в антипартийности.

Мне казалось, если б я согласился в начале лета стать не в Вышгородском лагере, а на Сырце, то мне было бы сейчас не так тяжело. Неужели решение вопроса будет зависеть от географической близости к Шмидту, а не от идейного и организационного контакта с ним? Ведь такового не было.

Дали слово Романенко. С пеной у рта, злобно требовал он

моего исключения из партии. А потом — пусть другие детально разберутся в степени моей вины. Он, типичный селяк из-под Харькова, закончил так: «У нас в Донбассе всех троцкистов давно расстреляли...»

Итак, я уже был причислен к троцкистам...

После Романенко говорил Шкутков. Мямля, комкая речь, клеймил троцкистов. Прямо не обвиняя меня, сказал, что многое для него неясно, что слишком часто, по его мнению, командир бригады прогуливался со страшным троцкистом по линейкам лагеря, на танкодроме.

Ясно было для всех, что мой ближайший помощник клонится ближе к Романенко, нежели к другим ораторам. Снова выступил Зубенко. Отчитал Романенко за клевету. Заверяя коммунистов, что, по имеющимся у него данным, я никогда к оппозиции не принадлежал. Поставил на голосование предложение политкома батальона. За него поднялись две руки — самого Романенко и капитана Щапова. Шкутков руки не поднял...

Хоть голосование прошло в мою пользу, сказку по правде, ночевать я решил не в лагере, а дома. Мать уже давно перебралась в город. Если чему-нибудь суждено произойти, пусть это случится дома.

Со мной поехал и бригадный врач, с тем чтобы утром в городе сделать мне очередное вливание. Курс, назначенный мне профессором Кричевским, подходил к концу. Болезнь затухала. Пораженное волчанкой лицо начало приходить в нормальное состояние.

Я был под тяжелым впечатлением бригадного собрания. Думал: «Вместе с людьми провести такое напряженное лето, создать мощную боевую единицу и вместо признательности очутиться в положении затравленного зверя, не знающего, где его ждет капкан». Я сказал доктору:

— Впервые за тридцать восемь лет почувствовал свое сердце. После выступления Романенко сквозь него словно прошла острая игла...

— Сами видели — никто не поверил в вашу виновность, — ответил Липницкий. Понизив голос, добавил: — А я и не верю, что Шмидт виноват...

Я уставился на своего собеседника. В такие грозные дни, в присутствии третьего лица — шофера произнести такую крамолу?

После, думая об этом мужественном лекаре, я полагал, что и этого «крамольника» настигла черная буря. Но все обошлось. Были и у него, как и у многих, свои неприятности в те тяжелые годы, но он уцелел.

Ни той ночью, ни после меня никто не потревожил. И я

подумал: «Нет, жива все-таки правда. Если кого и берут, то за дело. Невинного никто не возьмет».

А пресса оставалась верна одной теме. 21 августа газеты печатали статью Г. Пятакова: «Беспощадно уничтожать презренных убийц и предателей». Под заметкой «Стереть с лица земли» подписались Ставский, Федин, Павленко, Вишневский, Киршон, Афиногенов, Пастернак, Сейфуллина, Жига, Кирпотин, Зазубрин, Погодин, Бахметьев, Караваева, Панферов, Леонов.

В тот же день газеты писали о пребывании Якира на больших маневрах во Франции.

22, 23 и 25 августа мы читали грозные передовицы: «Троцкий — Зиновьев — Каменев — Гестапо», «Взбесившихся собак надо расстрелять», «Страна приветствует приговор Верховного Суда». После этого московский завод «Динамо» потребовал расследования «связей Томского, Бухарина, Рыкова, Пятакова, Радека с троцкистско-зиновьевской бандой».

26 августа умер бывший главком Сергей Сергеевич Каменев. Его торжественно похоронили на Красной площади. Не прошло и года, его урну с прахом выбросили из Кремлевской стены. Ежов не давал пощады и покойникам.

26-го же числа белорусский поэт Андрей Александрович напечатал стихи: «Сталина в народной услышал я песне, Сталина в дороге сердцем отыскал. Радостная встреча! Оробел, не знаю, как вождю сказать мне про свою любовь».

Вот этот пиит, вместе с его воистину эпической робостью провел много лет в тайге, где он, человек сугубо оранжерейного склада, в засаленном бушлате раздавал униженным и оскорбленным лесорубам их скромную зарплату.

27 августа печаталась передовая «Гнилые либералы — пособники врагов». Из ее концепции следовало, что донести на товарища, друга, родного брата и отца является священным партийным и гражданским долгом.

Значит, я должен был донести на свою родную мать, которой не правился взгляд Сталина, потому, что за «малым могло крыться большое».

Итак, судя по газетным сообщениям, после первого тура намечался второй. Не ожидая представителей Ежова, застрелился Томский.

Великий Ленин допускал полемику. После каждого диалога падал престиж его оппонентов. Слишком огромен был авторитет, а главное, слишком могучей была его логика. А вот голосование делегатов XVII съезда говорило о многом. Сначала черные шары в адрес «мудрейшего», а потом, кто его знает, может вспыхнуть и полемика. А где взять ленинскую логику и ленинский авторитет?

Осудить на казнь за полемику нельзя. Этого не одобрит ни один коммунист, ни один советский гражданин. Ленин не только не казнил Зиновьева и Каменева за их предательство в дни Октября, но и допустил их, раскаявшихся, к высоким постам.

Другое дело — «терроризм, попытки реставрации капитала, связь с гестапо». За такое мы все требовали казни...

Чертово колесо

Кто не знает «Чертова колеса» — головокружительного аттракциона в общественных парках? Забравшись в одну из его кабин, человек то падает вниз, почти к самой земле, то взмывает вверх к небесам.

Моя жизнь в то тревожное время являлась сущим чертовым колесом. Не раз и не два, а сотни раз на протяжении многих недель я летел и вниз и вверх. На различных собраниях, «беседах» кидало книзу. На работе, которая не убавлялась, невзирая ни на что, я вновь обретал крылья.

Гудел мотор военной машины, ее сердце — партполитаппарат. Не прекращала своей работы и ходовая часть — военно-оперативный механизм. В районе киевского Полесья намечались местные маневры. Я получил предписание выполнить функции старшего посредника при 8-й танковой бригаде. Мое чертово колесо было все же колесом жизни... Оно вновь возносило меня.

А до этого было вдоволь собраний. И почти на каждом приходилось отчитываться. Нашлись свои романенки и в аппарате Совнаркома. После актива в Оперетте кто-то прислал в ПУОКР «сигнал», что еще в 1934 году Шмидт нередко заглядывал ко мне на работу, что я помог его старухе-матери выхлопотать пенсию и устроил его брата Ивана в Харьковский университет. Другой писал, что я засорил оборонный аппарат троцкистами — в Госплан послал Неунывако, в Наркомтяжпром — Коржикова, а вот проверенного товарища к оборонному делу не допустил.

Но наши коммунисты, невзирая на бешеные нападки Романенко, не обвинили меня. Я объяснил, что Шмидт тогда еще был командиром бригады, а его мать — работница махорочной фабрики, активно помогала партизанам в 1918 году. Иван Шмидт в двенадцать лет поступил в 7-й червонно-казачий полк, которым командовал я. С этим полком участвовал в разгроме петлюровской банды атамана Палия. И помогал я не только семье Шмидта, но и многим червонным казакам, которые обращались ко мне. А вот «проверенный товарищ», отвергнутый мною, — это пойманный нами в Литинском лесу петлюровский резидент Ярошепко.

В отношении Неунывако и Коржикова я представил справку, что они поступили на оборонную работу до моего прихода в Совнарком. Правда, киевский горвоенком Рябоконь, давший мне справку, как старейший оборонный работник, после актива в оперетте три дня избегал со мной встречи. Но я все же припер

перепуганного товарища к стене в его служебном кабинете.

Однажды Павел Неунывако, этот схваченный теперь «враг народа», за которого трепали меня, сказал мне:

— Вот я человек с подмоченной репутацией. Почему?

В 1927 году одна пятая часть слушателей академии Фрунзе оказалась в оппозиции. Согрешил и я. Но разве я против партии, против Советской власти? Честно выполнял и выполняю все, что мне предписывают. Не критикую. В гражданскую войну командовал полком в дивизии Федько. Деникинский осколок сидит в печени. Мы голосовали тогда потому, что помнили завещание Ленина. Думали, что партия выиграет от смены Первого секретаря...

Чего утаивать? После выступления Постышева люди шарахались от меня. Я превратился в одиозную фигуру — «друг и чуть ли не сообщник террориста Шмидта!». И если еще недавно я, с пораженным волчанкой лицом, обходил стороной знакомых, то теперь знакомые сами обходили «пораженную личность».

Вспомнился ушедший в давность 1915 год. На стенах нашей станции вывесили приказ полтавского губернатора, запрещавший вступать в разговоры с солдатами транзитных эшелонов. Я нарушил этот приказ. Мальчишеское любопытство было сильнее запрета. Станционный жандарм Хома Степанович составил акт. Меня присудили к месячной отсидке. Но я скрылся. Моя школа выхлопотала мне прощение как отличнику учебы. Но кличка Замеченный, подхваченная мешанами, прилипла ко мне надолго, вплоть до революции 1917 года. В 1936 году она снова вернулась ко мне.

Начались маневры. 8-я бригада, стремясь вцепиться с ходу в «противника», двинулась в сторону Хабного. Комбриг Голиков уехал на Волгу за семьей, и соединением командовал его начальник штаба. Не желая прерывать моего лечения, поехал со мной на маневры и доктор Липницкий. Занятый посредническими делами, я на время забыл о «деле» Шмидта. Все же лучшее лекарство от физических и душевных недугов — это работа. И чем больше, тем радикальнее она действует.

В районе Полесья мы вышли на новую дорогу Хабное — Овруч. Трасса то шла прямой линией, то, делая изгибы, плавно ломалась. По обеим ее сторонам стояли закованные в серебро березы. Их крапленные чернью белые стволы, накрытые густыми папахами зелени, все время уносились назад и вновь возникали перед восхищенным взором путников.

Казалось, что веселые и нарядные деревья, свидетельствуя о том, что сама вечность являет собой непрерывную цепь недолговечностей, шепчут сладкие слова жизни. Как страусовые

перья, торчали из земли, у подножий стволов, светло-зеленые султаны папоротника. Невысокая насыпь с бесконечной изгородью белых столбиков и дорожных знаков убегала вдаль. Скамейки со спинками приветливо ожидали усталого путника. Новая дорога, озаренная полуденным солнцем, сверкала, как нарядная невеста.

Среди празднично убранных берез угрюмо возвышались хмурые столбы омертвевших дубов. Как гордые мумии, они безмолвно хранили торжественный покой, свидетельствуя о том неизбежном конце, который ожидает все сущее и все то, что еще должно быть.

В 1933 году нам пришлось заниматься и этой магистралью. Теперь это уже был готовый, прорубленный сквозь дебри девственного леса и одолевший непроходимые болота и топи путь, дававший еще один выход войскам от Днепра на просторы Волыни. Нет, напряженный темп жизни тех лет не оставлял досуга для гражданских раздумий, которые волновали старого большевика Туровского, а может, не его одного... Мы превратились в аккуратных исполнителей верховной воли и в этом видели свой основной партийный и гражданский долг. А возможно, что нам, всем коммунистам, надо было смотреть на вещи поглубже и пошире. Слесарь на заводе за брак расплачивается получкой, политик за брак платит более существенным, нередко и головой...

Постоянные переходы, стычки, атаки, столкновения, сложные обязанности посредника несколько отвлекали меня от личных тревог. Девственная местность, дикие, нетронутые урочища, необозримые луга над Десной, заброшенные в чащах хижины помогали забывать многое.

На третий день маневров (это было в районе Чернобыля, где танки «под огнем» Днепровской флотилии переправлялись по понтонам через Десну) привезли из Киева газеты. Они уже вовсю громили Бухарина, Рыкова, Пятакова. Мы узнали, что арестован прибывший из Лондона наш военный атташе комкор Витовт Путна. «Английский шпион»!

Сидевший со мной на крылечке штабной хаты Сергей Байло рассказывал о волне арестов в Ленинградском гарнизоне. Сквозь стекла пенсне прокрадывалась тень тревоги добрых карих глаз Сергея. На ВАКе, где мы с ним учились, он пользовался уважением всех слушателей. Дважды краснознаменец, комбриг-котовец, он в 1917 году привел от Петлюры целый гайдамацкий конный полк.

На крыльце появился дежурный по штабу. Протянул мне исписанный листок. Это была телефонограмма. Начальник

ПУОКРа Амелин срочно вызывал меня в Киев. Вот так штука! Неспроста. Вспомнил об аресте Путны, рассказы Байло. Неужели настал мой черед? Маневры идут полным ходом, а старшего посредника танковой бригады требуют в Киев. Снова закололо сердце.

— Дело дрянь! Завертелась адская машинка! — сказал Байло и посмотрел на меня, как на обреченного.

Я подумал: «Снова это чертово колесо влечет меня книзу, чтоб швырнуть оземь пластом...» Ехать так ехать! Со мной в машину сели Липницкий и Байло.

Он сказал:

— Ни к чему не лежит душа. Опускаются руки. Поеду с тобой, лучше побуду у родичей в Киеве.

По дороге завернули в колхозный сад. Тяжелые плоды — белые, салатные, зеленые, желтые, розовые, красные, остробагровые, круглые, продолговатые, приплюснутые — свисали с веток и время от времени падали на землю, издавая глухой звук.

Из ветхого шалаша вышел ветхий дед. Резец жизни крепко прошелся по лицу старика, оставив после себя замысловатые сплетения выпуклых складок и глубоких морщин. Сквозь нависшие мохнатые брови смотрели на мир два добрых серых глаза.

Я глядел на сложный узор его морщин и думал: «Вот где воплощение абсолютного безразличия и мирового покоя!»

Дед угостил нас яблоками.

— Откушайте. Этот плод очищает кровь, разгоняет дыхание. По старому времени ходил в Печерскую лавру.

— А вам не скучно здесь, дедушка? — спросил доктор.

— Погляди, сынок, какая у нас веселая компания. — Старик указал на ровные ряды яблонь. — Мои детки. Колхозу на всю зиму яблок припас. В Киев везем. В Москву отсылаем. А весной новый сад будем ставить. Деду Ялтуху скучать некогда!

Радость садовника была полной оттого, что границы колхозного сада стали границами созданного им для себя мира. Ему не было дела до страшных катастроф, до великих потрясений, до вечной скорби, до больших человеческих дел.

Так подумал я.

— Скажи, милый, — спросил вдруг старик, положив морщинистую руку мне на плечо. — Что за гадюки завелись промежду вас, что мутят наши дела, что плутаются между ног, что мешают нам жить?

И за мохнатыми бровями деда забегали уже не добрые глаза, а злые зверьки. И тогда я понял, что границы колхозного сада не

были границами духовного мира деда Ялтуха.

В районе Хабного, в каком-то запущенном перелеске, мы проезжали мимо невзрачного, полуразрушенного хуторка.

— Здесь прошло мое детство! — сказал Липницкий. — Такая кутерьма, что некогда даже заглянуть к старикам.

По дороге свернули в лагерь. Я позвонил Амелину. Он сказал, что в 17.00 состоится гарнизонный актив и мое присутствие на нем обязательно.

Актив собрался в школе Каменева, где ныне находится суворовское военное училище. Народу собралось предостаточно. Доклад сделал Амелин. Клеймил Зиновьева, Каменева, бичевал армейскую партийную организацию, возглавляемый им ПУОКР, самого себя за потерю бдительности, за позор, которым покрыли ловко маскировавшиеся террорист Шмидт и шпион Саблин весь Киевский военный округ. Требовал с трибуны, чтобы и я рассказал коммунистам о своих связях со Шмидтом.

Началось!.. В бешеном темпе закрутилось чертово колесо. Я, не зная, какие силы двигали мной, чувствуя, на себе сотни взглядов, при мертвой тишине взошел на трибуну. Ничего нового сказать я не мог. Повторил то, что не раз уже публично говорил. Подобно Раскольникову упасть на колени и, всенародно каясь, поведать «крамолу» Туровского даже и не думал. О ней ведь не было речи. И не враг он — в этом я был уверен. А за то, что он граждански шире мыслил, нежели все мы, не мне его предавать. Если он замышлял преступление, разберутся в Москве. Я о таких замыслах ничего не знал. И если б я даже на это решился, то услышал бы в ответ справедливые слова: «А почему сразу не сообщил? Теперь, когда Туровский схвачен, поздно выкручиваться».

Мое выступление было прервано нетерпеливой репликой Амелина:

— Что? Скажете — ваш дружок Шмидт не собирался убивать Ворошилова?

— Раз об этом говорится в письме ЦК, то, очевидно, собирался, — ответил я.

— Очевидно, очевидно! Вы должны сказать твердо и недвусмысленно — собирался! — услышал я вновь сердитый голос Амелина.

Я ответил:

— Если вы скажете «собирался убить», это одно, если я, встречавшийся с ним ежедневно, скажу так, следовательно, я об этом знал. Повторяю и буду повторять — ничего мне не было известно о преступных замыслах Шмидта...

Мое выступление закончилось. Я спустился вниз. Амелин

бросил вслед:

— Вы неискренни с партией...

И опять я увидел сотни устремленных на меня взглядов — не только враждебных, но и сочувственных.

В зал с папкой под мышкой вошел Балицкий. Торопливым шагом проследовал в президиум. Ему дали слово. Я подумал: «Что-то есть дивное в оборотах чертова колеса, раз глава НКВД прибыл после, а не до моего выступления».

Балицкий рассказал активу о кознях врагов. Сообщил, что Шмидт и Саблин полностью сознались. Очередь за разоблачением их сообщников. Торжествуя, поведал, что нынче привезли с Соловков Юрия Коцюбинского. Он назвал большое число членов преступной организации. НКВД уже занялось искоренением подлого гнезда...

Ликуя, Балицкий не знал, что эта операция искоренения гибельно заденет и его самого.

Во время перерыва меня подозвал Амелии. Насупив брови, спросил:

— Скажите, вы не выходец из Польши?

— Откуда такое предположение? — изумился я. — Я уроженец Полтавщины. И под Киевом, в Ворзеле, живет человек, мой земляк, принимавший меня в партию в 1918 году. Это директор совхоза Василий Антонович Упырь.

— Ладно, проверим! — отвернулся от меня Амелин.

Как и после первого актива, я провел беспокойную ночь. Утром позвонил к Фесенко. Замкомвойск приказал мне вернуться в район маневров. 8-ю танковую бригаду я застал еще в районе Чернобыля. Проводилась очередная перегруппировка. Выслушав доклад младших посредников, изумленных моим возвращением, я пошел к Десне. Подавленный тяжестью переживаний и потрясенный величием прекрасного мира, развернувшегося передо мной, прислонился я к мачтовой сосне.

Мучительно обдумывал свое положение. Впереди мерещился сплошной мрак. Где же выход? Рука невольно потянулась к парабеллуму. Стало не по себе. Впервые в жизни ощутил, что гораздо легче отказаться от жизни, чем влачить на себе непосильный ее груз.

— Дядя, вы не видали тут нашего Петруся?

Из кустов выглянули лукавые глазки девчонки. Она была беловолоса, голубоглаза, задориста.

Рука обмякла. В самом деле, что будет с сыном, с матерью? Что скажут люди? Покончил с собой — значит, виновен. Вспомнил, как болел Володя. Его маленькое, слабое тело сумело побороть смертельную болезнь. А я, взрослый человек, неужели

не справлюсь с душевным недугом? Вот так, случайное слово, сказанное случайной девочкой, дало силу, укрепило волю к борьбе. Нет, человек должен до конца пользоваться высшим даром судьбы — надеждой. И я надеялся, что чертово колесо не остановится, что после броска вниз оно еще подымет меня, непричастного к преступлениям, хотя и наступило такое душевное состояние, когда считал, что и жить нельзя, и умереть невозможно...

А работа? А люди? А тяжелая бригада? Основное, главное, первоочередное — это она, боевая единица, которая должна прокладывать дорогу войскам. Пехоте — к тактической требухе врага, танковым сгусткам — на оперативный простор.

С приходом Филиппа Ивановича Голикова 8-я мехбригада вновь обрела свое лицо. Вновь завертелась добротной налаженной при Шмидте машина. Почти... А вот первые дни после ЧП... Нет, пусть внутри все бурлит, пусть в голове бушует пламя и сердце рвется на части, а четкий темп работы в бригаде и звучащая на высоком регистре ее оптимистическая мелодия не должны нарушаться.

Да, задание наркома — это задание партии. Так сказал Якир. А силы? Есть незыблемый закон природы — с ростом трудностей, пусть и не беспредельно, но растет приток сил...

Пришел конец Полесским учениям — я вернулся в Вышгород. Тут же закончились и большие Белорусские маневры. Командующий войсками округа Уборевич заявил в Минске: «Прекрасно вооруженные боевой техникой, мы готовы разбить любого агрессора». А нарком добавил: «Мы давно готовы к отпору».

Маневры продолжались четыре дня. Гвоздем учений явился воздушный десант. За семь минут изготовились к бою 1200 парашютистов при 18 орудиях, 150 пулеметах. Командир авиадесантной дивизии комбриг Федор Кармалюк прыгал с затяжкой. Ворошилов обнял его: «Хорошо! Очень хорошо! Молодцы! Вы творите чудеса!»

С тем же мужеством, с каким он совершил затяжные прыжки, Кармалюк спустя год сотворит еще одно чудо — напишет из заключения самому Сталину письмо, полное справедливых укоров...

После маневров генерал Луазо (Чехословакия) сказал:

«Нет другой армии, которая могла бы сравниться по техническому оснащению с Красной Армией». Генерал Швейцгут (Франция): «Мы поражены блестящим мужеством парашютистов». А генерал Уэйвелл (Великобритания) сказал на чистейшем русском языке: «Поражает техническое развитие вашей армии,

поражают ваши танки и самолеты».

Всему подвела итог «Красная звезда» в статье «Экзамен выдержан». Многие участники тех маневров блестяще показали себя во время великих испытаний 1941–1945 годов. Проявили бы себя и Ковтюх, Сердич, Грибов, Кармалюк, если бы их, верных сынов партии, неуклонно следовавших по ее магистральному пути, не вызвали телеграммой-шифровкой на «беседу с наркомом»...

Ворошилова ждали в Киеве. Вышла встречать наркома в пешем строю и наша танковая бригада. «Будьте бдительны! — приказал начальник гарнизона Фесенко. — Может, Шмидт был не один...» Подлинная истерия, терроромания!

Получив участок на улице Ленина, я построил бригаду в две линии. Ротных старшин во главе регулировщиков поставил лицом к тротуару. Строго приказал не подпускать никого, особенно с пакетами, портфелями, цветами.

Со стороны оперы появился кортеж. В головной машине, рядом с шофером, стоял Ворошилов и приветствовал бойцов. На заднем сиденье находился Балицкий. Напуганный «делом» Шмидта, он, очевидно, решил лично взять на себя охрану наркома. Во второй машине следовали Коссиор, Постышев, Любченко.

Общая истерия сказалась и на мне. С трепетом ожидал приближения головной машины. «Чтобы все было тихо, спокойно, чтобы ничего не произошло», — молил я судьбу. Уже наши танкисты, отвечая наркому, крикнули: «Ура!» Но тут Балицкий, заметив меня на правом фланге бригады, впился в меня пристальным взглядом. Машина шла вперед, а он, медленно поворачивая голову, все смотрел и смотрел на меня. И так с повернутой назад головой он ехал, пока машина не свернула за угол Крещатика...

Каково было мне? Я решил про себя, что завтра пойду к нему, объяснюсь, спрошу, почему такое недоверие? Потребую очной ставки со Шмидтом. Пусть скажет честно — раскрывался ли он передо мной? Говорил ли, что собирается убить Ворошилова? Надеялся, что меня выслушают по-деловому, по-партийному. Ведь несколько лет встречались за одним столом, где, доверяя мне, заседала комиссия обороны ЦК КП(б)У и Совнаркома, очень тесный круг — Чубарь, Коссиор, Сухомлин, Якир, Балицкий.

Кончилась весьма грустная для меня встреча. С Зубенко пошли в оперу. Ожидалось выступление Ворошилова. Я поднялся в фойе. И чего-чего, а этого не ожидал. Стоявшие тесной кучкой высшие работники НКВД сразу же уставились на меня — «потенциального террориста». Я пошел в зал, следом двинулся

начоперод — рыжий верзила Соколов-Шостак. Я нарочито занял место подальше от сцены. Соколов сел в том ряду, и пока длилась речь наркома, он не спускал с меня «бдительных» глаз.

Еще тверже, нежели раньше, я решил пойти к Балицкому.

И сразу же все личное сникло, померкло, ушло. Своим глуховатым голосом, обращаясь к многолюдному залу и частенько поглядывая на сидевшего в президиуме Якира, нарком довольно убедительно доказывал, что за год, прошедший после Киевских маневров, армия шагнула далеко вперед. И по технике, и по выучке, и по сознательности.

Все мы еще больше убедились в том, что и Красная Армия, и вся страна к отпору готовы, как недавно об этом заявил в Минске Ворошилов. Никто не сомневался в добром исходе будущей великой схватки. Думаю, что у всех в зале, как и у меня, разгорелось желание поскорее разделаться с фашистской угрозой. Только не у всех, полагал я, тупое сверло буравит наболевшее сердце...

Утром позвонили из штаба. Вызывал меня к себе Якир. С большой тревогой в сердце я переступил порог кабинета командующего. Он сидел за своим рабочим столом со спокойным, приветливым лицом. Поздоровались. Сразу же он передал мне привет от Легуэста. Французский майор интересовался, почему меня нет в составе делегации. Якир ему ответил, что у меня много работы и что я приеду в следующем году.

— Зря мы с вами трудились, профессор, — сказал Иона Эммануилович. — Случись война — набьют нашим союзникам с Сены место пониже пояса. Общипают перья галльскому петуху, как пить дать. Помните, это говорил еще Клаузевиц: «Есть союзники, которые обременяют коалицию, а не помогают ей».

— А что случилось?

— Внимательно следил я за операциями их армий. Генерал Луазо и ваш подшефный генштабист восторгались здесь смелыми маневрами наших танков. А их боевые машины по-прежнему тесно привязаны к пехоте. Я спросил генерала Луазо, в чем дело. Он мне ответил: «Над нами стоит парламент, а в нем военная комиссия. Лавочники, бывшие лейтенанты и сержанты! Что они понимают? Отсюда все зло. Требуют, чтобы все танки сопровождали пехоту, оберегали жизнь их сыновей». Боюсь, что так они не оберегут ни Франции, ни ее сыновей...

Покончив с этим, Якир пристально взглянул на меня и спросил:

— Чем это вы рассердили Павла Петровича Постышева и Балицкого?

Я сказал, что мое выступление было правильным. Это может

подтвердить Орлов. Но кто-то подал записку о моих связях со Шмидтом.

— Все мы были связаны с ним, — с горечью ответил командарм 1 ранга.

— Иона Эммануилович, — продолжал я, чувствуя, что теперь могу высказать все, что накопилось в душе. — Сейчас я нахожусь не перед судом, а перед своим командующим, членом ЦК нашей партии. Прошу поверить — мне ничего не было известно о преступных замыслах Шмидта. Все мои мысли были в бригаде, в рукописях...

— Хочу верить и верю! — ответил Якир. — Как бригада?

Я доложил. Командующий ответил:

— Все это хорошо. Но... поймите меня правильно. Сейчас не время ставить вопрос о присвоении вашей бригаде имени Сталина.

— Вам виднее! — ответил я. А потом добавил, встретив объективное отношение командующего: — Пусть будет, что будет, мне сейчас очень тяжело морально. Но еще тяжелее оттого, что я подвел вас...

— Это как понимать?

— Видите, все знают — Москва, Халепский, — что я назначен на бригаду по вашему ходатайству...

— Откуда вы взяли? — перебил меня Якир.

— От Дубового знаю, что происходило весной в кабинете Ворошилова.

— Ну, допустим!

— Так вот. Взяли в вашем округе Шмидта, Саблина, взяли вашего друга Туровского. А сейчас в ЦК станут вас укорять и за меня...

Якир, сощурившись, скрестил на груди руки. Порывисто встал из-за стола. Нервно зашагал по ковровой дорожке. Взвешивая каждое слово, размеренно ответил:

— Я член Центрального Комитета! И Центральному Комитету не за что меня упрекать. Да, я взял в округ Шмидта, но взял с ведома Сталина. И я ему говорил: «Не знаю, как покажут себя под огнем другие, а Шмидт воевал и будет воевать хорошо...»

Несмотря на эпическое спокойствие Якира, я понял, что творится с ним. То, что высказал я, беспокоило командующего, но он не захотел в этом признаться. Мои слова острой стрелой вонзились в его сердце. Об этом красноречиво свидетельствовали скрещенные на груди руки и нервное расхаживание по дорожке.

Было ясно, что этот монолог Якира предназначался не мне, а являлся репетицией оправдательной речи, которую командующий КВО должен был произнести перед Сталиным...

Я доложил, что хочу повидаться с Балицким.

— Напрасно! Возьмите себя в руки. Отправляйтесь в бригаду, работайте. Надо будет — вас вызовут. Сами не ходите никуда.

С некоторым облегчением я покинул кабинет Якира. Никто не тревожил и меня. Но атмосфера продолжала быть накаленной.

Прошла еще неделя. Я ехал в город. Лес сменил свой скромный, выдержанный летний убор на багряно-золотистый осенний наряд. Редко кто умирает в такой красоте, как зелень деревьев. Так, с просветленными лицами, уходят из жизни лишь великие праведники.

Вдали показалась машина. Она шла на большой скорости. Сидевший в ней рядом с шофером человек усиленно замахал рукой, давая знак остановиться. Наши машины сблизились. Из встречного газика, с раскрасневшимся радостным лицом, выскочил замполит Зубенко. Бросился меня обнимать, тискать, тормошить.

— Поздравляю, поздравляю, — захлебывался он от восторга. — Наша правда взяла...

Я недоумевал, теряясь в разгадке причины этой вспышки. Зубенко мне объяснил. Едет он из ПУОКРа. Там он узнал, что Якир только что вернулся из Москвы. Командующий, попав на доклад к наркому, рассказал ему о моем выступлении на активе и о всем, что было дальше. Ворошилов спросил: «А как он работает, этот командир бригады?» Якир ответил: «Хорошо», а присутствовавший при докладе Гамарник сказал: «Раз так, пусть работает. Хватит, наломали дров...»

Зубенко вытер рукавом вспотевшее лицо, махнул рукой.

— Скажу я вам одно — работать стало трудно. Раньше пуокровское начальство решало все вопросы тут же, при тебе. Сейчас никто и ничего... А если да, то сразу звонят, и не к Амелину, а, подумайте, в Особый отдел, к Бржезовскому. Какое-то дурацкое двоевластие... Как при Керенском... На что наш особист — и тот что-то возомнил. Раньше кликнешь его, он тут как тут. Сейчас, прежде чем прийти, поломается. И наш Романенко все возле него трется, подзуживает людей... Верно, кое-что дошло там до ПУРа. Может, Гамарник и наведет порядок...

Поблагодарив замполита за приятную весть, я поторопился домой. Где-то на Лукьяновке, на балконе четвертого этажа нового дома, кто-то вырастил тощий длинный подсолнечник. Он раскачивался, кланяясь своей мохнатой, ярко-золотистой головкой. Никогда я не обращал на него внимания. Сегодня мне показалось, что подсолнечник ликует вместе со мной.

Вот я уже дома. И слабые материнские глаза видят то, что

недоступно другому сильному зрору.

— Хорошие вести? — спросила она.

— Радость, мать, радость!

Узнав, что было в Москве, она в порыве материнской нежности поцеловала мою руку. Это ошеломило меня. А по сути, вместе со мной переживало все мои тревоги ее крепкое, но все же старческое сердце.

Предусмотренный окружным планом осенний инспекторский смотр проходил гладко. Казалось, что ничего не произошло. Не было в этом мире Шмидта, Туровского, Примакова, и не было никаких подозрений по моему адресу. Все командиры, в том числе Шкутков, точно исполняли все мои указания. Только один Романенко даже в строю смотрел на меня исподлобья.

Все было как будто по-прежнему. Но все же чувствовался какой-то надлом. Раньше я с неохотой покидал лагерь. Сейчас, когда приближался к Вышгороду, у меня болела душа. Далеко заметная ажурная вышка танкодрома с ее хитрым кружевным узором не радовала уже, как прежде.

В лагерном сосняке звенели еще веселые голоса и резвились командирские детишки, а в моем домике была пустота.

На приемнике стоял яркий кувшин с букетом засохшего барвинка, золотистого левкоя. Своим наивным великолепием они напоминали о радостных, многообещающих днях ушедшего лета.

Проводил смотр комбриг Игнатов. Тяжелая бригада получила оценку «отлично». Слишком хорошие люди составляли ее контингент, чтобы иметь иной результат. Все это давало право на что-то надеяться.

— А что, по-твоему, труднее — смотреть или показывать? — спросил Игнатов. Он снял фуражку и вытер платком потную голову, на которой гребнем торчал серебряный ерш.

— Труднее всего, когда нечего показывать и нечего смотреть.

У меня поднялось настроение. Я почувствовал себя, как больной, которому дали верное лекарство. Мне казалось, что этим лекарством послужат итоги смотра.

Вместе с актом инспекции явились мы с Игнатовым на доклад к командующему.

— Все это хорошо, — сказал Якир. — Поздравляю. Меня радует результат стрельбы. Думаю, что у нас обошлось без очковтирательства. Кое-кто сажает в блиндажи у мишеней стрелков. Они и делают «результат». Подлецы! Кого обманывают? А теперь, — обратился ко мне Якир, — идите к Амелину, он желает к вам поговорить. Потом зайдете ко мне...

НачПУОКра принял меня приветливо, но с растерянным взглядом.

— Вот что, — начал он. — Из округа вас переводят. Не огорчайтесь — везде Красная Армия.

Эти слова ошеломили меня. Особенно после сообщения Зубенко о решении Ворошилова и Гамарника.

— Что? — возразил я. — Вы установили мою причастность к делам Шмидта?

— Если б это было так, не я, а Балицкий беседовал бы с вами, — ответил Амелин.

— Может, вы обнаружили мою прошлую причастность к оппозиции?

— Тогда бы с вами занялась ОПК, как занималась она с командиром 1-й кавалерийской дивизии Иваном Никулиным.

— Зачем же меня переводят?

— Этого требует Постышев. А с ним не считаться мы не можем — он член Политбюро ЦК ВКП(б).

Да, вот тогда я подумал, что мои слова, сказанные Якиру, действительно попали в цель. У меня сомнений не было, что он был за меня, но, очевидно, кое-что ему уже сказали там, повыше.

— А что я доложу на новом месте коммунистам? — спросил я. — Ведь они заинтересуются причиной перевода.

— Ничего за вами нет, ничего и не скажете... — опустил глаза Амелин.

— Ну, нет, — возразил я. — Удивляюсь вам. Вы в партии давно, и я в ней не новичок. Этому меня партия не учила. На прощание скажу — я начал борьбу на Украине, работал здесь до этого дня, и мне очень больно расставаться с ней...

Амелин развел руками.

Я сказал:

— Боюсь одного. Сейчас без всякой моей вины меня щиплют. А после какой-нибудь негодяй выкинет фокус, и начнут таскать, прорабатывать меня, «замеченного по делу Шмидта»...

— Никто вас таскать не будет. За вами ничего нет.

Но вот и за Амелиным, безусловно, ничего, не было. А затаскали же и его — этого сверхбдительного, всей душой преданного Сталину чистейшего большевика.

Как два колеса у велосипеда, у советского командира есть двуединая сущность — военная и политическая. А у меня, не по моей вине, а по чужой воле, одно колесо — политическое уже оказалось «восьмеркой» — оно завихляло...

Я пошел к Якиру. Доложил ему. Он успокоил меня:

— Бригаду сдадите Шкуткову. Говорил я с Фельдманом, Поедете начальником танковой школы в Ленинград или Горький. Неплохо. Поверьте. Вас понимаю — тяжело создать боевое соединение и отдать его другому... Но стенки лбом не

прошибешь...

Я попал в какой-то лабиринт. Но чем закончатся эти бесконечные блуждания по его сложным и таинственным переходам?

Поняв мое душевное состояние, Якир поднялся, подошел ко мне и, проводив меня до дверей, проникновенно сказал:

— Не падайте духом. У вас там будет чем заняться. Закончите труд о танках прорыва. Это нам очень и очень нужно... А после, даю вам слово, пройдет год-два, уляжется буря, мы вас вернем на Украину. Работали мы с вами и еще поработаем, а может, и повоюем вместе... Надеюсь, что свой долг вы еще выполните.

Эти задушевные слова успокоили меня, давали надежду. Но в глазах командующего, в тоне его уже не было той уверенности, которая в нем замечалась во время прежних наших бесед.

Увы!.. Ни работать, ни воевать с ним больше не пришлось. Но свой долг перед памятью этого светлого большевика и талантливого советского полководца выполняю.

После беседы с Якиром я направился домой. Там, озаренная заходящим солнцем, встретила меня своим грустно-беспорочным взглядом сестра-урсулинка. А потускневший от времени безмятежный лик пастыря как бы говорил! «Все — суета сует. Мир чувств, весь мир злобы — это результат не внешнего воздействия, а следствие собственного воображения. Пусть внешнему миру доступна материя, но дух недосягаем. И в этом — ключ к извечной мудрости».

Но это была не каменная мудрость изысканных, а зыбкая философия отверженных!

Между небом и землей

Кое-чему нас жизнь научила еще до трагических событий. То, что принято понимать под страшным именем «тридцать седьмой», не возникло вдруг. Оно началось с тщательного утаивания от партии ленинского завещания. Была создана даже версия, что завещание если не сфабриковано троцкистами, то ими сфальсифицировано в той его части, где шла речь о Сталине как о любителе «острых блюд». «Тридцать седьмой» тесно связан и с результатами голосования делегатов XVII партсъезда.

В каждом новом слове, не повторявшем передовицы газет, усматривали крамолу, в незначительной ошибке — злой умысел. Ленинский стиль — убеждать — ушел в прошлое. «Перековывали» людей в лагерях. В жизни же, по эту сторону проволоки, предпочитали не убеждать, не перевоспитывать, а отсекал. Во имя добра пускалось в ход зло, во имя человечества давили человека.

Мне было предложено сдать бригаду в конце октября, а о том, что с нею придется расстаться, я говорил матери в начале июля. Спустя четыре месяца предположение сбылось. Жизнь кое-чему нас научила.

С моей точки зрения, снятие с бригады было вопиющей несправедливостью. А с государственной? Все делалось именем государства, именем Советской власти. Ведь имело право государство создавать гарантии безопасности, гарантии победы. Да, имело! Но в том-то и дело, что государство, народ в них не нуждались. Этими гарантиями, невзирая ни на что, хотели обеспечить себя те исполнители, которые ополчились против мыслителей, бездарности, которым мешали таланты.

Пусть никто не подумает, что автор этих строк и себя» поскольку он стал жертвой тридцать седьмого года, причисляет к талантам. Боже упаси! Но вместе с талантами вырубili тогда и тех рядовых работяг, на которых в своей повседневной деятельности опирались Тухачевский, Якир, Уборевич, Егоров, Примаков.

Передача дел не затянулась. Новый командир бригады проявлял такое нетерпение «вступить в должность», что особых придинок не предъявлял. С большей тщательностью, нежели людей и боевую технику, он принимал другое.

Ожидалось, что иностранные гости выразят желание посмотреть квартиру командира. Своих 990 рублей, превышавших на сто рублей оклад командира стрелковой дивизии, хватало лишь на жизнь. На убранство квартиры — картины, ковры и

прочее — мне выдали десять тысяч рублей.

Я больше всего опасался, что небрежная передача казенного добра может дать повод к созданию уголовного дела. Но, как я убедился потом, дела стряпались не по мотивам преступлений, а по мотивам «высших соображений».

Полковник Шкутков, убедившись в целостности передаваемого ему имущества, выдал мне расписку и сказал, что завтра же все будет вывезено, но бронзового Антиноя захватил с собой, заботливо положив его в карман коверкотового плаща. Сунул под мышку и печальную сестру-урсулинку, и мудрого старца. Увы, прошло каких-нибудь полгода. В этом же плаще Шкутков покидал свою квартиру и уже не думал об Антиное, а о смене белья и о торбе с сухарями...

На прощание я обошел территорию бригады. Вместе с нашим замечательным коллективом я создавал ее из отдельных частиц. Заглянул в парки, где стояли машины.

Был конец октября, а осень держалась сухая, веселая, солнечная. Настоящая осень была лишь на моей душе. Дружно раскачивались вдоль всей ограды яркие астры и георгины. Это было красиво и увлекательно — казарма и цветы!

Завернул к старикам в оранжерею. Румяные, седоголовые, они сами напоминали бледные, но сильные цветы осени. Была чудесная пора малокровных астр и пушистых хризантем.

Зашел в казармы, беседовал с людьми. Я им улыбался, а на душе было тяжело. Завернул в библиотеку, столовую, клуб.

В Киеве бригада очень быстро завоевала славу соединения, в котором ликвидировано... сквернословие. Наши агитаторы, коммунисты, разъясняли матерщинникам, что слово «мать» можно произносить только с любовью, благодарностью, нежностью. Для закоренелых сквернословов в бригадной многотиражке одно время существовала «Витрина похабного языка». За оскорбление матери подчиненного виновный нес дисциплинарное взыскание. Все вместе взятое дало свои результаты.

На зимних квартирах все вызывало восхищение. На цоколях новой ограды стояли вазоны со свежими цветами. Кудесники из бригадной оранжереи для каждого вазона сделали свой набор декоративных цветов.

Я с тоской смотрел на всю эту красоту, на уют, который создан напряженным трудом большого коллектива и который будет радовать взоры многих, но не мой.

Попрощался с Зубенко, Хонгом, командирами и политкомами батальонов. В штабе Хонг сказал, что комбаты затевают складчину. Это шло от чистого сердца, и все же я категорически

отказался участвовать в прощальном обеде. Такие проводы в то тревожное время могли расценивать как демонстрацию.

Секретарь парткома бригады Малькевич — в недавнем прошлом рабочий завода «Большевик», призванный в армию по партийной мобилизации, — позвал меня в свою комнату.

— Взносы взносами, — сказал он взволнованно, — а хочу сказать вот что. Пусть там Постышев, Амелин говорят, что хотят, а наши коммунисты жалеют о вашем уходе.

Малькевич в самом начале войны был убит под Киевом.

Меня, конечно, обрадовали эти простые, душевные, идущие от рабочего сердца слова. Вспомнил последнюю беседу с Туровским на первомайском обеде в Харькове. Постышев говорил от имени партии, а разве он и Амелин по-ленински прислушивались к голосу большевиков нашей бригады — выходцев из рабочей среды? Вся беда была в том, что тогда уже большевики не имели права поднять голос протеста. Они могли лишь голосовать за злобные предложения Романенко и выразить свое настоящее мнение вот так, с глазу на глаз, как это сделал секретарь парткомитета. Все знали, что значит пойти против Сталина, все помнили разносную статью в газете по адресу рабочих-коммунистов ХПЗ, мужественно выступивших в защиту арестованных товарищей...

Покидая с грустью территорию бригады, подумал: «Полгода ходил по этой земле, как хозяин, а сейчас покидаю ее, как рассчитанный в страду нерадивый батрак».

Спустя неделю я проезжал по Гостомельскому шоссе. Совершая тактический маневр, огромные танки — эти сухопутные крейсера — плыли в легком осеннем тумане. Они то подходили к дороге неслышно, с легким журчанием гусениц, то уходили в неясную, подернутую дождиком даль.

Над лесом ползли низкие, мохнатые, как веники, тучи. И сильный ветер непрестанно гнал их к Днепру.

Тоскливо гудели провода. Печально висели на них обрывки мокрой паутины — этих жалких знаков роскошного бабьего лета.

А боевые машины — огромные, мощные, грозные, в строгих порядках, неправдоподобно гибкие — выплывали из тумана и приближались к шоссе под тоскливую песенку телефонных проводов.

Стало грустно. Ветер свистел, ветер завывал в проводах. Ветер злился. И эта злая осенняя мелодия была прощальной песней, под звуки которой я навсегда расставался с нашим детищем — тяжелой танковой бригадой.

Я позвонил в Москву. Начальник кадров комкор Фельдман сказал, что приказ наркома о моем назначении еще не подписан и

Сочи встретили меня ярким солнцем, вечнозелеными пальмами и кипарисами, пьянящим ароматом субтропиков. С моего балкона открывался изумительный вид на морские, уходящие к синему горизонту просторы.

Стремясь увековечить себя, наши вожди вводили назойливые термины — «сталинские соколы», «сталинская тропинка» (это вдоль сочинского побережья), «ворошиловские стрелки». Лучший, недавно отстроенный санаторий носил имя Ворошилова. Он состоял из гранитных громад, бемского стекла и меченных никелем широких балконов. Кругом пальмы, кипарисы, туя — эти лилипуты хвойного мира, астры, георгины по краям мраморных лестниц, спускавшихся к морю. И вдобавок — сияющий фуникулер!

Ходить по краю бездны, отбиваясь от шквалов чудовищного урагана, и вдруг... курорт, Сочи, южная благодать и волнующий простор осеннего моря!

Открытые бицепсы крепких мужчин и довольные лица красивых женщин попадались на каждом шагу в этой кузнице здоровья командных кадров.

Обычная курортная атмосфера была далека от той, в которой люди жили в последние недели дома. Пляж, прогулки, лечебные кабинеты, экскурсии отвлекали от всего тягостного, мрачного. Но и на волейбольной площадке, и в читальне, и на пляже знакомые избегали знакомых, друзья — друзей, соратники — соратников, как будто они уже угадывали ту огненную черту, которая вскоре ляжет между ними. Очевидно, то, что их теперь разъединяло, было во сто крат сильнее того, что когда-то соединяло этих людей.

В ту пору отдыхали в санатории ветераны червонного казачества — снятый недавно с 1-й дивизии Иван Никулин с женой, бывший начальник разведки Примаков, его земляк-черниговец Евгений Журавлев и бывший комполка, а тогда начальник штаба кавалерийского корпуса Рокоссовского в Пскове Игнатий Карпезо.

Мы держались как-то вместе, играли в волейбол, крокет, нет-нет и заговаривали о беде, постигшей лучших вожakov червонного казачества — Примакова, Туровского, Шмидта, Зюку. Допускали разное, но никто из нас не мог согласиться, что это агенты Гитлера. Надеялись, что скоро все выяснится и мы

услышим правдивую весть об этих выдающихся героях гражданской войны.

И Карпезо, служивший тогда в Ленинградском военном округе, и Журавлев, явившийся в Сочи из Новочеркасска, говорили о лихорадочной подготовке наших сил к отпору. Мы с Никулиным знали, что не спят и в нашем, Киевском, округе. И в то же время всем нам было известно, как растет вермахт и против кого он кует свой острый меч. Знали, невзирая на змеиные речи продувной бестии эстонского майора Синки и ему подобных.

Толкуя о будущих операциях, мы твердо верили, что воспитанные Лениным и подобранные им талантливые полководцы, мужественные воеводы и тонкие диалектики окажутся на голову выше штампованных в прусской военной школе генералов.

Однажды в столовой я услышал шедший из-за моей спины душливый запах гелиотропа. Я повернулся. На меня смотрело улыбающееся, игривое лицо окружного особиста.

— Вот совпадение, — сказал он, показывая свои редкие зубы. — В Гаграх были вместе и сейчас попали в Сочи на один сезон.

Я сначала подумал, что это не совпадение, скажу прямо, думал, что он охотится за мной, как раньше охотился за Шмидтом. Всплыло все тягостное, что недавно пережил в Киеве. Но спустя два-три дня, не заметив со стороны Юлиана Бржезовского никаких признаков агрессивности, успокоился. Он ходил с нами на волейбол, а однажды затянул всех нас в ресторан, танцевал, пил, стараясь казаться рубахой-парнем. И у него на душе, очевидно, было неладно. Не так просто своими руками бросать за решетку боевых товарищей, с кем съеден не один пуд соли. Он тянул нас в «Ривьеру» еще и еще, но это несвойственное нам сроду веселье нас не веселило. После него становилось еще грустнее. Слушая джаз, думали о тех, кто в это время слышит лишь грохот запоров и звон тюремных замков.

Бржезовский больше любил слушать... Профессия! Но однажды и он разговорился. Оказывается, Гитлер выцарапал из Китая, Эквадора, Южной Африки и прочих мест земного шара всех немецких офицеров. Вернул их с помпой в армию.

— А ваш брат, — заметил Иван Никулин, — вырывает из армии самых башковитых, самых боевых, самых крепких товарищей... Прячет их в неведомые щели...

— Ш-ш-ш-ш, Иван! Ты это брось... Я ничего не слышал. Ты ничего не говорил. Да, не слышал из-за барабана. Вон как дует джаз.

Тут мы все пристали к окружному особисту. Спросили, что он

знает о «деле» Шмидта.

— Честное слово, ничего, кроме того, что знаете вы. Не верите, — болезненно усмехнулся особист, — клянусь маткой бозкой ченстоховской... Шмидт — это не наша, московская разработка. Я солдат. Приказали — я его взял, отвез Ягоде и Гаю в Москву (Гай — не комкор, а начальник Особого отдела Красной Армии).

Однажды мы гуляли с Иваном Никулиным по шоссе. Навстречу шла большая машина. Завизжали тормоза, из нее вышел, расправляя богатырские плечи, комкор Тимошенко. Поздоровался. Спросил, как живем. Стал звать с собой Никулина.

— Товарищ комкор! — ответил Иван Ефимович. — Но хочу подводить вас. Я же теперь подмоченный. С дивизии сняли, посылают советником по кавалерии к черту на рога, в Монголию. И вдруг завалюсь в санаторий ЦИКа. Нет, не поеду...

— А мне что? — храбрился Тимошенко. — Я еще поговорю о тебе с Климом. Ты ж у меня был лучший командир лучшей кавалерийской дивизии.

Тимошенко сел в машину и укатил в сторону Мацесты. Спустя несколько дней меня встретила Ольга, жена Никулина. Спрашивала, не знаю ли, где был Иван.

Иван, крепко выпивший, явился поздно вечером, после ужина. Рассказал, что Тимошенко все же подхватил его в Мацесте, увез к себе, играл с ним в бильярд, крепко попотчевал и еще раз собирался поговорить о нем с Ворошиловым.

Мы говорили: «Молодчага Тимошенко. Не боится бражничать на виду у отдыхающих циковцев с опальным командиром дивизии». Но... оказалось, что говорить с наркомом Ворошиловым об опальном комдиве — это не идти сквозь густую пелену дымовой завесы с надетым на голову противогазом...

С тревогой на душе мы, ветераны червонного казачества, покинули солнечный курорт. Уехали каждый к себе, расставаясь с добрыми боевыми друзьями кто на десятки лет, а кто и навсегда...

Из Киева я направился в Москву. Очутившись на Арбате, вспомнил время, проведенное в бронетанковой академии. Будто это было вчера.

Но сколько событий втиснуто в эти пятнадцать месяцев! Сколько людей, дел, страстей, чувств! Чугуевский лагерь. Иностранцы. Незабываемые Киевские маневры. Гагры. Новая книга. Борьба за создание тяжелой бригады. Технический сбор. Шмидт! Письмо ЦК!.. Год блистательного подъема и три месяца ужасного скольжения вниз.

И где та черта, которая обозначит конечный предел бесконечного падения?

В управлении кадров меня принял заместитель Фельдмана комдив Хорошилов. Он был весьма любезен.

— Здравствуйте, полковник! Здравствуйте! Не имею чести знать вас лично, но вашу «Золотую Липу» читал.

— Какой из меня писатель? — сказал я. — Будет верно, если скажете, что среди командиров я писатель, а среди писателей — командир.

Хорошилов рассмеялся.

— Скромничаете. Правда, сейчас у вас неприятность, но это временное явление. Фортуна, как известно, капризна. Пойдемте к комкору!

Фельдман стоял у своего письменного стола, большой, плечистый, с крупной головой и черными жесткими глазами. Он сказал, что я назначаюсь помощником начальника Казанского танкотехнического училища. Приказ у наркома на подписи.

— Но Якир говорил о ленинградской или горьковской школе... — сказал я.

— Вы в своем уме? — строго возразил начальник управления кадров. — Кто же после всего случившегося возьмет на себя такое? Нет, пока о школе не мечтайте.

— А что же случилось? — недоумевал я.

— Разве мало вас прорабатывали за Шмидта? С этим вы должны считаться. Я сейчас позвоню, вам дадут путевку в Архангельское. Езжайте туда, ждите приказа наркома. В вашем положении не выбирают, полковник, а берут то, что дают!

— Мое положение, товарищ комкор, правда, незавидное, но не такое уж позорное. К делам Шмидта не имел никакого отношения.

Начальник кадров сморщил уголок рта.

— Вообще я вас не знаю! Вы работали в Совнарком. Мы вас не выдвигали. Вас выдвинул Якир. За вас хлопотал. И все! И Халепский был против вас!

Начальство не скупилось на путевки. Ничего не скажешь. И хоть Амелин уверял меня, что на новом месте мне не придется ничего говорить о причине перевода, но я явлюсь в Казань с ярлыком «замеченного». Не на месяц, не на два. Это я хорошо понял после разговора с Фельдманом.

Хотел сходить к доверенному лицу наркома, бывшему комиссару штаба червонного казачества Григорию Штерну, но мне сказали, что он в Испании. Оставив в Гомеле 7-ю кавалерийскую дивизию, он уехал на Пиренеи военным советником.

В тот же день в магазине Елисеева я услышал за спиной радостный возглас: «Mon colonel!» То была Флорентина

д'Аркансьель. Встретила меня она, как старого доброго знакомого. Рассказала, что ее Биби снова в Париже — работа, строительство... А вот ей еще нельзя туда ехать. Застряла в Замоскворечье, в «Балчуге». Смеясь, поведала, что не раз встречалась на Арбатской площади с веселым кудрявым товарищем. Он все собирался показать ей свою игру на скрипке. Да вот все не собрался... Ну, конечно, это был Саша Круглов.

Вспомнил Легуэста, французов, приглашавших меня в свою страну. Но эта поездка не состоялась. Все складывалось по-иному.

Звонить Круглову не хотелось. Чем я мог порадовать товарища? Да и положение «замеченного» сдерживало меня.

Отправился я в Архангельское. С неделю поработал там над рукописями. А на душе было тяжело. Однажды в вестибюле встретил только что прибывших людей: Круглов привез свою жену Эльзу Антоновну.

Александр сразу обрушился на меня — почему не зашел, не звонил. Я ему ответил почти то же самое, что ответил Никулин комкору Тимошенко в Сочи. Не хотел бросать тень на ответственного работника ПУРа.

Но тут оба — Александр и Эльза — энергично замахали руками.

— Что ты? Будто мы не знаем тебя? Слава богу! Ведь я за тебя могу где угодно поручиться! Но Митька, какой подлец, какой негодяй!

— А ты грустил, что он тебя как-то в Ростове не принял, когда ты ему позвонил с вокзала.

— Ну его к дьяволу! Жаль только, что ты из-за такого подлеца пострадал. Смотри, будешь в Москве, кати сразу к нам, на Чистые пруды...

Эти теплые, дружеские слова обрадовали меня. Значит, не все еще охвачены психозом терроромании!

Приказа все еще не было. Больше десяти дней я не вытерпел в Архангельском. Ни прогулки по усыпанным снегом дорожкам, ни задумчивые сосны, ни каток не успокаивали меня. Захватив чемоданчик с рукописями, укатил в Киев.

Был конец декабря. Уходил заполненный большими радостями и горькими печальми 1936 год. И дома было невесело. Никто мне не звонил. Никто не звал в гости. И мы не приглашали никого. Не верилось, что под нами и над нами, во всех этажах большого дома на Золотоворотской, живут люди, с которыми столько лет был связан работой и борьбой. Казалось, что во всем холодном и безразличном мире я остался один.

Начался надлом, боязнь, недоверие. Надлом, который вскоре превратится в бездну. Боязнь, которая перерастет в страх. И

недоверие, которое перейдет в отлучение.

Встретили мы Новый, таивший в себе много неизвестного, 1937 год дома. На прошлой, гагринской, встрече было тридцать три человека, на этой нас было трое: мать, жена и я. Невольно подумал: а где и в каком составе придется встречать следующий год?

Заговор коварного криводушия

Киевская опера, хоть и не Большой, но все же столичный театр. И музы не молчат ни когда гремят пушки, ни когда звенят кандалы. Любая опера — место бойкое. Вот почему, когда накануне отъезда жена предложила сходить в ее театр, я наотрез отказался. Не хотелось встречаться ни с недругами, которые приюхивались ко мне, ни с друзьями, которые чурались меня.

Мы пошли в цирк. Взяли места подальше от ярко освещенной арены. Рыжие веселили публику, по мне было не очень весело. Вспомнил почему-то Митю Шмидта, в молодости мечтавшего стать клоуном и вызывать у людей смех, а не слезы.

Кончилось первое отделение. Зажглись мощные юпитеры. Я поднял глаза и... как раз против нас в правительственной, обитой красным бархатом, ложе увидел бледное, аскетическое, насупленное лицо Постышева. У него, как и у Шмидта, было пристрастие к цирковому искусству. Позади пепельного ежика секретаря ЦК столпились работники НКВД. Среди них мощными плечами и рыжей головой выделялся начоперод Соколов-Шостак. Что? Оберегали жизнь того, на кого, судя по сообщениям газет, коварные террористы точили ножи?.. Нет! Так караулят важного пленника! Но вряд ли Постышев предугадывал тогда, что он пленник, а Соколов, лебезящий перед ним, возглавляет его бдительный конвой.

Вот не пошел в оперу, а здесь, в цирке, увидел тех, с кем меньше всего хотел встретиться. Я решил сразу же покинуть цирк, а жене захотелось посмотреть второе отделение. Мы вышли в фойе. Стали в сторонке, где меньше всего толпился народ. Но что это? Тяжело переваливаясь грузным телом, прямо к нам шел Соколов-Шостак.

С вкрадчивой, иезуитской улыбочкой на сытом лице протянул руку.

— Вы не в Казани? А здесь слухом земля полнится, что вы уже трудитесь там.

— Слухи верные! — ответил я. — Завтра отбываем.

И действительно, из Москвы пришло сообщение, что приказ подписан наркомом. У нас все уже было готово к отъезду.

— Ну, желаю счастливого пути! — И снова рукопожатие с лицемерной усмешкой на лице.

Соколов-Шостак отчалил. Но удивительно, как это он безошибочно устремился в тот уголок фойе, где мы находились. Око видит, ухо слышит! И его демарш следовало расценивать так: «Знай, друг Шмидта, если ты и в самом деле держишь камень за

пазухой, то тот, кому это полагается, всегда начеку!»

Жена потащила меня к выходу. Но тут заупрямился я. Как расценят мое исчезновение? Не прошло и двух минут, и перед нами, прислонившись спиной к стене, появилась какая-то фигура: белые фетры в галошах, пальто с котиковым воротником, ушанка, черные цепкие глаза, правая рука в кармане. Глаза и уши!

Паренек, приставленный к нам Соколовым-Шостаком, не спускал с нас глаз. Я в курилку — он тут как тут. Пошли мы на свои места — он очутился вблизи на проходе. Мы вышли, оделись, покинули цирк. Нас провожали до Золотоворотской.

Я подумал — вот времена! Бывший петлюровский резидент Красовский-Ярошенко, доверенное лицо Соколова-Шостака, после моего ухода из Совнаркома втиснувшийся все-таки в Наркомпищепром, дышит сейчас полной грудью, а зацапавший его в Литинском лесу командир советского полка перешел на положение зверя, за которым охотится советское НКВД.

Прошла ночь. Но какая это была ночь! Наш поезд в Москву уходил после обеда, а утром я позвонил Якиру. Доложил ему, как обернулось дело, что вместо Ленинграда или Горького еду в Казань.

— Что же, дорогой товарищ, — мягким, растроганным голосом ответил командующий, — подчиненный предполагает, начальство располагает. Не огорчайтесь! Помочь вам ничем не могу. Теперь уж ваш начальник не я, а Фельдман.

— Спасибо вам и на этом! — ответил я.

Да, нам предстояло перекочевывать, покидать берега родного Днепра и искать приюта на неведомых берегах Волги.

Наши танкисты помогли нам собраться. Сдали вещи в багаж. Усадили в вагон. Провожали нас Зубенко и Хонг. Это были теплые, но грустные проводы. Из писателей, хотя среди них когда-то были друзья, никто не пришел. Не показался на перроне и Натан Рыбак — в прошлом, когда я работал в Совнаркоме и командовал танками, мой частый и желанный гость.

Нет, был еще один провожающий. В перронной толпе замелькал серебряный ежик. С танкистской фуражкой в руке, с мокрым лбом явился Николай Игнатов.

— Едва поспел — дела! Хоть однажды мне попало за тебя, может, еще попадет, а пришел. Совесть будет в порядке.

— Когда же это вам попало? — спросил Зубенко.

— Давненько это было. После боя у Янушполя Примаков дал мне жару. «Из-за твоих броневигов, застрявших в канаве, — кричал он, — вышибли из строя командира полка». Ну, ничего, — продолжал начальник бронесил. — Не забыть бы главное. Ты едешь в Казань, к Спильниченко. Я его знаю хорошо. Змея! Знаю и

тебя. Не скажу — клони голову, но не ершишь. Укусит...

Я вспомнил Любченко, который пришел на смену человеку большого характера и глубокого ума. А нынче, после командарма Якира, с кем придется работать? Ведь самое неприятное — это когда тебя наказывают дрянным начальником.

Уже засвистел паровоз, и в наш вагон, таща тяжелые чемоданы, ввалился Иван Никулин. Следом за ним шла его жена. Они только что сошли с проскуровского поезда и в последнюю минуту успели взять билеты на московский. Эта встреча обрадовала нас обоих. Наши судьбы складывались почти одинаково. И я, и он — мы оба являлись первыми, пока еще не кровавыми, жертвами ненасытного Перуна...

Тронулся поезд. Стойкий трезвенник Никулин пришел к нам с бутылкой цинандали под мышкой. Поздоровался с моей мамой, женой, с Володей. Раскупорив бутылку, потребовал стаканы. Устремив грустный взгляд в окно, из которого была видна днепровская даль, сказал:

— Ну, что, прощаемся, друг, с Днестром, с нашей пенькой — Украиной. Вытурили нас из нее. Вряд ли скоро вернемся сюда...

Выпили. Я спросил комбрига:

— Что, Иван, в далекие края, в Монголию, к потомкам Чингисхана?

— Дудки! — радостно выпалил Никулин. Расправил богатырскую грудь. Покачал мощной, крепкой головой. Его умные глаза засверкали, раздулись ноздри широкого носа.

— Как это понимать? — спросил я.

— Понимай как знаешь! Спрашивается, за что меня, рабочего человека, сняли с дивизии? Ведь я начал службу в червонном казачестве с председателя сотенной партийной ячейки. Кровью и горбом двигался со ступеньки на ступеньку. Дивизия моя никогда не сходила с первого места. А сейчас сняли «лучшего командира лучшей кавалерийской дивизии»... Это не мои слова. Их сказал Тимошенко. Помнишь — Сочи, шоссе на Мацесту?.. Я его за язык не тянул. Мало того — отцы партии вклеили стопроцентный выговор. А за что? Ездил с Примаковым в Китай. Раздувать пожар мировой революции. Между прочим, там я больше выполнял приказы Блюхера, не Примакова... Тебя прогнали с бригады за то, что пил чай со Шмидтом, меня — за Примакова. А посмотришь после, сколько хороших людей выгонят из армии за то, что пили чай и с тобой, и со мной. Да, я любил и люблю Виталия. Считаю, что его арест — ошибка или каверзы врагов и завистников. Знаю, что его не любят ни нарком, ни Буденный. Куда только смотрит Сталин?

Мать поднялась, прикрыла дверь купе. Наставительно внушала разволновавшемуся оратору:

— Послушайте меня, старуху. Против царя нельзя говорить даже в своем доме.

Желая переменить скользкую тему, я спросил Ивана:

— Все же, куда держишь путь?

Никулин наполнил стаканы:

— Качу в Хабаровск. Дальний Восток не Украина, а все же кругом будут свои, советские люди.

— Что? Передумал? — спросил я.

— Кто считается с нашими желаниями. Вот так оно повернулось. Якир меня оттолкнул, а вот нашелся другой человек, который подошел ко мне по-другому. Знаешь, в 1925 году Блюхер был главным советником при Чан Кайши. Вот тогда Блюхер попросил у Примакова, работавшего с Фын Юй-Сяном, прислать ему советника-кавалериста. Виталий направил в Нанкин меня. Из Нанкина, по рекомендации Блюхера, я попал в Кантон. Там китайские товарищи поставили меня во главе полка конных жандармов. Вскоре контрики, они назывались «бумажные тигры», подняли восстание. Я со своим полком расчехловил их в три дня. Получил много наград. Блюхер в шутку назвал меня «жандармским полковником», а кантонцы долго, до самой измены Чан Кайши, носили меня на золотом блюде... Володе нашему шел тогда шестой год, но он слушал рассказчика с разинутым ртом.

— Так вот, — продолжал комбриг, — был я недавно в Москве. В штабе встретился с маршалом Блюхером. Он спросил, как живу. Я ему все выложил как на духу. Сказал, что выгоняют в Монголию. Как будто с меня мало Китая. «А ко мне в Хабаровск поедете? Инспектором кавалерии?» — спросил маршал. Ну, как не поехать? Со всей душой. Блюхер велел мне идти за ним. Усадил меня в приемной Фельдмана, а сам к нему. Вернулся скоро, развел руками. Не дал согласия начальник кадров. Блюхер к наркому. И там был недолго. Пришел с нужной бумажкой в руках. Так состоялся мой перевод в Дальневосточную армию. Вот тебе Якир, а вот и Блюхер...

— Маршал — это одно, командарм — другое! — попробовал я успокоить возбужденного товарища.

— При чем тут чины? — ответил он. — Оба они члены ЦК. Одному плевать на всю шумиху, а другой чересчур держит руки по швам...

Я подумал: «А может, и прав мой друг?»

Никулин продолжал:

— После Фельдмана мы снова встретились с Блюхером в столовой Реввоенсовета. Поднес он мне бокал пива «за одоление

внутренних и внешних врагов». Тогда он мне сказал: «Знаете, «жандармский полковник», чем я взял наркома? Я ему рассказал о ваших делах в Кантоне, а он: «За прошлое спасибо ему, за нынешние грехи пусть расплачивается». А я ему: «Климент Ефремович! Мы готовим армию для войны, не для парадов и не для дискуссий. Так вот, не знаю, как покажут себя иные краснобаи, а Никулин будет воевать по-нашенски, по-большевистски». Нарком и сдался...

Я вспомнил, что и Якир, когда мы с ним говорили о Шмидте, сказал почти то же самое. Эти люди сквозь сумятицу и шумные сенсации дня смотрели далеко вперед... Мыслители!

Никулин умолк. Володя, наострив уши, тронул его за руку:

— Дядя! Рассказывайте еще...

Иван погладил мальчика по голове:

— Тебе все это в одно ухо входит, в другое выходит... Подрастешь, многое поймешь. Думаю, что вашему брату не станут вместо спасибо тыкать дулю под нос... Знаешь, что такое орден Ленина? Знаешь! Но вот что такое орден Ягоды, тебе еще не известно...

Я сказал, что Володя и теперь уже кое-что понимает. Поделился о нашем недавнем разговоре с ним. Накануне отъезда пошли мы с ним погулять, попрощаться с Киевом. Минувя людные улицы, свернули на Рейтарскую, Стрелецкую. Володя, в армейского образца бекеше, смушковой кубаночке, чувствуя себя взрослым, повел такую речь: «Послушай, папа! Вот мы жили в Харькове, потом поехали в Киев, из Киева снова в Харьков, из Харькова в Киев. Теперь мы едем в Казань. А из Казани поедem дальше. Что, я тебя не знаю?»

— О! — под размеренный стук колес с грустью произнес Никулин, — так твой парень настоящий предсказатель! Если так будет продолжаться, то я из Хабаровска, а ты из Казани поедem дальше. И знаешь куда? На Соловки!

— Типун тебе на язык! — возмутилась Ольга, жена комбрига, ударила его по руке. — Спрячьте бутылку, — обратилась она ко мне. — А то он сейчас раскипятится и наговорит сорок бочек арестантов...

Не зря Иван Никулин слыл у нас в червонном казачестве философом. Он обладал тонким чутьем. Этих бочек арестантов оказалось впоследствии не сорок, а сорок сороков. И кое-кто из пассажиров нашего купе в одну из них угодил... В том числе и Ольга Никулина...

Мы вышли с Иваном в коридор покурить. Из широких окон вагона были видны подернутые вечерней синевой густо заснеженные поля Нежинщины. Не доезжая станции Круты, перед

нашими глазами возникло историческое поле боя, на котором под сокрушительными ударами советских войск в январе 1918 года рассыпались контрреволюционные отряды «вильного козацтва» Петлюры.

— Я хоть и не писатель, как некоторые, — с издевкой начал Никулин, — а смотрю на вещи поглубже. По-ленински. Помнишь ленинское выражение: «Кому это выгодно?» Давай вспомним прошлое. Вспомним, с чего все началось. Взяли втихомолку и расправились с героем гражданской войны Гаем. Ни слова не сказали партии и народу. А Гай был на ножах с Буденным и Ворошиловым. Буденный и Ворошилов — кавалеристы. Командовал третьим конным корпусом Гай. Кого взяли в июне — августе? Кавалеристов Примакова, Шмидта, Туровского, Зюку, Кузьмичева. Кого прогнали сейчас с первой дивизии червонного казачества и с тяжелой танковой бригады? Кавалеристов. Думаешь, если бы тогда, в 1931 году, пошел на первую дивизию, то открутился бы. Дудки! Все одно слетел бы, как слетел я. Не забывают наши руководители старых споров. Червонное казачество сидит у них в печенках. Теперешние историки пишут, что главную роль сыграла конница Буденного под Воронежем. Кто спас Рим? Гуси!.. Отстояли, оказывается, Советскую власть две дивизии конного корпуса Буденного и Ворошилова, а что делали другие сто советских дивизий? Что делала Вторая конная армия дедушки Миронова, конный корпус Гая, конный корпус Думенко, конный корпус Жлобы, конный корпус Каширина, наш конный корпус червонного казачества? Ворошилов выскочил в наркомы — своя рука владыка! Сначала расправились с нашими кавалеристами горе-историки, а сейчас с ними разделяются иные — горе-чекисты... Эх, нет Дзержинского!.. С Примаковым, Шмидтом, Гаем, Туровским покончено. На очереди Каширин, Жлоба, другие... Вот посмотришь.

Да! Дружественная Монголия, куда главный кадровик армии Фельдман поначалу загнал было теперь уже опального «лучшего командира лучшей кавалерийской дивизии», — это, разумеется, не преисподняя. Но Дальний Восток, куда, по хлопотам Блюхера, теперь ехал Никулин, это не Монголия. И все же родная Украина, где родился наш философ и за которую он проливал свою кровь, — это не Дальний Восток...

Легендарный клинок отважнейшего сотника Ивана Никулина сверкал в боях за Львов, Харьков, Орел, Кромь, Перекоп, Стрый. Это Иван Никулин во главе отчаянных рубак червонного казачества летом 1921 года на Полтавщине, сшибаясь в кровавом сабельном ударе с отборным ядром черной конницы, нанес махновщине последний сокрушительный удар. Что и было

отмечено приказом Фрунзе.

Спустя пять лет в далеком Кантоне он разгромил восстание «бумажных тигров». Вот почему возглавлявшаяся им кавалерийская дивизия, в которой он рос с 1918 года, пошла бы за ним в огонь и в воду. Она верила, что Иван Никулин, как и первый ее командир Примаков, поведет ее от победы к победе.

Всем известна эта «философия» — ради целого позволительно жертвовать единицей. Когда идет речь о здравии коллектива, не считаются с зажимом отдельного человека... Но нередко удар по человеку обращается в удар по коллективу. И в данном случае это было именно так. Жестокая рука, лишая воинов их льва, опустошала и львиную душу боевого коллектива...

Кто-кто, а тридцативосьмилетний Никулин 1936 года вполне мог тягаться с любым дивизионным, корпусным, а то и армейским генералом Запада. Знания и опыт, тонкий ум и смекалка, уважение и авторитет если и придут к его преемникам, то не сразу. И за это придется платить. И кровью, и народным добром, и лучшими советскими городами, отбирать которые тоже будет нелегко...

С кончиков папирос, обраставших серебристым пеплом, бесконечной чередой вились струйки дыма, обреченные на недолгое существование, ибо вслед за умирающей струйкой уже рождалась и стремилась вверх новая.

Из окна открывался обворожительный вид на убегавшую назад местность. Лиловые сумерки скользили по снежным полям и лощинам. Их нежное прикосновение достигало окраин дремлющих деревень, раскинувшихся по бескрайнему сонному полю. В далеких окнах вспыхивали, как алмазы, золотистые огоньки. Сумерки наливались мягким ультрамарином.

— Дело — табак с антимионией! — тяжело вздохнул мой боевой друг. — И подумать только, кто нас теперь грызет — публика, не нюхавшая пороха. Да! Те, кого Советская власть вывела в люди, топчет людей, создавших Советскую власть.

И вот теперь, спустя много лет, вспоминаю старое. Неприязнь руководителей Первой конной армии к Примакову. Реплику Ворошилова: «Червонные казаки — башибузуки», недовольство Примакова, увидевшего в изданной мной и Савко «Истории червонного казачества» Ворошилова и Буденного. Злобные выпады Буденного даже после XX съезда партии против Примакова и червонного казачества в своих записках, опубликованных весной 1961 года в ростовском журнале «Дон».

На берегах Волги

После Москвы наш путь лежал прямо на восток. Теперь уже, решил я, на запад мне путь заказан. Казань — вот твой пункт назначения. А может, прав Никулин? Казань — новый, но не конечный пункт?..

Дважды срывались планы поездки на восток. Но разве в той ситуации было что-либо общее с нынешней? В 1925 году, за месяц до выпускных зачетов, вызвал меня начальник Военной академии Роберт Петрович Эйдеман. Почти все наши слушатели после учебы следовали к старым местам. Полагал и я вернуться в свою кавалерийскую бригаду в Изяславль. А Эйдеман предложил остаться на восточном факультете академии.

Роберт Петрович советовал крепко подумать, не торопиться с ответом, но чтобы решение было твердым.

В это же время Примаков, отправлявшийся с группой командиров в Китай, предложил мне ехать с ним: «Сечь хунхузов можно и одной рукой». На его глазах осенью 1921 года пулеметной очередью мне раздробило левое плечо. Китай — это было заманчиво, да еще для молодых сердец, нетерпеливо ждавших пожара мировой революции. Но я давно мечтал не о годичном курсе ВАКа, а об основательной учебе в академии. «Пожар мировой революции только разгорается, — ответил я своему бывшему командиру корпуса, — и я ей больше пригожусь с крепкими знаниями». Победил Эйдеман. Поездка на восток не состоялась по моей воле.

В следующий раз она сорвалась не по моей. В 1927 году, сразу после выпуска слушателей восточного факультета, явился в академию Примаков. Сказал, что едет военным атташе в Афганистан и хочет взять меня с собой в качестве помощника. Спросил, желаю ли я ехать в Кабул? Станный вопрос! А для чего же я корпел два года над учебниками, над картами восточных театров? Над арабским и турецким словарями? А тут Афганистан — экзотика, романтика, которые сами будут проситься на страницы будущей книги.

Прогуливаясь по академическому залу, Примаков жаловался:

— Два года назад Сталин мне говорил: «Скоро мы снимем усача с инспекции кавалерии. Это не по его плечу. Инспектором конницы будете вы». А сейчас вышибают меня из Москвы. Знаю — это козни Клина. Не терпит меня. И не меня одного. Его душа лежит только к конармейцам. Играет на том, что я колебался в 1924 году. Но ничего, в Кабуле надолго не застряну. Я уеду — останетесь военным атташе вы.

Все мои документы уже были оформлены. Ждали визы афганского посольства. Но вот 1 ноября нас срочно вызвали в штаб. Берзин приказал Примакову выехать 2 ноября в Ташкент и там ждать моего приезда. «Такова воля начальства», — сказал начразведупра. Мы проводили Примакова с Казанского вокзала, а 3 ноября вызвали меня снова. Берзин объявил: «В Кабул не поедете. Почему? Вы долго работали с Примаковым. Там будете с ним день и ночь вне партийной среды. Он кое в чем не согласен с нынешней линией, может повлиять на вас. А мы дорожим каждым членом партии...»

Итак, поездка в Кабул не состоялась по воле начальства, и по его же воле я теперь ехал на восток, в Казань.

У Зеленодольска под колесами поезда загремели настилы моста. Волга! Скованная морозом, густо заснеженная, почти сливаясь с окружающей местностью, она терялась в синеватой мгле. Такой же невнятной, неразгаданной мглой было окутано и мое будущее.

* * *

Я представился начальнику школы комдиву Семену Аввакумовичу Спильниченко и замполиту Степану Ильичу Князеву. Прапорщик военного времени, невзрачного вида, тощенький, с седеющей бородкой клинышком, черными глазами-буравчиками, Спильниченко мало походил на военного. Под стать ему был и Князев, как потом я узнал, земляк Чапаева, — мешковатый увалень с флегматичным, застывшим лицом.

Никаких расспросов о самочувствии, о здоровье, о дороге. Никаких улыбок, ни грамма человечности, ни капли тепла.

— Все нам известно! — пощипывая прокуренными костлявыми пальцами бородку, сделал вступление начальник школы. — Здесь, правда, не тяжелая танковая бригада, но работы для вас хватит. Если возьметесь за нее как следует, — ядовито добавил он, — времени на политику не останется... — Спильниченко перевел взгляд на своего замполита. — Я этого Митьку Шмидта, подлеца, хорошо знаю...

«Вот она, змея!» — вспомнилось напутствие Игнатова.

— Какую политику имеете вы в виду? — вырвалось у меня. — Я раньше занимался и впредь буду заниматься той политикой, которую диктует нам партия. Шмидт виноват — его взяли. Я не виноват — остался служить...

— Ладно, — Спильниченко положил обе руки на стол. — Как говорится, кто прошлое вспомнит, тому глаз вон... А вот это

совсем уже нехорошо. Ждали мы вас еще в ноябре, а вы где-то там прохлаждались...

— Товарищ комдив! — тут уже я решил шпырнуть его за «политику» и за Шмидта и сразу же отбить у него охоту умничать. — Всю жизнь я торопился, а куда я попал?

— Как куда? — вскочил с места начальник школы. Князев укоризненно покачал головой.

— Все же Казань не Киев, — ответил я. — Там мы все многому учились у Якира, а чему научусь у вас, пока не знаю...

Мой начальник опешил. Снова повалился в свое просторное кресло, напоминавшее трон удельных князей. Не стал возражать. А вдруг услышит и не такое. Уволить, выгнать? Дудки! Приказ наркома. Работай с теми, кого тебе дают. За него ответил Князев:

— Там вы учились у Якира. Здесь будете учиться у Дыбенко, Кутякова. Тоже герои гражданской войны. Кутяков — талант, наш чапаевец.

— Но они в Куйбышеве, не в Казани... — ответил я.

Когда я уже был у дверей, до моего уха донеслись слова Князева:

— Разве так можно, Семен Аввакумович? Ведь он пока еще член партии!

«Пока», — звенело долго в моих ушах...

С людьми я беседовал отдельно. Знакомился с их подготовкой, биографией. Многие рассказывали ее откровенно, другие мялись.

На столе — стопка личных дел. Они не расскажут всего, но раскроют многое. Здесь весь перечень подвигов, но не весь список «хвостов».

Почти за каждым тянулся свой «хвост». Один служил у Колчака, другой привлекался по делу Промпартии, третий имел брата за границей. Преподаватель Андреенков откровенно писал — в 1919 году он верил, что Россию может спасти только Деникин. Под его знаменами он шел с Кубани до Орла и от Орла до Перекопа. Полковник Келлер — начальник огневого цикла. Его отец, в прошлом начальник Варшавской дороги, собутыльник царя Александра III. Сын долго хранил царский портрет с именной надписью.

Таковой была верхушка школы. Она обучала! Она воспитывала! Давала пример! Я знал, что в армии еще существуют кадры с пестрым и путаным прошлым, но не думал, что здесь, в одном месте, в одном учебном заведении, мог сохраниться такой «чудесный» букет.

Отношения с Князевым наладились. Замполит не побоялся даже позвать меня к себе домой на чашку чая. А мы со

Спильниченко — как собака с кошкой. Я нажимаю на преподавателей — он берет их под защиту. Я отдаю распоряжение — он его отменяет. Требую выноса большинства занятий в поле — он говорит: «Класс!»

Однажды его вызвали в округ, в Куйбышев. Своим приказом он оставил за себя Князева, не меня — его первого заместителя. Это уже был откровенный вызов, плевков! Но что я мог делать? Ничего! Армия, приказ. И к тому же — «штрафник»...

Стояли злые, морозные дни. Дули январские сухие ветры. С Камы, от Лаишева, налетала студеная метель и, ударившись о высокий забор каргопольского городка, шла на Суконную слободу. Это не была сердобольная и отзывчивая киевская зима.

В Москве судили Пятакова и Радека. Газеты называли Пятакова «дьяволом в образе Христа», «демоном лжи». Будто, размещая за границей заказы, он летал в Осло к Троцкому. Газеты твердили, что главную опасность представляют не бывшие князья, главари белогвардейщины вроде Кутепова, не принцы крови вроде Кирилла. Опасность таилась среди нас, в нашей партии, и в особенности среди ее старых кадров. Подтверждая это, пресса писала, что якобинское прошлое Наполеона не мешало ему поднять меч против всего якобинского, демократического.

Процесс был в Москве, а гнев народа — повсюду. И в Киеве, и в Казани, и в Хабаровске, в рыбацких поселках Беломорья и в просторных станицах Кубани.

Я сел за письменный стол. Развернул рукопись «Танки прорыва». Набросал несколько чертежей, стал вычислять шаг артиллерийской завесы, прикрывающей танковый вал. Замелькали углы падения и углы отражения, синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы, вся кабинетная теория, не проверенная еще живым опытом.

И вдруг я вспомнил, что помимо мира вычислений и цифр есть еще реальный мир фактов и грозной действительности. Будут прорабатывать очередной процесс, и Спильниченко первый не обойдет меня — «замеченного».

Снова, как и под Чернобылем, вспомнил я о пистолете. Нет, это не то!

Февральский Пленум ЦК! Вот кто отрегулировал все вопросы и поставил точки над «и». Я с нетерпением дожидался слова Сталина. И он его сказал: «Нельзя давить и хватать человека только лишь за то, что он прошелся по одной улице с троцкистом». Эти окрыляющие слова согрели в те тяжелые дни не одно страдающее сердце. Они сыграли ту же роль, как в недавнем прошлом статья «Головокружение от успехов».

Резко изменилось ко мне отношение в школе. Неузнаваемым

сделался Спильниченко, иными стали те, кто, подхалимствуя перед ним, сторонились меня. Начал я выполнять и партийные нагрузки, чего раньше мне не доверяли.

Приехал из Куйбышева Дыбенко. Позвали и меня в кабинет начальника школы. Богатырь командующий, с короткой черной бородкой, простак в обращении, рассказывал, как вызвали в Москву его предшественника Тухачевского и арестовали в пути в его же салон-вагоне. Хвалился, как он, Дыбенко, пригласил к себе в кабинет своего первого заместителя Кутякова, а там, спрятавшись за портьерами, уже ждали работники НКВД. Будто Кутяков уже сознался во всем. Да, он, будучи командиром стрелкового корпуса в Москве, блокировался с Рыковым и Бухариным. Хотел помочь им захватить власть, а потом убрать их и самому воспользоваться плодами победы. Новый Наполеон! От всего этого веяло фантазией, но всем был известен резкий, прямой, неустрашимый язык бывшего чапаевца...

Дыбенко меня узнал. Вспомнил 1927 год, Воздвиженку. Москвичи толпами возвращаются с парада на Красной площади. В окнах квартиры Каспаровой над приемной Калинина выставлен портрет Троцкого. Дворники и милиция железными кошками с крыши пытаются зацепить портрет, а Зиновьев и Каменев, защищая его одной рукой, другой тянут на себя кошки. В народе издевательский смех — бесплатный цирк! А тут, спускаясь с Воздвиженки, с пением «Интернационала» показывается колонна троцкистов. Появляется, стоя в открытой машине, секретарь МК усач Угланов. Мобилизует народ против троцкистов. Дыбенко, раскинув широко богатырские руки, зовет нас, выпускников академии, к себе. Быстро возникает, все уплотняясь и уплотняясь, заслон. Демонстранты не дошли и до Манежа. Какой-то восточный человек, разъярившись, чуть не свернул голову известному фельетонисту Сосновскому. Выйти на улицу против партии — это подлость, но заниматься убийством тоже не дело. Мы вырвали Сосновского из рук горячего человека...

Да! Колоссальную услугу оказал тогда партии, Сталину бывший матрос на подступах к Манежу. И еще немалую услугу окажет позже, спустя два месяца, когда в составе скорого судилища отправит на плаху лучших полководцев страны. Но и эти услуги не спасли Атланта, своими могучими плечами поддержавшего здание сталинского купола. Его судьбу в своем последнем слове предскажет Примаков. Интересно лишь одно, какие фантастические обвинения будут предъявлены бывшему председателю Центробалта, пославшего по требованию Ленина «Аврору» в устье Невы? Что? Тоже Наполеон? Нет! Он, Павел Дыбенко, готовил «антисоветский поход Волга — Москва».

Автором чудовищного домысла был комдив Спильниченко. Пока он штамповал для меня ярлык за Якира, другие штамповали для него ярлык за Дыбенко...

Кто представлял собой центральную фигуру начсостава? Командир-работяга! Но уже тогда выделялись отдельные экземпляры, думавшие больше о своем благополучии. Они обзаводились дорогими ружьями, из которых не стреляли. Покупали «лейки», которыми не снимали, баяны, на которых не умели играть.

Но истинную сокровищницу своего народа обходили стороной. Боялись ее. Чичиков — это была лишь фамилия командира полка соседней дивизии. Стендаль — это уменьшительное от слова стенд. Меринг, Энгельс, полученные при окончании разных курсов, стояли на полках не разрезанными. В политике — им давал курс их помполит. В военном деле — грамотный начальник штаба. Недостаток ума они восполняли чванством. И, забыв про скромность, упивались восхвалением своих мнимых заслуг.

Со своими женами, проснувшись, говорили о блохах, тревоживших их. О ценах на яйца и молоко и о том, что можно вырвать из подсобного хозяйства, выклянчить у шефа, достать в военторге.

Они постоянно искали наслаждений и неизменно залезали в грязь. Они думали, что их покой и благополучие оплачены их кровью. А они были оплачены кровью других. Заботясь исключительно о собственном благе, они постепенно воскресили то самое свинство, против которого боролся народ во время гражданской войны. И было что-то страшное во всех пороках этих важных с виду начальников, и не столь страшное своим действием, как своим примером.

Эти пороки ждали своего бича! Но бич, увы, прошелся не по ним.

С февраля по апрель я жил по-настоящему. Как будто вернулось полное доверие. Послали меня на районную партийную конференцию. Там выбрали в президиум и даже в счетную комиссию. Сидел на эстраде и слушал, как разносили местных «врагов народа», но здесь не я был объектом критики...

С редактором газеты «Красная Татария» Беусом нашлось много общих знакомых. Договорились с ним, что буду давать в месяц три подвальные статьи. Первая из них — «Священный долг» — была напечатана в первомайском номере. Но если человек получает ранение и после длительного лечения забывает о нем, то рубец от раны остается на всю жизнь и при дурной погоде дает о себе знать.

Вывести школу на парад Спильниченко поручил мне. Раньше сажали слушателей в машины и провозили их мимо трибун. Я против этого восстал. Начал готовить людей к строю. Затребовал у хозяйственников белые перчатки. На протяжении двух недель на плацу Каргопольских казарм строго муштровал вместе со слушателями обленившихся преподавателей. Кое-кто уже наушничал перед начальством: зряшная затея! Никому не нужно новшество! Человек забыл, что это техническая школа, не танковая бригада!

На сей раз Спильниченко устоял. Не стал мне мешать. Помню, во время строевых занятий над ухом гудел репродуктор: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Да, в последние месяцы стало легче дышать, но недавняя партконференция убедила меня в том, что многим в нашей стране дышалось очень и очень нелегко...

Приходил два-три раза на плац начальник Особого отдела гарнизона капитан госбезопасности Гарт — самодовольный, упитанный малый. Назвав себя любителем изящной словесности, он хвалился своей богатой библиотекой.

На парад вывели татарскую дивизию Чанышева, школу Кирпоноса. Они прошли мимо трибун первыми. Затем двинулись мы, печатая четкий шаг и широко размахивая руками.

Миновав трибуну, я завернул и встал, чтобы пропустить школу. Глядя на выпяченные груди и гордо вскинутые головы танкистов, в новой форме, в белых перчатках, вообразил, что это проходит в пешем строю Киевская бригада тяжелых танков.

Жена Спильниченко сказала мужу:

— А все же наша школа прошла лучше всех.

— Да, моя работа! — похвалился Спильниченко.

Все это было хорошо. Но все же не то, что на прошлом первомайском параде в Харькове.

Редактор Беус прямо с площади позвал нас с женой к себе. После обеда поехали в лес. Но и казанские леса показались мне беднее наших, киевских...

Однажды в кабинете Беуса я встретился со вторым секретарем обкома Мухамедзяновым — совсем еще молодым, довольно галантным человеком. Сказал, что восхищен блестящей выучкой школы. Но это уж была чисто восточная лесть, повосточному, не без умысла, пущенная в ход.

От Мухамедзянова узнал, что готовится для Москвы на русском языке антология татарской прозы. Он попросил меня отредактировать сборник и написать к нему вступление. Я согласился.

После пленума ЦК появилась возможность работать, не

огорчаясь докучливыми мыслями. И надежды — эти сладкие бабочки мечтателей — делали приятным труд.

Тревоги и неустройство, которые еще не так давно мешали не только работать, но и жить, стали постепенно забываться. Пришла тишина. Наступило спокойствие. Но тишина была обманчивой, а спокойствие — ложным. Слова, сказанные Сталиным на пленуме, имели одну цель — убаюкать «врагов», в отношении которых коварно и исподволь готовился разящий удар.

Об этом я уже узнал позже от Князева. Руководство республики давало обед участникам парада. В список был занесен и я, но по требованию Гарта, «любителя изящной словесности», меня из списка вычеркнули как «соучастника» Шмидта.

Расправа 1937 года с миллионами лучших людей партии, советского народа расценивалась как величайший успех на фронте. Были даже такие «глубокомыслящие философы», которые писали: «Великая победа Сталина над фашистами в 1945 году началась с великого поражения заговорщиков в 1937-м».

И чем хвалились сталинские «философы»? Вооруженные до зубов, раскормленные ежовцы и бериевцы истребили сотни тысяч безоружных, невинных, до последнего вздоха преданных народу, партии, советскому строю прекрасных людей. Какая же это победа? Какой тут успех?

И вдруг выдохся антициклон. Затихли теплые ветры, обогревшие ненадолго человеческие сердца. Вырвавшись с дьявольским напором из преисподней, задул жестокий беспощадный циклон. Захлестнув собой всю необъятную нашу страну, он причинил ей множество непоправимых бед. И если обычный циклон, сея на каждом шагу горе и разрушение, походя срывал с домов кровли, то этот, особенный, походя срывал с людей головы. И чем ценнее была голова, тем меньше шансов было у нее уцелеть.

В армии эта новая, губительная для нее вспышка началась с необычного чепе. Если в каком-нибудь гарнизоне, пусть в самом отдаленном и глухом, прогремел выстрел самоубийцы, туда немедленно скакал старший инспектор ПУРа, чтобы на месте расследовать обстоятельства чрезвычайного происшествия. А тут на всю страну прогремел выстрел самого начальника ПУРа — высшего политического руководителя Красной Армии, ее первого коммуниста, чья жизнь и поступки, по заветам Ленина, должны были служить образцом.

29 мая 1937 года застрелился Ян Борисович Гамарник — старейший деятель украинского революционного подполья, лидер киевских большевиков периода острейшей борьбы с Центральной радой. В 1919 году — член Революционного Военного совета Южной группы, совершившей под командованием Якира героический поход по тылам врага.

Покончил с собой, вскрыв себе вены, философ античного мира Сократ. Во имя чести прибегали к харакири японские самураи. Но любое самоубийство осуждается коммунистической моралью. И тем не менее в тот год прибегали к нему многие большевики. И среди них далеко не рядовые члены партии: в феврале — Серго Орджоникидзе, в мае — Ян Гамарник. Да, человека так зажимают обстоятельства, что ему гораздо легче умереть, нежели жить!

Все же — почему Гамарник покончил с собой? Что? Боялся заслуженной кары за совершенное зло? Передавал военные тайны Гитлеру? Хотел свергнуть Советскую власть и вернуть власть капитала, как об этом говорилось в официальной версии? Нет! И XX съезд партии, и XXII отменили эти гнусные, бесстыдные наветы против того, кто, многократно рискуя головой, устанавливал Советскую власть. Значит, остается другое. А что? Гамарник со своего высокого поста видел, сколько уже «наломали дров» и сколько их еще будет наломано впереди. Он не давал санкции на

снятие меня с бригады, он видел, как были брошены в тюрьмы заслуженные герои гражданской войны — Примаков, Шмидт, Туровский, Зюка, Саблин. И знал, что такая же участь ждет многих других. Не имея возможности приостановить разбушевавшийся черный буран сталинизма, как и Орджоникидзе, не захотел нести ответственности перед историей за уничтожение ленинской гвардии. И в то же время он не мог возражать против страшного поворота сталинского курса. Ведь тогда любое несогласие со Сталиным рассматривалось как несогласие с партией, с Советской властью, с народом.

Мог ли он, начальник ПУРа, позволить себе своим выступлением в защиту невинно осужденных внести разлад в армию, в партию? Нет! Ему было дорого единство партийных рядов. Но и отвечать за сталинский произвол он и не хотел, и не мог. Оставалось одно — покончить с собой. Выстрел Гамарника явился протестом против чинимого в стране беззакония.

У нас в танковой школе шли выпускные экзамены. Пришлось много времени проводить в классах, аудиториях. Вечерами работал дома. Писал статьи для «Красной Татарии», выполнял задание секретаря обкома Мухаметзянова, трудясь над антологией татарской прозы. Выстрел Гамарника взволновал меня, как и всех армейских коммунистов.

9 июня газеты сообщали, что командующим войсками Московского военного округа назначен С. М. Буденный. Ясно было, что в верхах идут какие-то крупные перемены. 12 июня, утром, я сидел за столом с матерью и сыном. После завтрака предстоял выезд на танкодром — там проводился экзамен по вождению.

Радио, передававшее отрывки из музыки Чайковского, ненадолго умолкло. И вновь в репродукторе зазвучал, на сей раз грозный, голос:

«Особое присутствие рассмотрело дело участников контрреволюционного антисоветского военного заговора — бывшего маршала Тухачевского...»

Кусок бутерброда застрял у меня в глотке. Это — новое! Значит, Гамарник — это еще не все! Тухачевский... Пензенский дворянин... Обиженный... Это он, встретив Шмидта в Наркомате обороны, сочувственно ему сказал: «Митя! Обижает нас нарком...»

Все это пронеслось в голове как молния... Радио продолжало: «...Якира»...

Я невольно вскрикнул. Мать переполошилась: «Что с тобой?» Злая тоска сжала сердце. Стало трудно дышать, закружилась голова... Не может быть! Якир... Член ЦК! Преданнейший сын партии, надежда наркома... «вождь Красной Армии!», как назвал

его Ворошилов на банкете с турками. «Кость от кости, плоть от плоти рабочих и крестьян»...

Но обмана быть не может. И ослышаться я не мог. Радио ясно оповестило — «Якира». Словно сквозь сплошной туман, я услышал: «...бывшего командующего Белорусским военным округом Уборевича. ...Бывшего командующего Московским военным округом Корка... Примакова — бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом... Бывшего председателя Осоавиахима, бывшего начальника Военной академии имени Фрунзе Эйдемана... Бывшего военного атташе в Англии Путны... Фельдмана — бывшего начальника Главного управления РККА...» Всего было казнено восемь человек.

Какой потрясающий удар для нашей армии! И это в напряженные дни подготовки к борьбе не на живот, а на смерть со страшным врагом! Что им нужно было? Для чего они все это затеяли?

...Значит, Шмидт — это было только начало. Туровский и Примаков — продолжение. А завершение всего — Якир... Какой ужас! Ум не в состоянии постичь всего... Какой кошмар... Водоворот... И я, мечтавший лишь о творчестве, о работе во славу партии, Красной Армии, — в волнах этого водоворота!

Можно было отмежеваться от Шмидта! Обстоятельства свели меня с ним в Вышгороде. Но Якир! Я его уважал, чтил. Якир меня подымал и поддерживал. Пусть я не знал ничего о второй, изнаночной жизни Якира, но раз была причина, должно быть и следствие!

Мама замкнулась в себе. Она никогда не занималась самообманом и пустословием. Она знала, что молчание — это камень. Но тогда слова были тяжелей камней. Не было тех слов, которыми можно было бы заговорить проникшее в наш дом горе. Я только чувствовал на себе постоянный теплый взгляд ее наплаканных глаз.

После обеда, совершенно подавленный свалившимся на меня горем, я ушел из дому. Зашагал по направлению к Архиерейской роще. Не замечая ее изумительной красоты, пересек ее, вышел на опушку. Впереди находилось древнее кладбище. Направился туда. Обессиленный, опустился на густую траву, лег между выщербленных надгробных плит. Сердце рвалось надвое. Голова горела от напора противоречивых дум.

Я не таил ни в сердце, ни в уме никакого зла. Я был потрясен. Неужели возможно такое иезуитское вероломство? Много лет преклоняться перед величием витязя, а потом, в один день, в одну секунду услышать, что это низость изувера, а не величие витязя!

Какая-то непреклонная сила внушала мне гнев против

Шмидта и тех, кто был причиной моих бесконечных бедствий. Какой-то голос нашептывал — они мечтали о потрясениях, а ты желал создавать. Они хотели смуты, а ты рвался к творчеству. Они готовились к схватке с партией, а ты — к схватке с врагом.

Сегодня мне говорят: «Якир изменник». А вчера я еще верил: Якир — это светлый человек. Где же тогда добродетель, а где порок? Где праведники, а где отступники? Где грань между добром и злом?

После Шмидта была Казань. После Якира будет казнь. Так думал я, мучительно переваривая последнее радиосообщение.

Страшный вихрь, поднятый промчавшимся экспрессом, подхватывает массу мелких песчинок, срывает их с места, увлекает их за собой. Они не вихрь, они не экспресс — эти песчинки, но они летят вместе с ним, и они уже не пыль — они тоже движение!

Наступит, наступит расплата! Но каковой будет она? И за что расплата? За уважение к командующему, за его внимание ко мне? И тут же возникали в голове и иные думы. Ну, допустим, у Шмидта были колебания, он считал себя обиженным. А Якир, Туровский, Уборевич, Корк, Эйдеман? Они всегда и прочно стояли за генеральную линию партии, боролись за нее против Троцкого, против иных оппозиций. Никто их не обижал. Якира, напротив, недавно еще прочили в начальники Генерального штаба, в заместители наркома.

Вспомнил заседание Комиссии Оборона в Киеве. С какой любовью, возвращаясь из Москвы, Якир говорил о Сталине. Так восхищаться может лишь горячо любящий сын своим хорошим отцом. Что же это? Подлость одного или вероломство другого! Мог ли Гитлер завербовать сразу столько крупнейших деятелей Красной Армии? Такая удача не выпадала на долю ни одной разведке. Вспомнил слова Ивана Никулина: «Никогда не поверю, чтобы Примаков стал гитлеровским шпионом!» Тогда что же? Если они все уличены в каком-то сговоре, следовательно, они наверху видели то, что нам, низовым работникам, было недоступно. Значит, они из чистых побуждений стремились к каким-то изменениям. А может, эти черные шары баллотировки на XVII съезде партии? И эти черные шары подозрительным умам стали мерещиться страшными бомбами. Может, Сталин напуган похвальбой Троцкого, заявившего там, в Норвегии, что Красная Армия пойдет за ним? Ведь нашелся такой «рачительный» любитель патефонных пластинок, который выбросил за окно целую коробку иголок только лишь потому, что он случайно обронил в нее играную иголку.

И если так пойдет дальше, дело не ограничится этой

восьмеркой. Полетит еще не одна голова...

И вдруг я мысленно унесся в мрачный подвал — место совершения казней. Перед моим взором предстал Якир. Бледный, подавленный, убитый, ни в чем не виновный перед партией, перед народом. Бессильный доказать свою невиновность, но еще сильный достойно принять незаслуженную казнь. Его думы — всю жизнь отдать народу, а теперь, обещанному, пасть от руки своих. Трагедия Кочубея... «Царем быть отдану во власть врагам царя на поругание. Утратить жизнь — и с нею честь, друзей с собой на плаху весть...» Куда там Кочубей!

Теперь уже, после XXII съезда партии, мы знаем, с каким эпическим героизмом и мужеством уходил из жизни Якир. Умирая по велению Сталина, он воскликнул перед смертью: «Да здравствует Сталин!» Где же здесь была подлость и где вероломство?

Сгущались сумерки, а я все еще лежал среди могильных плит. Среди мертвых я думал о своих друзьях, как о живых. Их пепел стучал в мое сердце.

Вспомнил Якира со скрещенными руками на груди, нервно шагающего по ковровой дорожке кабинета. Мне стало ясно — он храбрился, а на душе у него уже тогда было тревожно. «Ни от кого в ЦК и никогда я не жду укоров!» Но дело закончилось не укором, а генеральным прокурором!

Фейхтвангеровский прокурор, решая судьбу еврея Зюса, мог, наконец, отомстить пройдохе, из-за которого потерял любимую дочь. Но он, являясь не тем, кто бесстыдно жонглирует законами, а их верным слугой и блюстителем, сказал: «Зюс не виновен!» Хотя пришедшие к власти князья домогались иного.

Жена тувинского поэта Сары-Оола, Мария Давыдовна Черноусова, рассказывала нам в 1960 году в Дубултах: весной 1938 года по просьбе комсомольцев Прокуратуры СССР Красиков готовил доклад к ленинской годовщине. Вышинский сказал: «Доклад сделаю я». Когда об этом сообщили Красикову, старый большевик заявил: «Хорошо, пусть делает доклад тот, кто всю жизнь боролся против Ленина. Тот, кто, будучи начальником милиции Москвы, в июле 1917 года подписал приказ об аресте Ленина». Ночью Красиков повесился.

Прокурор — закон. Но этого нельзя сказать о Вышинском. Самый милосердный суд приговорил бы его к виселице. И не только за десятки тысяч невинно казненных и миллионы невинно осужденных советских людей. За его гнусную прислужническую теорию «эвентуальной вины». За то, что он советский, самый человечный закон поставил на службу самому античеловечному беззаконию.

Не сумев арестовать в 1917 году Ленина, этот милицмейстер Керенского, став прокурором Сталина, спустя двадцать лет расправился с бесчисленным числом лучших ленинцев.

Вернулся я в Каргопольские казармы ночью. Твердо знал, что кого-кого, а меня не оставят в покое, и вот тогда я решил — что бы мне не предъявили, не отступлюсь от правды. Использую весь запас данных от природы человеку средств, кроме подлости и лжи, чтобы устоять перед ожидавшим меня поединком.

Не зря же мне сказала тогда в оперетте Мария Данилевская: «Большевики борются за правду».

Надо устоять и рассказать, когда придет время, о тех страшных днях, которые потрясли нашу Красную Армию и растрясали ее лучшие кадры.

...Потянулись тяжелые, черные дни. Дни жуткого томления и сверхчеловеческих мук. После ненадолго оживших надежд пришла злая безысходность.

Газета «Красная звезда» в передовой за 12 июня писала:

«Народный Комиссариат Внутренних дел под руководством Генерального комиссара государственной безопасности товарища Ежова вскрыл осиное гнездо фашистских шпионов и изменников...

Подлые мерзавцы, потерявшие человеческое обличье, систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения о состоянии Красной Армии, вели вредительскую работу по ослаблению мощи Красной Армии, пытались подготовить на случай военного нападения на СССР поражение Красной Армии.

Чего хотела эта подлая, преступная шайка фашистских негодяев? Они хотели уничтожить социализм, ликвидировать советский строй, свергнуть рабоче-крестьянское правительство и восстановить капитализм... Под водительством своего любимого наркома Маршала Советского Союза товарища Ворошилова Красная Армия пойдет к новым и новым победам. Проклятие изменникам! Шпионам и предателям нет пощады!»

Газета сообщала и состав специального судебного присутствия Верховного суда СССР, судившего «заговорщиков». В него входили: председатель Ульрих, члены — Буденный, Алкснис, Блюхер, Шапошников, Белов, Дыбенко, Каширин, Горячев.

12 июня «Правда» напечатала стихи Демьяна Бедного:

*Все эти Фельдманы, Якиры, Примаковы,
Все Тухачевские и Путны — подлый сброд!
Они пытались фашистские оковы
Надеть на наш Союз, на весь родной народ!
...От гадов мерзостных мы не оставим пепла...*

Спильниченко находился снова в Куйбышеве. 14 июня, на траве за главным корпусом, собралась наша школа. Приказ наркома № 96 от 12 июня 1937 года читал я:

«...Мерзкие предатели, так подло обманувшие свое правительство, народ, армию, уничтожены... Бывший замнаркома обороны Гамарник, предатель и трус, побоявшийся предстать перед судом советского народа, покончил самоубийством... Гамарники и тухачевские, якиры и уборевичи и прочая предательская падаль, лакейски служившая капитализму, стерта с лица земли, и память о них будет проклята и забыта».

15 июня вернулся из Куйбышева начальник школы Спильниченко. Вызвал меня к себе. Радостный, веселый, оживленный, протянул мне бумагу. Это был приказ № 82, подписанный Сталиным и Ворошиловым. Я его прочел. Вождь партии и вождь Красной Армии обращались ко всем, кто знает за собой какую-либо вину перед партией и Советской властью, явиться с повинной. Всем добровольно явившимся гарантировалась не только неприкосновенность, но и оставление в рядах Красной Армии.

И что же? Являлись те, кто много лет назад голосовал за оппозицию. Поверили в слово вождей. Сначала их не трогали, а потом все же посадили. Вот до чего были напуганы наши руководители пустословием Троцкого!

— Вот вы хвалились Якиром, — язвительно сказал Спильниченко. — А что получилось? За службу со Спильниченко навряд ли вам придется отвечать, а за близость к Якиру — еще не известно.

Укусила все-таки змея!

— Не кажи гоп, пока не перескочишь! — ответил я комдиву.

— Вот именно! — согласился он со мной.

Спильниченко вынул из ящика стола шифровку. Почему-то не выпуская ее из рук, дал мне прочесть. Телеграмма, подписанная новым начальником кадров РККА Булиным, вызывала меня в Москву, к наркому, на 16 июня 1937 года.

Да! Дистанция немалая — нарком и замначальника провинциальной школы. Член Политбюро и рядовой коммунист. Маршал и полковник. Но прошлая близость к казненным — Якиру, Шмидту, Примакову, втянув человека в поле зрения блюстителей закона, влекла его все ближе и ближе к бешено завертевшемуся конусу водоворота.

Экран локатора тревожно затрепетал... О, очевидно, теперь уж не пойдет в счет ничто. Ни годы гражданской войны, ни разгром опаснейших банд, ни тяжелые ранения, ни вклад в дело обороны, ни награды, ни благодарности. Ни пылкие слова, ни

горькие слезы.

Вступал в свои бесправные права тяжкий 1937 год. В 1935 году мы все жили подготовкой к большим Киевским маневрам, а потом и осваиванием их замечательных итогов. 1936 год был продолжением предыдущего.

Такие славные свершения в 1935 и 1936 годах и такой бесславный финал в 1937 году! И разве для этого в те годы напряженнейшего труда наша армия выдержала экзамен перед страной, а наша страна — перед всем миром? Перед миром, в котором звучали голоса не только наших друзей, но и смертельных врагов, день и ночь точивших свои хищные когти...

После процесса Тухачевского, не раз возвращаясь мыслями к особому ЧП, пришел к выводу, что Гамарник, человек глубокого ума, предвидел судьбу всех крупных деятелей ленинской эпохи и решил лучше получить пулю в лоб у себя дома, нежели получать ее в подвалах Ежова.

Но почему Гамарник, если он так болел за армейские кадры и, как видно по моему личному делу, довольно смело выступал в их защиту, не сумел в этом вопросе договориться с Ворошиловым — «железным наркомом», «вождем Красной Армии»? Неужели судьба этих кадров, соратников по гражданской войне, была безразлична Ворошилову? С кем же он собирался бить обнаглевшего Гитлера? Ведь и царская армия знала кроме мордобойцев и кутил настоящих отцов-командиров, которые потцовски пеклись о своих подчиненных.

Почему? Гамарник, видно, знал это тогда, а мы узнали сейчас. Незадолго до XXII съезда партии отмечался юбилей старейшего большевика Петрова. Ворошилов, выступая с трибуны, сказал: «Многие удивляются, как это мы, старая гвардия, уцелели во время разгула сталинских репрессий? Отвечаю — надо было иметь здравый смысл и военную хитрость!» Вот и разгадка всего секрета! Военная хитрость наркома Ворошилова заключалась в том, чтобы подтолкнуть под нож лучших полководцев, героев гражданской войны, а самому уцелеть. Выходит, что здравый смысл был только у наркома, а остальные были без здравого смысла и хитрости. Большевики, которые в революцию здраво мыслили, в эпоху разгула репрессии оказались на положении ягнят?

Сказал бы это командир взвода — другое дело, а то нарком, кому страна вверила жизнь и честь своих лучших сыновей.

Никита Сергеевич Хрущев сказал с трибуны XXII съезда: «Мы должны и можем сказать партии и народу правду». И она сказана — Гамарник не был гитлеровским шпионом, и не был он врагом Советской власти. Так почему же он застрелился? Вот

этого партии и народу не сказано. Обстоятельства этого необычного чепе хотя и не расследованы ни одним старшим инспектором ПУРа, но они кое-кому известны. Их знали Молотов, Каганович, Маленков, а лучше всех — Ворошилов, работавший много лет бок о бок с Гамарником. Почему же он молчал? Не хотел раскрыть правды партии и народу?..

Прощался я с родными так, будто расставался с ними не на несколько дней, а навсегда. Всякое лезло в голову.

Газеты только и трубили о врагах народа. Сообщалось об их злых кознях, подвохах. То они пускают под откос поезд с демобилизованными воинами, то взрывают шахты в Донбассе, то портят самолеты, то отравляют на Горловском туковом комбинате рабочих, то составляют вредительские планы боевой подготовки.

На каждом шагу шпионы, вредители, диверсанты. И почему-то больше всех их находится в рядах партии. Грандиозная ложь переходила в свою противоположность: она стала казаться правдой.

В Киеве прогремел выстрел Панаса Петровича Любченко. С ним вместе покончила его жена. В Минске застрелился председатель белорусского ЦИКа Червяков. В Баку — предсовнаркома Мусабеков.

В гневных передовицах из всего текста жирно выступала, словно тисненная не свинцом, а каленым железом, одна грозная строчка — «Выявлять и уничтожать». В витринах магазинов, на афишных щитах, на стенах вокзалов висел жуткий плакат: «Ежовые рукавицы». Героем дня стал карлик телом и душой, жестокий садист Ежов.

Поезд загрохотал на мосту. Дребезжали фермы. Отзвук сердитого грохота глухо отдавался в ушах. Внизу была Волга! Просторная, мощная, розовая от вечернего солнца. Кругом золотой песок и нежная поросль ивняка.

Там, на западе, за горизонтом — родной брат Волги, такой же грозный и величественный Днепр! В его водах двадцать три года назад, придавленный старым строем, закончил свою жизнь мой старший брат, а на берегах Волги моя черта, черта младшего. До сих пор в памяти тяжелый, прощальный взгляд брата...

С невеселыми думами приближался я к столице нашей Родины. И в то же время лезли в голову весьма наивные мысли. Ведь арестовать могли и в Казани. Для этого не надо было вызывать в Москву. Я ведь не персона вроде Тухачевского, Якира, которых схватили в поезде по дороге в столицу. Раз вызывают к наркому — значит, тут кроется нечто иное. Ведь Шмидт сидел уже почти год. За это время сумели убедиться, что я был далек от его террористических планов. Вот и решил нарком воздать мне за незаслуженную обиду... Буржуазная Франция вернула оклеветанного Дрейфуса с каторги, почему же Советская страна не может вернуть меня из Казани в Киев? Ведь правда всегда

берет верх. Тем более там, в Киеве, нет уже Постышева, потребовавшего моего удаления с Украины. Масштабы иные, но, по сути, и он сейчас повторил мой путь. С повелителя всея Украины сошел на секретаря Куйбышевского обкома. И замначпуокра Орлова перебросили в Куйбышев. Значит, велика притягательная сила Волги-матушки реки... Но положение Постышева усугублялось: пресса сообщала, что его жена Постолюнская и свояк — польские шпионы.

Упругий ветер колыхал рослые всходы пшеницы. Казалось, что сердитый пастырь перегонял по широкому полю веселые отары золоторунных овец, уходивших в синеву заповедного бора, к зыбкой черте горизонта.

На западе, в смутном солнечном мареве, окутанный фиолетовой мглой, обозначенный беспорядочной колоннадой дымящихся труб, раскинулся величавый и прекраснейший город вселенной. Там кончалось колхозное поле и начиналась Москва.

Переночевав у сестры, первым делом я решил встретиться с Кругловым. Он в курсе всех событий. Кому, как не старшему инспектору ПУРа, знать досконально ситуацию. Он мне многое разъяснит, многое подскажет.

— Еду к тебе, — сказал я ему по телефону.

— Это невозможно, — услышал я сухой ответ. — Приходите в ПУР.

На Арбате мне выдали пропуск, но кабинет Круглова был пуст. Я обратился к секретарю. Он мне указал пальцем на дверь. На ней висела дощечка: «Начальник ПУРа РККА». Меня это удивило. Ведь «Красная звезда» 12 июня сообщала, что вместо Гамарника назначен начальник политуправления Балтийского флота армейский комиссар 2 ранга Смирнов. С Петром Александровичем Смирновым мы учились на ВАКе.

Теперь за заветной дверью сидел Круглов — мой приятель, товарищ, закадычный друг. Но почему он по телефону сказал «вам», а не «тебе»?

Новый начальник ПУРа встретил меня стоя. Вызвал секретаря. Усадил его за стол. Зачесал пятерней спадавшие на лоб черные волосы. Посмотрел на меня сухим, жестким взглядом.

— Я вас слушаю!

— Мне, кажется, придется пожалеть, что я напросился на это свидание, — сказал я, ошарашенный таким приемом бывшего друга.

— Дело ваше. Говорите!

Секретарь, записывая разговор, наклонился над бумагой.

— Меня вызвали к Булину. Неизвестно ли вам, зачем?

— Знаю, что вас должны были вызвать. Приказ № 82 знаете?

— Читал!

— Ну, и что? Как вы думаете поступать? Товарищ Сталин и нарком обещают не только простить, но и оставить в армии честно раскаявшихся заговорщиков. С чем вы пришли?

— Мне идти не с чем! Я не заговорщик! И в этом отношении мне не в чем раскаиваться.

— А в каком есть?

— В том, что я служил под командой Якира. Очевидно, поскольку я не обыватель, понимаю — это может вызвать какие-то законные сомнения во мне и предполагать какую-то меру возмездия.

— Не в этом суть. Суть в том, завербовали ли и вас Якир и Шмидт в контрреволюционный заговор?

Секретарь спешно записывал все сказанное.

— Знаете! — с гневом ответил я. — Меня смущает это место. Все же кабинет начальника ПУРа. И здесь висят портреты, которые я привык уважать. Но перед вами, поскольку вы еще свежий начальник ПУРа, я могу сказать — я не шлюха, а солдат. И был верен, и остаюсь верен присяге.

— Тем лучше для вас. — Круглов опустил голову. И мне показалось, что его глаза стали такими же веселыми, игривыми, одесскими, какими они были всегда у нашего комиссара-скрипача.

— Вы знаете, что затевал этот негодяй Тухачевский? Немного-немало, он хотел арестовать весь XVII съезд партии. Подумать только!

Мы все еще объяснялись стоя. Мой бывший друг находился по одну сторону обширного гамарниковского стола, я — по другую. Стало ясно, что ничего нового, кроме того, что мне было известно из передовиц, в этом кабинете не услышишь.

— Меня интересует ответ начальника ПУРа, — спросил я. — Могут ли у нас, при нашей новой Конституции, преследовать человека, если он не знает за собой никакой вины?

— Это исключается! — авторитетно заявил Круглов.

— Спасибо! — ответил я и направился к выходу.

Круглов бросил вслед:

— Все же поставьте меня в известность о ваших переговорах с Булиным.

Чтобы попасть к начальнику Управления кадров, надо было получить его разрешение. В бюро пропусков было необычнолюдно. И таких, как я, собралось там немало. Шли к Булину и бывший комендант Москвы Михаил Лукин, и комбриг Иван Самойлов, бывший череповецкий пастух. Самойлов жаловался на ужасные условия работы, сложившиеся в его авиационной

бригаде, на страшный разгул демагогии: «Я выступаю с докладом, а безусый авиатехник, отсидевший за нерадивость трое суток на гауптвахте, кричит с места: «Что вы его слушаете? Это же живой труп. Не сегодня завтра его заберут!» Вот такая нынче преобладает роза ветров — подлость становится похвальным долгом, предательство — гражданской добродетелью».

Я вспомнил наших «активистов» — Романенко и Щапова, которые, увы, впоследствии все же возглавили тяжелую бригаду. А стоявший с нами в очереди седоватый дивизионный комиссар, прикуривая одну папиросу за другой, вздохнув тяжело, сказал:

— Врагов выявлять надо. Истина. Выявлять и уничтожать, как пишет в передовой «Правда». Но беда в том, что зашевелилась тупость, бездарность, невежество, безнравственность. И ополчается гамузом против всех подряд. Сводятся личные счеты. И перед тем, как нанести удар, неистово вопят о партии. Морализуют... Кошунство! Ловят ловкачи момент. Беда, если эти вылезут наверх... Вот с этим и иду к начальству. Бить тревогу...

Я подумал — в точку метит товарищ. Видать, он из тех, о которых говорил Ленин: «Без военных комиссаров мы бы не имели Красной Армии». Он пойдет бить тревогу... Но если бы там не сидел Круглов, сбитый с толку высоким постом и всеобщей подозрительностью. Увы, нынешний начальник ПУРа сам растерялся. Страшна, опасна и отвратительна та вера в вождя, которая требует не верить другу...

Самойлов рассказывал: «Вхожу в зал, где происходит военная игра, а командующий Дубовой кричит: «Дезорганизуете работу! Примаковщина! Вытравлю из округа примаковский и якировский дух!» Что случилось с этим замечательным, душевным человеком? Нет, если за мной придут, не дамся. Выброшусь с балкона. Вчера Алкснис водил меня к наркому. Он сказал, что не позволит волосу упасть с моей головы. Как-никак, а моя бригада заняла первенство РККА по ночным полетам».

Я подумал о Дубовом. Иван Дубовой, Борода, ближайший друг Якира, его верный рыцарь, можно сказать, его неотступная тень, для которого каждое слово Якира было законом, и вдруг такое...

Но закон революционной борьбы суров. В жертву идее приносится дружба, и не только дружба. Присяга есть присяга, а закон знает свое! Близкие сердца разъединяются бездной. Если хочешь быть верным долгу — ты должен подавить все свои чувства.

А позже мы узнали вот что. Сразу после процесса Тухачевского заседал Военный совет. Там клеймили «заговорщиков, и гнусных шпионов». Ивану Дубовому дали слово

последнему. И хотя Сталин, облокотившись на кресло оратора, пронизывал его глазами, Дубовой сказал: «Я верил в Якира как в старшего партийца и испытанного бойца». Сталин, сев на место, долго еще и зло смотрел на командующего войсками Харьковского военного округа. Вернувшись домой, Иван Наумович сказал жене: «Не верю в измену Якира. И чем бы это ни закончилось, подлости не мог сделать даже по отношению к мертвому, хотя некоторые ораторы и говорили, что «в Якире давно что-то чувствовалось».

Лукин, присутствовавший на суде Тухачевского, рассказывал, что лучше всех держались Якир и Примаков. Никто не признал себя виновным, а Примаков, сидевший на скамье подсудимых почему-то в темных очках, сказал в последнем слове: «Граждане судьи! Что я вам скажу? Сегодня вы судите нас, а завтра точно так же будут судить вас».

Тухачевский сказал: «Мы погибаем жертвами интриг, а может, тут больше, нежели интриги. Смерти не боимся. Но знаю, что после этого процесса страна будет залита кровью».

Сообщение Лукина ошеломило меня. Значит, мужественный большевик Примаков остался верен себе. В 1915 году он заявил царским судьям, что свою революционную работу считает не преступлением, а честью. Спустя двадцать два года он заявил своим советским судьям то, что он думал, и то, что пророчески вскоре и сбылось... А главное, обвиняемые не признали себя виновными. Газеты же, которым мы всегда верили, писали другое... К чему же понадобилась такая ложь?

Перед тем как идти к Булину, я постучал в кабинет его заместителя Хорошилова. Комдив встретил меня сухо, неприязненно. Я надеялся найти хоть здесь тень прошлой приветливости, но он мне бросил:

— Обождите там, за дверью.

Хорошилов схватил трубку телефона. Я вышел в коридор. В течение двадцати лет мне не раз приходилось бывать в этом величественном доме — в Наркомате обороны. Когда я ходил по его высоким и просторным коридорам, одним своим видом внушавшим к себе уважение, чувствовал, что я здесь свой, нужный. Теперь я слонялся здесь, как чужой, как лишний, как отверженный.

Вот Хорошилов уколол меня злым взглядом. Куда-то звонил! Кому? Зачем? Что будет дальше? Неужели это уже все? Для этого, очевидно, и вызвали меня в Москву.

Если бы косились только на меня одного... Та же неопределенность терзала многие сердца. Слоняясь по гулким коридорам бывшего Александровского юнкерского училища,

люди с душевным трепетом дожидались решающей минуты, хлесткого слова. Хлесткого... С лишними не церемонятся. Не те времена. И не только это. Тот, кто им пользовался, наивно полагал: чем хлестче слово, тем больше гарантий самому не услышать его. Увы!

А пока вместе со мной ждали его и те, кто толпился в бюро пропусков, и те, кто с сугубо постными лицами сидели в наркоматовских приемных, и те, кто в бесчисленных гарнизонах необъятной страны получают еще телеграмму-шифровку с «вызовом к наркому». С каждым днем не утихала, а росла тревога не только у тех, кто чаевал когда-либо с Тухачевским, Якиром, Уборевичем, Эйдеманом, Путной, Примаковым, Фельдманом, но и у тех, кто общался с ними лишь строго по службе.

Я направился в туалет. Достал записную книжку с адресами, телефонами, несколько групповых снимков. Бросил все в унитаз. Подумал: «Если возьмут меня, зачем же подводить людей». Вернулся к дверям Хорошилова. Тут показался и он. Велел идти в приемную Булина, там ожидать вызова.

В приемной ждали многие. Кто был весел и оживлен, а кто подавлен, как и я. Веселых накануне представляли наркому. Они получали неожиданно высокие посты, заменяя тех, кто со смертельной скукой на лице ждал свидания с начальником кадров.

Большинство невеселых было с двумя, тремя ромбами и не ниже полковника. Веселые — от капитана и не выше полковника. Один из них, мой знакомый, сказал: «Мне дают корпус. И вы получите не меньше. Вы уже были у наркома?» Я сказал: «Нет» — и подумал: «Теперь, наверное, не попаду к нему никогда».

Уже между «веселыми» и «невеселыми» легла та полоса отчуждения, которую не одолеть никаким человеческим силам.

Встретил я среди ожидающих и вызванного для беседы из Хабаровска Ивана Никулина. С саркастической улыбкой на спокойном лице он тихо спросил:

— Ну что? Теперь Соловки! — и продолжал: — Слышал требование Сталина — смелее давать полки лейтенантам, дивизии — капитанам, округа — полковникам! Сделать это, видимо, нетрудно. А вот как они будут, эти скороспелые полководцы, воевать? Что ж? — криво усмехнулся Иван, — Ленин делал из пастухов полковников, а сейчас из полковников делают пастухов. И хорошо, если этим дело ограничится...

— Каких это пастухов? — спросил я.

— Не знаешь каких? Таких, что пасут в тайге медведей... Этот все может. Потому — бог! Да, — продолжал в глубоком раздумье наш корпусной философ, бывший машинист молотилки, —

понадобились тысячелетия, чтобы бог стал человеком, а тут за каких-нибудь десяток лет из человека сделали бога...

С пасмурным лицом вышел из кабинета Булина серб-великан Данило Сердич, командир корпуса в Белоруссии. Еще когда мы учились на ВАКе, он рассказывал, как однажды после неудачного боя Буденный обходил фронт 4-й дивизии и лупцевал плеткой командиров полков. Дошла очередь и до Сердича. Он вынул наган и сказал: «Виновен — судите, а тронете плеткой — застрелю!» Буденный и следовавший за ним Ворошилов опешили. Сердича не только не тронули, а после этого сделали командиром бригады. Спустя восемнадцать лет дела его, очевидно, принимали менее счастливый оборот.

В приемной я встретил и Ковтюха — заместителя командующего войсками Белорусского военного округа. Подумал: «Он, возможно, доживает последние дни, но пройдут века, а его прошлое под вымышленным именем Кожуха — героя «Железного потока» будет таким же славным для потомства, каким оно было для его современников».

Но вот позвали меня. Я зашел в тот самый кабинет, где полгода назад меня принимал Фельдман, казненный вместе со всей группой Тухачевского. На сей раз я предстал не перед одним начальником Управления кадров. Заседала комиссия.

Взял слово комдив Хорошилов:

— Товарищи, это тот самый человек, который в своих книгах восхвалял врагов народа Якира и Примакова.

Я подумал — Примаков обиделся на меня за то, что «Золотая Липа» недостаточно хорошо показала подвиги червонного казачества. А тот самый Хорошилов, который полгода назад хвалил книгу, осуждает ее за то, что она превозносит Примакова. Действительно, как говорят на Украине, круть-верть и верть-круть.

Булин задал вопрос:

— Что вы скажете?

— Я скажу, что я о них писал тогда, когда они занимали определенное положение в армии и что наша партийная пресса отзывалась об этих людях не менее лестно, чем мои книги. На Якира я до последней минуты, как и вы, очевидно, смотрел как на члена ЦК. Было даже дико подумать, что он может быть заодно с ними, с этими... Вот я встретил у вас в приемной комкора Ковтюха. Быть может, завтра он уже не будет комкор. Так разве вы станете укорять Серафимовича за «Железный поток»?

Я ждал, что меня будут спрашивать о Якире. Здесь, я полагал, основа всех бед. Но мне упорно задавали вопросы о Примакове. Где с ним работал, когда? Почему не отправился с ним в Китай?

Почему не поехал в Афганистан? Почему в 1929 году вместе с бывшим комиссаром дивизии Ермоловым устраивал городские и всеукраинские слеты червонных казаков?

Булин напирал:

— Вы служили у Примакова. Это был ваш командир корпуса. Он хотел заслонить собой партию, вождей, все...

— Не смешивайте всех в кучу, товарищ армейский комиссар второго ранга, — защищался я. — То, что могло нравиться другим, не нравилось мне. Тучи ходят над нами, как и солнце. Они могут его на миг заслонить, но не заменить. Для меня солнце было солнцем, а тучи — тучами.

— Значит, вы не боролись против партии?

— О моем отношении к генеральной линии можете спросить...

— Кого? — зло уставился на меня Хорошилов.

— Далеко ходить не надо. Позвоните в кабинет к начальнику ПУРа, к бригадному комиссару Круглову.

— Полковников в армии много, а начпур один. Всех он знать не может.

— Он был моим комиссаром. Вместе служили в седьмом Червонном казачьем полку.

— Как? Как? Как? — все члены комиссии разинули рты. — Круглов служил в корпусе Примакова?

— Да, служил. И очень хорошо меня знает.

Булин торопливо занес что-то в свой блокнот.

Тут зазвонил телефон. Булин взял трубку. Отвечая на вопросы, с захлебом докладывал:

— Да, комдив Даненберг был у меня. Знаю, что вы его ждете. Адрес? Он остановился в гостинице ЦДКА.

Члены комиссии переглянулись. Уставились на меня. Мне стало ясно, что звонили от Гая, из Особого отдела РККА. Даненберг, бывший офицер из немцев, краснознаменец, учился со мной на ВАКе. До вызова к Булину командовал стрелковой дивизией. После беседы с Булиным ему предстояла беседа с Гаем...

— А Якир вас выдвигал? — спросил Булин.

— Не отрицаю. Но подумайте — как меня выдвигали. Всю гражданскую войну был на положении полковника и в этом положении нахожусь до сих пор. Тоже мне выдвижение — вечный полковник, как вечный студент. Вы, наверное, в то время тоже были не выше полковника, а сейчас армейский комиссар второго ранга. Кого же больше выдвигали — меня или вас?

Моя дерзость изумила начальство, но мне, по сути говоря, терять было нечего. И в самом деле, Хорошилов вынул из папки

отпечатанную на машинке бумагу.

— Вот приказ наркома от одиннадцатого июня. В этот день, как вам известно, судили шайку Тухачевского. Приказом наркома уволены из армии триста командиров. В том числе и вы...

Это сообщение словно гирей ударило меня по голове.

— Если я уволен одиннадцатого, зачем же вы вызвали меня на шестнадцатое июня? — спросил я весь в поту.

— Вы должны нам назвать командиров и комиссаров, служивших в червонном казачестве. Вы это знаете лучше других. Писали историю примаковского корпуса.

— Ну и берите эту историю. Читайте. Больше, чем там есть, я сказать не могу.

— Дело ваше... — поднялся с кресла Булин.

Надо было уходить. Но я все же спросил:

— Что? Выставляете из армии? И это окончательно?

— Знаете, полковник, — ответил Булин, — сейчас пойдет полоса собраний. Вас начнут спрашивать о Якире, Примакове. Что вы ответите? Вам лучше уйти...

— Хорошо! — ответил я. — Меня будут спрашивать о Якире, а вас о Гамарнике. Ведь вы были его заместителем.

Эта повторная дерзость немного смутила Булина. Он ответил:

— Что вы знаете? Мы с Гамарником были на ножах. А потом — вам нечего волноваться. Мы увольняем крупных троцкистов, и им, правда на Урале, дают заводы. А вы не троцкист, получите хорошую работу.

Итак, одним взмахом, одним росчерком пера отсечено триста товарищей. Три сотни — со счетом не снизу вверх, а сверху вниз. Надо полагать, что в этом сакраментальном перечне имя мало заметного полковника Казанского гарнизона стояло где-то внизу. И не будь многолетней близости к очерненным, не будь в недавнем прошлом ампула командира Отдельной тяжелой танковой бригады, не удостоился бы он такой «высокой чести».

Та, первая, проскрипция охватывала командующих войсками, их заместителей, членов военного совета, всех командиров корпусов, командиров дивизий. Триста командиров, закаленных, обученных, которых партия воспитывала почти два десятилетия. Золотой запас! Ценный капитал!

Значит — «дело» Шмидта было лишь запевом. И лихорадка, которой уже переболела 8-я мехбригада, неумолимо надвигалась на множество боевых коллективов.

То, на что противнику пришлось бы потратить уйму времени, горы металла, множество жизней, достигнуто без всяких усилий. Один росчерк пера! Триста в июне. В августе апофеоз — сорок тысяч!

Чистка! Чистка железной метлой! Но очищаются обычно от нездорового, враждебного, опасного. Отсекают гнилое, чтобы стать здоровее, крепче. Но истина трудами Института истории партии утверждает противное: «...вследствие массовых репрессий при культе личности Сталина советские войска в период войны остро ощущали недостаток в опытных командирах... В этом, несомненно, была одна из существенных причин неудачи Красной Армии в первый период войны».

* * *

Я вышел из кабинета. Больше всего меня удивило то, что о Шмидте не было сказано ни слова. Все о Якоре и Примакове. Это кое о чем говорило. Появились сомнения в правдивости версии с покушением на Ворошилова. Закрывая за собой тяжелую дверь, подумал: «Сейчас Булин подымет трубку, поговорит обо мне с Гаем». Но почему-то ни он, ни Хорошилов не поинтересовались, где я остановился...

В те страшные дни начпуокра ВВО Александр Жильцов, чувствуя, что чертово колесо влечет и его вниз, явился к наркому. Попросив заступничества, сказал: «Вы меня знаете, когда я еще был московским пекарем». Ворошилов ответил: «Ступай, пекарь, от судьбы не уйдешь!»

Жильцов умер от истощения в Ухтинском лагере еще до войны. Там же оставили свои кости командиры Балыченко, Киверцев, Шарсков, Тихомиров, писатель Анатолий Каменский. Пройдя сквозь все муки незаслуженной кары, вышли на волю «ухтинцы» — писатель Остап Вишня, ученый-шевченковец Е. С. Шаблюковский, Шая Туровский — родной брат комкора Туровского.

...Я бродил по шумным улицам Москвы. Народ суетился, бежал, лез в трамвай, спускался в метро, появлялся из красочных его подземелий. В трамваях, автобусах, троллейбусах, в магазинах, на улицах, на площадях — везде был народ, которому, казалось, нет никакого дела до всего того, что нес я в своей растревоженной душе.

Утешало то, если это можно назвать утешением, что после ареста попрошусь к Гаю. С ним учились на ВАКе. Он поможет доказать мою непричастность к заговорщикам, террористам.

Я направился к автомату. Какая-то девушка долго беседовала со своим милым. Счастьем дышало ее лицо. Она еще не знала ни бурь, ни ураганов. Жизнь ей казалась вечным праздником. Завтра она на вечерней смене, а сегодня она встретится с ним, с

желанным, на скамейке у Пушкина, у Тимирязева или у Гоголя — этих немых свидетелей любовных свиданий и деловых встреч!

Пропустив счастливую девушку и на миг позавидовав ей, вошел в будку. Опустил монету. Набрал номер Круглова.

— Вы просили позвонить?

— Да.

Я передал начальнику ПУРа содержание беседы с Булиным.

— Между прочим, — добавил я. — Булин был очень поражен, когда узнал, что вы служили в корпусе Примакова.

— Но я, я, я... ведь этого не скрывал...

— Этого, товарищ начальник ПУРа, я не могу знать... Думаю, что вы этого не скрывали... Но, повторяю, он был удивлен.

— Я во всех анкетах...

— Добавлю. Он даже что-то вписал в свой блокнот...

— Но... послушай, может, зайдешь еще...

— Нет, товарищ начальник ПУРа, не зайду... Не к чему... Желаю вам и Эльзе здравствовать.

— Стой, стой, почему?

— Вы мою мать знаете? Видели ее? Кажется, не раз! Вам нравились ее поговорки, пословицы, У нее есть одна: «Одни скачут, другие плачут». Вы скачете, хотя у вас оснований к плачу не меньше, чем у меня...

Я повесил трубку. Вспомнил тридцать первый год — я тогда отдыхал в Севастополе. На Корабельной стороне стоял зенитный полк. Я больше находился тогда у комиссара полка Круглова, нежели в санатории. Затем вдвоем с Александром мы на полупустом теплоходе пустились в путь по Черному морю.

Промелькнули Ялта, Феодосия, Новороссийск, Сочи, Зеленый Мыс, Батуми, Сухуми, Тифлис, Баку. Это было увлекательное путешествие среди сказочных красот Кавказа. Нас связывала большая дружба. А теперь между нами провал. Я на грани падения, а Круглов вознесен. Я — опальный полковник, он — начальник ПУРа.

Вот что я услышал спустя много лет в Майори под Ригой от Эльзы Антоновны — жены Круглова. Спустя день после ареста Осеяна — заместителя Гамарника Ворошилов уже вел приятную беседу со старшим инспектором ПУРа Кругловым. Сообщив об аресте «врагов народа», предложил Александру самый высокий в армии политический пост.

Потрясенный инспектор, никогда и не мысливший занять место Гамарника, всячески отказывался, но Ворошилов настаивал на своем:

— Мы сейчас смело выдвигаем молодежь. Партия вам доверяет, и видеть вас на посту начальника ПУРа — это желание

ЦК.

Круглов уступил.

Но недолго «скакал» Круглов. Увы! Чем выше он был вознесен, тем страшнее было его падение. Его, этого славного малого, слепо влюбленного в Сталина, ждала та же участь, что и другого калифа на час — армейского комиссара второго ранга Смирнова, после Гамарника возглавившего ПУР.

Не ушел от своей судьбы и череповецкий пастух. Иван Самойлов не выбросился с балкона, но его сдула злая роза ветров. Днем авиационный комбриг ушел от наркома обнадеженный, а ночью уже стучались в дверь его номера гостиницы ЦДКА.

Вот так оно получалось: днем людей ублаживали, а ночью хватали. Ворошилов заявил в присутствии Алксниса, что не даст упасть волосу с головы авиационного комбрига. Где там волос? Приказ об увольнении трехсот командиров, зачитанный Хорошиловым в кабинете Булина, был первым, но не последним сигналом к сносу не волос, а голов вместе с волосами. Свято выполнялось торжественное обещание, данное во время присвоения новых воинских званий, — без ведома наркома никто не тронул ни одного лейтенанта, ни одного полковника, ни одного командарма...

Сталин проводил свою, со всей тщательностью подготовленную «глубокую операцию». Весной и летом 1936 года были захвачены «языки» — комкор Гай и комдив Шмидт. Первые ласточки! Осенью того же года средствами подавления Ягоды ликвидировали «передовое охранение» — Примакова, Туровского, Саблина, Путну, Зюку. Дальнобойные средства Ежова в совокупности с пришедшимися по вкусу фальшивками Гитлера позволили в июне 1937 года накрыть солидным бомбовым грузом «штабы» — Тухачевского, Якира, Уборевича и других.

После такой материальной и моральной «обработки» не так уж сложно было обрушиться синхронно, по всем правилам глубокой операции, на весь «боевой порядок», начиная с командующих войсками округов — Дубового, Белова, Каширина, Блюхера, Великанова и вплоть до командиров батальонов и даже рот...

Куда там Чингисхану, Макиавелли, Торквемаде!!!

Хотелось с кем-то поговорить, отвести душу. Телефонная книжка уже размокла в штабном унитазе. Я набрал «09». Мне дали телефон Боевой. Она, как казалось мне, создана не для того, чтобы разделять чужие печали.

От своего бессилия, беспомощности, невозможности вывернуть свою душу, показать ее изнанку, доказать, что я вовсе не тот, за кого меня сейчас принимают, от гнева против тех, кто

подвел и меня, и многих других под удар, хотелось пасть ниц на землю и до изнеможения, до потери сознания грызть ее каменную твердь.

Чудо! Боева оказалась в Москве. В трубке прозвучал ее встревоженный голос:

— Я вас слушаю!

— Хотел бы к вам на Басманную... Поговорить...

Вместо ответа щелкнула опущенная на рычажок трубка. Но что это? Ведь не могла Елена Константиновна ждать, что я стану ее о чем-либо просить. Ее могло только изумить мое безумие: в такое время звонить человеку, который хвалился близостью к семье Тухачевского, Корка! И все же она не захотела со мной говорить...

Что за жизнь? Что за полоса? Ближайший друг многих лет — Круглов — отшатнулся, Елена Константиновна, хвалившаяся тем, что любит делать добро, отреклась! Я совершенно одинок в этом огромном городе — настороженном и злом! Без друзей, без близких, без общества. Я еще среди людей, в их невероятной толчее, в бесконечном движении. Я часть этого могучего людского потока, который, словно неиссякаемый водопад, куда-то стремится, спешит, Я еще среди народа, но уже вне его. Круг смыкается все больше и больше. И вот-вот фатальное лассо опояшет меня своей неодолимой, всесокрушающей хваткой.

И иные не ликуют... Как и я, с понурой головой, шлифуют подошвами безучастные камни Москвы. Те, кого встречал в неприветливой приемной Булина. Комкор Сердич, комбриг Никулин, комкор Ковтюх, комбриг Самойлов.

А комдив Даненберг тот и вовсе... Завтра, видать, уже не сможет и шлифовать камни...

Что ж? Опять «09». Добился телефона «хозяина радиозаводов». Крот говорил со мной обычным, дружеским тоном. Звал к себе на дачу. Дал адрес.

Уже в сумерках я очутился за городом. Меня приняли радушно. За ужином выпили по рюмке. Крот, выслушав меня, сказал:

— Чудо! Прямо чудо! У нас тебя бы схватили давно. За одного Шмидта. А тут еще Якир, Примаков. Нет, кто-то колдует за тебя. Творится что-то страшное, каждый день берут наших директоров. И некому заступиться. Нет нашего Серго. Он бы этого не допустил. Самый лучший директор — враг. Только говорил с ним по телефону, а спустя полчаса его уже нет. Взяли начальника Технического управления Красной Армии Бордовского. А мы с ним ездили в Америку. Понимаю — в Германии коммунисты дрожат, там Гитлер. Но почему мы здесь должны дрожать, не

верить в завтрашний день. Когда ночью в городе, прислушиваюсь к каждому скрипу на лестнице. Куда идем, куда поворачиваем? Вот напротив нас дача Ингулова. Это начальник Главлита СССР. Автор многих книг. Вчера взяли... А тебе вот что советую — бейся, требуй свое. Пиши рапорт Ворошилову. Кстати, и Халепский уже не Халепский. Нарком связи. Значит, скоро возьмут...

Крот дал мне свою ручку. Я тут же настроил гневную слезницу наркому.

Выходной день мы провели в Быково, долго гуляли по лесу среди остропахучих сосен. Настроение «хозяина радиозаводов» мало чем отличалось от моего, хотя его куда еще не вызывали для «душевных» бесед.

— Взяли нашего директора завода «Красная заря». Рабочий с десятого колена. Охранял Ленина в Смольном. Вырос за годы Советской власти. Масштаб, кругозор, сила. Его бы в наркомы. Дружили мы с ним еще в Ленинграде. Позвонил к Ежову. Он меня знает. Напутствовал перед нашей поездкой в Америку. Говорю: «Дайте мне доказательства его вины. Я не считаю его вредителем». А Ежов: «Вы не считаете, рабочий класс считает». Я ему: «И я не из капиталистов, рабочий». А он: «Вы хотя и наборщик, но не советую совать нос не в свое дело!»

Крот курил одну папиросу за другой.

— Почему не мое дело? Я не коммунист? Не советский человек? Меня не трогает судьба товарища? Так и меня могут записать во вредители. Да, дело дрянь! — продолжал он. — Боимся друг друга. Но приезжают ко мне ленинградцы. Делимся. Так вот — нам говорят, что был заговор для свержения власти. А мы думаем — есть заговор для того, чтоб не потерять власть. Думаем — что это дворцовый переворот не снизу, а сверху. На радость нашим врагам истребляем лучших наших людей. Конечно, не скажешь, что это делается по приказу Гитлера, но ему на руку. Во имя показного единства не позволяли никому пискнуть, и тут, сшибая головы членов ЦК пачками, показываем всему миру, что единства нет, что у нас все поражено и в партии, и в промышленности, и в армии. Разве этим мы не даем козыря нашим врагам, не приближаем войны? Я не кончал университета, но, как наборщик, читал много. Когда-то богу Перуну приносили в жертву человека. Одного в триста шестьдесят пять дней, а сейчас, а сейчас триста шестьдесят пять жертв в один день, если не более? Да, — оглядываясь по сторонам, продолжал мой собеседник, — вот теперь мы, зас...цы, начинаем понимать завещание Ленина. Вот они — «острые блюда»... Наполеон душил якобинцев — идейных противников. Но зачем душат нас? Что — у

нас со Сталиным разные идеи? Вот так диктатура класса превращается в тиранию личности. И ради чего все это делается? Занять место Ленина в Кремле — еще не значит занять его в людских сердцах. И стремится он к этому далеко не ленинскими способами...

Да! Еще Ежов сказал тогда: «Не забывайте, у меня и у моих помощников такая же красная книжечка, как и у вас». Надо было ответить: «Книжечка красная, а сердце черное. Не то что у Дзержинского». Но не ответил. Есть такие слова, что вместе с ними вылетает и твоя душа...

19 июня вместе с Кротом отправились на его машине в Москву. Он — на службу в Главк, я — на Арбат. Прощаясь, Крот взял с меня слово, что приду к ним обедать.

В приемной Булина снова толчея — два потока: один восходящих, другой нисходящих персон.

— Что вам угодно? — спросил начальник кадров.

— Прошу представить меня наркому. Вот рапорт...

Зазвонил телефон. Булин взял трубку. Лицо посветлело. Из разговора я понял, что его семья вернулась с курорта и ждет на вокзале машину.

Набрался храбрости. Подумал: «Была не была!» Сказал:

— Вот вам, товарищ армейский комиссар, приятно будет встретить семью, детишек. А что я скажу своей семье, сыну? «Выкинули из армии!» Прослужил в ней с 1918 года, и такой позор!

Булин задумался. Потом ответил. Ответил теплым человеческим голосом:

— Вот что, полковник. К наркому я вас допустить не могу. Сами понимаете! А рапорт оставьте. Езжайте. Сегодня же даю телеграмму в Казань, чтоб вас не увольняли...

Кто борется, тот своего добьется. Со сдержанной радостью покинул здание Наркомата обороны. Гулял по городу. Пришло время обеда. Я направился на Якиманку. Хозяйку дома застал в тревоге. Ломая руки, в слезах, она спросила, виделся ли я с Кротом днем? Обеспокоенная опозданием мужа, она позвонила в Главк. Ей ответили — в полдень явились двое военных и, никому ничего не сказав, увели с собой Крота.

До моего прихода она еще чего-то ждала утешительного. Надеялась, что одним из военных был я. Но, увы, это были напрасные надежды.

Возвращался я в Казань с такой же тяжестью на сердце, с какой ехал в Москву. Но все же возвращался... Меня там не схватили, как схватили командира дивизии Даненберга, командира авиационной бригады Ивана Самойлова и многих других, опустошив в одну ночь десятки номеров гостиницы ЦДКА.

Правда, я там узнал, что еще 11 июня, в день суда над группой Тухачевского, нарком уволил меня из армии вместе с сотнями других куда более меня заслуженных, самых старых командиров Красной Армии. Но мне было заявлено устами начальника Управления кадров, что в отношении меня приказ будет отменен.

Я верил, что слово командира Красной Армии во многих случаях даже сильнее приказа. За себя лично я мог быть спокойным, но разве партия, в рядах которой я находился и боролся двадцать лет, учила меня думать только о себе? Было тревожно за судьбу партии, армии, народа, страны, за судьбу, как мне уже стало ясно, невинно репрессированных товарищей. Нет, тут не преступления, а соображения... Когда решаются вопросы целого, жертвуют интересами отдельных личностей. Бывает такое. Но... здесь уже качество стало переходить в количество. Это подтверждалось тем, что я слышал от Никулина, от Самойлова, от Крота и от бывшего коменданта столицы Лукина.

До приезда в Москву я не мог еще думать, что в преддверии грозных столкновений ЦК решил очистить армию от сомнительных элементов — бывших оппозиционеров, пусть даже и разоружившихся. После процесса Тухачевского в какой-то мере полагал, что если казненные не агенты Гитлера, то, добываясь своих целей, они перешли на непартийные методы борьбы с руководством. В тяжелой международной обстановке допустимы решительные меры пресечения всего противного. Но... наша печать, которой мы все верили, сообщала, что обвиняемые признали себя виновными. А тут не московская салопница, не обыватель, не охотнорядец, а крупный командир, слушавший процесс, заявляет, что никто из восьми казненных не признал себя виновным. Было над чем задуматься...

После процесса схватили коммунистов, которые активно и с ленинским запалом боролись с троцкистами, с разными уклонистами. Взяли заместителя начальника АБТУ комдива Ольшанского, который инспектировал тяжелую танковую бригаду, взяли начальника Технического управления Бордовского, старого начальника разведупра Берзина, нового —

Урицкого, взяли заместителя Гамарника — кристально честного большевика Осеяна, взяли начпуокра — булочника Жильцова, пастуха Ивана Самойлова. Пришли вести из Киева: взяли Амелина, да, сверхбдительного Амелина, взяли Фесенко, Борисенко, Сидоренко, Швачко, Князя Серебряного — Игнатова, взяли Ивана Дубового.

А черный буран, опустошивший промышленность? Десятки, затем сотни директоров заводов. Директора «Красной зари», директора Уралмаша — героя гражданской войны Владимирова, давшего два первых быстроходных танка к Первомайскому параду 1932 года. А «хозяина радиозаводов», бывшего наборщика Крота? В Германии свирепствовала коричневая чума, а как же назвать ту, что разбушевалась у нас? И, может, правы были Крот и его ленинградские друзья, которые расценивали этот разгул репрессий как результат антиленинского дворцового заговора, имеющего целью любой ценой, любыми кознями удержать в своих руках власть, приписать заслуги партии, рабочего класса, всего народа одним отдельным лицам и особо Сталину. И для этого пущены в ход ежовые рукавицы самого беспринципного, самого нечистоплотного авантюриста Ежова.

Вот когда партия, особенно те в ней, кто своим голосом помог прийти Сталину к руководству, почувствуют, как был прав Ленин, даже в часы тяжелой болезни делавший коммунистам свои мудрые предостережения.

А в кого эта дикая, средневековая «охота за ведьмами» превратила хороших, порядочных людей? Командарм Дубовой собирался каленым железом вытравить якировский дух, которым он сам напивался десятки лет. Что это? Фанатизм, страх за свою шкуру, карьеризм? А разгул все нарастал изо дня в день, подогреваемый демагогией, разлагавший крепкую армейскую дисциплину. И все это не ради партии, не ради народа, не ради страны, а ради единоличной бесконтрольной власти!

А что значит отнять веру у людей, годами воспитанных верить в своих командиров? Ведь наши слушатели задавали вопрос: «Кому же теперь верить?» Военное искусство знает классический прием разгрома вражеских сил — клещи, двойной охват, называемый Каннами, по именитого поселения, у которого карфагенский полководец Ганнибал двойным охватом разгромил римские легионы Эмилия Павла и Теренция Варрони. В 1937 году командному составу Красной Армии были устроены еще худшие «Канны» — он попал в жесткие клещи: недоверие сверху и неверие снизу... И все же, вопреки преступному дворцовому заговору, Красная Армия выжила. Народ и партия, питавшие ее, дали ей свою здоровую, сильную кровь. Она переболела болезнь,

выдюжила, окрепла. Помимо амбиций вождей существовали генеральные интересы народа, партии, революции. Ради них, даже теряя самых близких, советские люди делали все возможное, чтобы сохранить свои Вооруженные Силы.

...Вот снова Казань. Дома мать, уже не ждавшая меня, плакала у меня на груди, хотя и знала, что я не люблю слез. Старческой слабой рукой гладила мои плечи.

В школе уже была получена телеграмма. Булин свое слово сдержал. Встречая на вокзале свою семью, армейский комиссар, вероятно, подумал и о моих отцовских чувствах. Спильниченко, объявив мне распоряжение Москвы, не без ехидства предъявил мне еще один документ. Это было письмо замначкадров РККА. Комдив Хорошилов, сообщая нашей партийной организации, что я в своих книгах восхвалял злейших врагов народа, просил разобрать это дело на ближайшем партийном собрании.

Вернулся я 21 июня, а собрание состоялось 25-го числа. Вот где во всем блеске развернулась бесшабашная демагогия. Это, скорее всего, был не суд, а самосуд. Если на партийных собраниях тяжелой танковой бригады, при подчеркнутом ко мне сочувствии подавляющего большинства, с пеной у рта выступал лишь Романенко, то здесь все обстояло наоборот. И понятно — ведь до этого изо дня в день атмосфера накалялась все больше и больше. Шутка сказать — кругом враги народа, а тут приступили к суду над врагом, затесавшимся в руководящий состав танко-технической школы! Да и некоторые считали, что активным проявлением бдительности они заслонятся от надвигающейся грозы. Но и это не спасло их, как и тех честных людей, которые работали в школе во время немецкой концессии, всех, вплоть до официанток.

Основным докладчиком по моему «делу» был комдив Спильниченко. Потряхивая козлиной бородкой, то и дело оправляя сидевшую мешком на его щуплом теле гимнастерку, усиленно размахивая руками, доложил собранию о моих «преступных» связях с террористом Шмидтом. Мало этого — я сорвал план боевой подготовки школы: меня ждали в Казани в ноябре, а я соизволил явиться в январе. Я доказывал антипартийность своими книгами, в которых на каждой странице восхвалял гитлеровских подручных — Якира, Уборевича, Примакова.

Спильниченко, потрясая густо расчеркнутой красным карандашом «Золотой Липой», приступил к чтению тщательно подобранных им цитат.

Существует мнение, что легче написать книгу, чем дать ей название. Хотя хорошее произведение делает звучным любое

название книги.

Еще в древние времена, когда монголы двигались к Карпатам, и позднее, когда польская шляхта боролась против украинской вольницы, долина реки Золотой Липы являлась кровавой ареной жестокого единоборства. И сколько тысяч солдат старой армии месили липкую грязь, стыли в заснеженных окопах над Золотой Липой! Горячей кровью обагрена древняя земля Галиции, и многие еще помнили, как красные от крови потоки Золотой Липы с шумом неслись в долину Днестра.

Здесь червонные казаки в 1920 году, стремясь к Львову и Карпатам, прорвали фронт белополяков. Я назвал свою книгу «Золотая Липа» и, давая ей это звучное имя, не предвидел, скольких радостей и скольких страданий будет стоить мне этот труд. «Золотая Липа» стала для меня, как и для многих, сражавшихся на ней, «Кровавой Липой».

После докладчика взял слово замполит Князев. Я бы не сказал, что в его выступлении было много яду. Напротив — он объективно оценил мою работу за полгода в школе. Согласился с предыдущим оратором, что нельзя оставить без внимания мои сочинения. «А в остальном — что скажешь? — закончил он свое «беззубое» выступление, — чужая душа — потемки».

В инертном, незлобивом голосе земляка Чапаева мне отдаленно послышались нотки замполита шахтера Зубенко. Очевидно, и на душе Князева не все было безмятежно. Газета «Красная звезда» уже сообщила в своей передовице, что разоблачена «Преступная шайка Булина, долго орудовавшая под крылышком троцкиста Гамарника». А совсем недавно та же газета писала, что вместо фашиста Фельдмана на армейские кадры стал проверенный большевик, испытанный борец за генеральную линию партии, долго боровшийся с предателем Гамарником, армейский комиссар второго ранга Булин...

Иди разбери — где черное, где белое, где добро, где зло! Как враг народа уже взят главный редактор «Красной звезды» старый большевик Лавда. Разоблачен, посажен в Куйбышеве и замначпуокра Орлов.

Хоть и не крепкого ума был наш замполит, но и ему было над чем поразмыслить... И задумывался он, наш бедный Степан Ильич, не зря. Сердце кое-что сигналило и ему. Ведь раньше он часто хвалился дружбой с чапаевцем Кутяковым, разоблаченным «кандидатом в Наполеоны». В конце концов, чем он, Князев, лучше или хуже того же Булина, Орлова, Смирнова, Осепяна?

Во время перерыва, чувствуя, к чему все клонится, я подошел к Спильниченко:

— Что, решили сделать из меня врага народа?

— Мы знаем, что делаем! — зло ответил он.

— Ладно! — возразил я. — Копайте яму, только поглубже...

— Что это значит? — вытаращил на меня змеиные глазки комдив.

— Так, чтоб в ней было место и для вас. Мне — за Якира, вам — за Дыбенко...

В Казань уже донесли слухи, что арестованы те, кто судил Тухачевского и его «сообщников», — Алкснис, Белов, командарм 2 ранга Дыбенко. Здание, которое так долго и мужественно поддерживали его матросская голова и богатырские плечи, раздавило и Атланта...

Другие ораторы выступали и зло, и зубато. Крыли меня за «Золотую Липу», за иные книги. Одни мне инкриминировали «старый режим» за муштру в дни подготовки к первомайскому параду и за белые перчатки. Работник строевой части «разоблачал» меня. Будто я с первых дней подбирал себе соучастников. Ведь не зря я так тщательно изучал личные дела постоянного состава школы. А член партбюро Андреенков прямо заявил: «Не успел человек появиться в Казани и сразу же тиснул в «Красной Татарии» несколько статей. Сделано это с умыслом — завоевать себе авторитет у народа. Так поступали всегда троцкисты».

Это был тот самый Андреенков, который в 1919 году свято верил, что спасти Россию может лишь Деникин, и бросился из революционной Тулы на контрреволюционный Дон, чтобы встать под белогвардейские знамена. Тот Андреенков, против ввода которого в партбюро школы я энергично протестовал три месяца назад...

Когда я отдавал партбилет, чувствовал, что вместе с ним отдаю свое сердце. И это посло двадцати лет пребывания в партии без единого выговора за неправильные мысли, слова... Не стало мне легче и оттого, что я не первый и не последний. Что и всеильный Булин уже не Булин, что и Круглов уже не Круглов. Все они оказались «калифами на час»...

В бесконечные вопли газет о врагах народа ворвались новые нотки. 21 июня сообщалось о чкаловском перелете Москва — Северный полюс — Америка. Печатались постановления о массовом награждении военных. Звание Героя Советского Союза получили Смушкевич, Павлов, Петров, Копец, Проскуров. Орденом Ленина был награжден комдив Штерн. 26 июня орденом Ленина наградили председателя Ленинградского НКВД Л. М. Заковского и с ним еще десять чекистов. За разоблачение врагов!

Вот где таилась трагикомедия тех черных дней! Преследующие не знали, что они уже занесены в зловещие списки

преследуемых. За ретивость получали высшие награды от тех, кто все это прекрасно знал...

Вскоре «разоблачители», и в их числе сам Заковский, угодили во «враги». Не избежали этого и другие награжденные — Смушкевич, Павлов, Штерн.

Потянулись тяжелые, полные мрачных ожиданий дни. Мое исключение еще не было подтверждено партийной комиссией гарнизона, окружной комиссией, а Спильниченко, заметив среди малышей детской площадки Володю, разъярился: «Гоните вон этого выродка, сына врага народа». О моем исключении телеграфно уведомили другого «калифа на час» — Хорошилова. И сразу же пришло телеграфное распоряжение уволить меня из армии.

Возьмут меня или нет, а надо было думать о куске хлеба. Жена выступала на концертах, но этого было недостаточно. Одевшись в штатское, пошел наниматься «отставной полковник». Но мои попытки получить работу были тщетны: все места заняты. Один нарком сказал: «Я читал ваши статьи в «Красной Татарии». Почему вам не пойти в газету?» Звонил к редактору Беусу. У него лежала моя статья о фашистской Германии: «Очаг мракобесия и войны». Беус невнятно пробормотал, что статья неактуальна и что он не видит возможности использовать меня как журналиста. Вспомнил я и о Мухаметзянове. Позвонил его секретарю, просил свидания с его шефом. Ведь он сам просил меня помочь писателям Татарии. И я помог. Работу выполнил, сдал. Секретарь, велев не бросать трубки, вскоре дал ответ: «Мухаметзянов занят и не может вас принять».

За злом почти всегда следует возмездие. Спустя полгода бывший нарком Татарии Ганеев, пользуясь азбукой Бестужева, отбил на разделявшей нас толстой стене: «Здесь Мухаметзянов. Хочет передать вам несколько слов». Моя резолюция с помощью кода той же универсальной азбуки была такова: «Я занят и не могу его принять».

Я снова написал рапорт Ворошилову. Жаловался на несправедливость.

6 июля, в выходной день, вспыхнул в городе колоссальный пожар. На улице Красной, в центре Казани, загорелись интендантские склады. В них годами накапливались военные запасы для нужд всей Красной Армии. Почему-то огонь вспыхнул не в отсеках шанцевого инструмента, а там, где хранились сукно, обмундирование, хомуты, сапоги. Тяжелый смрад от горелой шерсти и кожи висел над городом.

На пожар хлынул весь гарнизон. Схватив чей-то велосипед, укатил в город и я. Вместе с красноармейцами таскал из огня

кипы брюк, гимнастеров, сапоги, ботинки. Там, на пожаре, узнал, что перерезаны все телефонные провода, перекрыты все краны водопроводов, что косяки складов пропитаны горючим составом. Тушили пожар и спасали имущество всю ночь. Милиция задержала несколько машин с сапогами, которые с пожара увозили грабители. А сколько сгорело народного добра! На миллионы и миллионы трудовых рублей.

Явившийся на пожар особист Гарт сообщил, что это диверсия врагов народа. Ведь пустили они под откос состав с бойцами, травили на заводах рабочих. А теперь подожгли склад. Но ничего, ежовская разведка не дремлет. Она уже напала на след диверсентов.

— И вы здесь? — заметив меня с кипой брюк на спине, ехидно спросил Гарт.

— Как видите! — ответил я любителю изящной словесности.

Я пришел домой на рассвете разбитый, обожженный, исцарапанный. Спал весь день 7 июля. 8-го числа гарнизонная комиссия подтвердила мое исключение. И в этот день мне удалось получить работу.

Нарком легкой промышленности, весной сидевший со мной в президиуме райпартконференции, предложил мне возглавить в Наркомате отдел обуви. Итак, вместо танков моим поприщем станут ботинки, чуваки, тапочки. Мне велели прийти на работу 11-го числа.

Жизнь текла своим руслом, а радио почти ежедневно передавало в эфир песню: «Я такой другой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

А по стране, почти в каждом доме, люди, уходя на работу, не знали, вернутся ли они домой, многие спали в одежде — их обуял страх. Я обратился с рапортом к наркому Ворошилову с рядом вопросов.

И вот 10 июля, поздно вечером, на квартире раздался телефонный звонок. Вызывали меня в кабинет Спильниченко: «Пришел ответ Ворошилова на ваш рапорт». Покидая дом, я сказал встревоженной маме: «На один процент — ответ из Москвы, на девяносто девять — арест».

В кабинете Спильниченко ожидали уполномоченный особого отдела Тузов и двое понятых. Один из них Звонкович — помощник Князева. Тузов предъявил мне ордер. Обвинительное заключение с санкцией на арест гарнизонного прокурора Бондаря. Мне инкриминировалось не столь уж страшное — близость к Якиру, Примакову, Шмидту. Статья 58, пункт 11. За это полагалось от пяти до десяти лет.

Вспомнились грозные слова передовиц: «Выявлять и

уничтожать». Значит, меня не уничтожат! Но эта цифра «58», которая фигурировала в процессах шахтинцев, Зиновьева, Каменева, ударила меня обухом по голове. Отныне и я контрреволюционер!

Меня повели на квартиру. Обыск. Я потянулся к ящику письменного стола. Тузов схватил меня за руку.

— Что вы делаете? — Я оттолкнул Тузова.

— А может, у вас там оружие, — закричал особист. — Может, вы собираетесь поступить, как Ким в Хабаровске. Уложил наших троих, а потом застрелился.

— Мой револьвер в шкафу, — сказал я.

Тузов достал парабеллум. Сел за стол писать акт о скрывании мной огнестрельного оружия. Я должен был его отдать сразу после увольнения. «За это одно полагается два года, а может, добавят пункт 8 — хранение оружия с целью совершения террористического акта, вся десятка», — объявил Тузов.

От шума проснулся Володя. Мама взяла его, раздетого, пришла в кабинет. В слезах была мать, плакал Володя.

Я обнял мать, потом взял сына на руки. Сказал:

— Вот, мама, ждал орден Ленина, а получил ордер Ежова...

— Вот так все враги поступают, — возразил Тузов. — Слышали, товарищи, — обратился он к понятным, — этот враг поносит нашего вождя Ежова...

Тут меня взорвало, хотя заранее решил, что в случае ареста надо будет мудро вести поединок, от исхода которого зависели и моя жизнь, и моя честь.

— Да, все это дело рук Ежова... Кто ему дал право истреблять лучшие кадры партии, страны?

— Запишем в протокол! — изрек зычно особист.

Тут вступилась мать:

— За что вы его берете? Он же не деникинец, не махновец. Он честный коммунист. Сколько плетей я получила за него от деникинцев...

— Честных коммунистов хватают, — ответил я, — а деникинцы сидят в партбюро...

— Ага! Слышали! — продолжал Тузов. — Вот оно, настоящее лицо врага. Так и запишем: во время ареста он сказал: «Деникинцы сидят в Политбюро».

Так в акте и было записано. Не в партбюро, а в Политбюро. Понятые послушно все подписали. И за одни эти слова могли снять голову. Вот тогда я понял, как создаются «враги народа», шпионы, диверсанты, вредители. Вспомнил своего земляка Зиновия Воловича, телохранителя Сталина. Но он и его патроны — Ягода и Паукер — уже были расстреляны. Что ж?

Меня ждала страшная казнь, Тузова — денежная награда и повышение.

Заливаясь слезами, томительно прощалась со мной мать. Она гладила мое плечо натруженными руками, с которых никогда не сходили перчатки из рубцов и ссадин. Ее сердце говорило ей, что она своего младшего сына не увидит никогда. Я простился со своим сыном, как моя мать простилась со своим. Не на день, не на месяц, а навсегда.

Я стал возмущаться против этой явной провокации. Тогда, прервав обыск, Тузов и понятые, не дав как следует попрощаться с родными, силой увели меня.

Первый поединок

Итак, я не удержался ни за втулку, ни за спицы, ни за обод чертова колеса. Раскрутившись с бешеной скоростью, оно забросило меня на «Черное озеро», оторвав от жизни, от работы, от родных.

«Черное озеро». Громоздкие, скованные железом глухие ворота, суета «черных воронов» в обширном дворе, пустынные бесконечные коридоры, строгие часовые на каждом повороте, два свирепых стража, повелевающие мной. Вместо обычного взгляда — грозные молнии, вместо человеческих слов — злые окрики, вместо шепота — сплошное шипение. Одним словом — каждая пядь там, на «Черном озере», каждый миг тогда, в те мрачные дни, вопили: «Ты враг, враг, враг!»

Первым по «военному заговору» в Киеве взяли Шмидта. Спустя триста семьдесят дней сработал закон цепной реакции, и первым по этому «заговору» в Казани взяли меня. 11 июля привезли шестнадцать товарищей по делу пожара интендантских складов.

Полночь. Меня привели в ярко освещенную комнату. Приказали занять табурет на почтительной дистанции от следователя. На его столе груда отобранных при обыске папок и книг. Чтобы описать всю историю страшного, томительного, изнуряющего дух и плоть тридцатидвухмесячного следствия, нужны тома и тома. Я изложу лишь ход событий, ход первого поединка.

Не успел Тузов извлечь из своей папки заранее приготовленный протокол допроса, как в комнату влетели двое. Они скомандовали: «Встать!»

Вновь явившиеся работники, один — начальник особого отдела гарнизона Гарт, другой — замнаркома НКВД Татарии Ельчин, рыжеватый, щедушный человек, были в макентошах. Ельчин осмотрел меня с ног до головы. Затопал вприпрыжку по кабинету.

— Ага! — начал он. — Поймали крупную птицу! Вот он попался, выкормыш Якира! Задумал он нас, ежовскую разведку, перехитрить. Одного заговорщика — Никулина — отправил в Хабаровск, другого — в Казань.

— А мы сцапали одного и другого, — добавил Гарт злорадно и тоже закружил вокруг меня. Это кружение напоминало воинственный танец индейцев, которым удалось содрать скальп с опаснейшего врага.

Я подумал: «Какой же я заговорщик? Ведь мне предъявлено

обвинение не в заговоре, а в близости к врагам народа — статья 58, пункт 11». И, словно читая мои мысли, Гарт схватил папку Тузова, извлек из нее первое обвинительное заключение, изодрал его в куски и бросил в ярко горящий камин.

— Обрадовались! Статья 58, пункт 11. Нет, это пустяки. Детская забава. Мы вам предъявляем новое обвинительное заключение...

— Но... но, — начал я совершенно убитым голосом, — прокурор Бондарь дал санкцию по одиннадцатому пункту...

— Ха-ха... — рассмеялся Гарт, — у вас — тактика боя, у нас — тактика лова. Мы сначала предъявляем что полегче. Как бы не спугнуть птичку. С отчаяния человек готов на все... А ваш прокурор лежит у меня здесь, — он хлопнул себя по задку. — Мы к нему с двумя папками — с делом обвиняемого и с делом самого Бондаря. И у него есть хвостик, у этого прокурора. Жена — царская фрейлина. И к тому же флотский дружок заговорщиков Дыбенко и Раскольников. Пусть попробует не дать санкции...

Этот цинизм вовсе ошеломил меня, я не знал, что и ответить. Подумал: «Это, конечно, не тактика боя, а тактика разбоя». Тут Гарт и Ельчин отошли в дальний угол кабинета. Зашептались. А затем, нарочито повысив шепот, Гарт спросил замнаркома:

— Что? Пустим его в мясорубку сегодня? — и опять перешел на невнятное бормотание.

Это был заранее продуманный ход — психическая атака! Но меня и без нее психически потрясло сообщение о переквалификации обвинения.

Тут ко мне приблизился Ельчин. Глубоко запустил руки в карманы и начал размахивать лапами макинтоша.

— Послушайте, бывший комбриг. Мы знаем, вы не только военный, но и писатель. Знаете Достоевского вы, знаем кое-что и мы. Так давайте не будем тянуть канитель, не играть в достоевщину. Я не следователь Порфирий Петрович, вы не герой Достоевского — Раскольников. Раскалывайтесь сами, пока вас не раскололи. Вам будет легче, и нам меньше возни. Не послушаетесь доброго совета, найдутся для вас иные средства. У нас сознаются и не такие. — Он повернулся к Тузову. — Товарищ следователь, приступайте к дознанию.

Я подумал: «Что? Неужели мне угрожают пытками?» Вспомнил выступление Вышинского на сессии ЦИКа СССР 14 января 1936 года. Он говорил: «В странах капитала совершается прямой возврат к средневековью... У них наказание — злое мучение и страдание. А наше советское законодательство требует, чтоб меры социальной защиты не причиняли физических страданий и унижения человеческого достоинства...»

— Что я — орех, чтобы раскалываться? — спросил я.

— Вы ваши шуточки бросьте! Ах, как бы вам хотелось сейчас вызвать вашу киевскую бригаду и скомандовать: «Пли по Черному озеру!»

— Вы бы лучше слушали, товарищ Ельчин, что я говорю, а не искали, что я думаю.

— Какой я вам товарищ? Забудьте про это.

Ельчин, конечно, не был Порфирием Петровичем, с его тонкими приемами, позволявшими завладеть деликатными нитями, ведущими к человеческому сердцу. Он не знал, как возбудить в душе гордость и чувство собственного достоинства, при которых человек рассматривал бы все свершенное им как гражданскую доблесть, если он верил тому делу, за которое боролся, или сознался бы в своей ошибке, если его шаги были следствием какого-то обмана.

Наконец, он не был способен проникнуть в глубь человеческой психологии, чтобы по тону, по звуку голоса, по взгляду, не обманувшись, определить, что человек не цепляется за ложь, чтобы спасти свою жизнь, а опирается на правду, чтобы спасти свою честь.

Это был партач, скверный мастер психической атаки. И мой спокойный тон он почитал за маневр врага, знающего, как замести за собой следы. А я, имея дело с таким человеком, хорошо понимал, что самой большой моей глупостью было то, что не был глуп, в то время когда Ельчин, возможно, полагал, что самым большим моим преступлением было то, что я не был преступником.

Вскоре мне стало ясно, что такие особисты-ершовцы способны были лишь «разоблачать» Тухачевского, Якира, Уборевича, а Власова прохлопать, ибо Власова, оставшегося вплоть до подлой измены в рядах армии, могли раскрыть только особисты-дзержинцы, которые вели борьбу против действительных врагов народа, а не косили цвет партии.

В Киеве, в семьях адвокатов, врачей, богатых купцов, росли избалованные маменькины сынки, мечтавшие с помощью отцовских связей выбиться в люди.

В хорошо сшитых формах гимназистов, реалистов и коммерсантов они, по моде, со стеками в руках, фланировали по Крещатику. И когда им удавалось выудить очередную подачку у мамаш, они ходили в кафе «Семадени», где угощали своих барышень пирожными «наполеон».

В дома сахарозаводчиков, мукомолов, плантаторов, в аристократические Липки их не приглашали. В дома своих бедных соучеников, на плебейский Подол, они сами не шли. И эта

пенка — дети из «порядочных семей», увлекаясь Крещатиком и «Семадени», Вертинским и Верой Холодной, варились в собственном соку.

Революция разбросала во все стороны эту выбитую из колеи позолоченную молодежь. Она долго присматривалась. Думала, что «Арсенал» — исторический эпизод, который надолго не затянется. А вышло, что восстание арсенальцев обернулось в новую гармонически построенную рабочую державу.

Они видели сапожников, ставших вожаками масс, и шахтеров, выигрывавших исторические сражения. Революции были нужны грамотные люди. И они поняли, что, если себя умно вести, она может им дать больше, чем то, что им готовили отцы.

И вот, взяв от революции все возможное, они мечтали о тихой, бесшумной, холодной реставрации, которая не привела бы обратно в Киев сахарозаводчиков, а отдала бы им то, что революция отобрала у Бродского, у Терещенко, у графини Браницкой.

Вот этих киевских молодчиков напоминал мне и замнаркома Ельчин.

— Вы знаете пословицу, — криво усмехнулся Гарт, — «Тише едешь — дальше будешь», а мы вам скажем: «Дальше едешь — тише будешь».

Прошла минута, прежде чем я понял ужасный смысл модернизированной пословицы.

— Жаль, что на ваши души еще не придуман рентген...

— Об этом и я могу пожалеть, — вздохнул я.

— Почему?

— Вы бы сейчас не мучили себя, если вы только мучаетесь. И не мучили бы меня.

— Знаем, вы уже давно снюхивались с заговорщиком Примаковым. В Ростов даже забрались к нему.

— Да, ездил.

— Положим, не ездили, а летали.

— Но если вы так точно информированы, вы должны знать, зачем я ездил к нему.

В 1932 году с версткой «Золотой Липы» я ездил к Примакову. С Виталием Марковичем я уточнил все неясные места. Чтобы не погрешить против истины, которая состоит из фактов, как дерево из ветвей, я решил встретиться с моим бывшим командиром корпуса.

— Мало Примакова! — напирал Гарт. — Мы вам предъявим целую шайку троцкистов — Неунывако, Коржикова, целую банду шпионов: японского — Хонга, польского — Петрицу, французского — Легуэста, эстонского — Синку, литовского —

Печюру, и многих других...

Ельчин велел мне сесть. Они с Гартom тоже уселись около следователя. Тузов откашлялся. Разгладил рукой лист протокола допроса. Начал читать.

«Вы, бывший комбриг такой-то, показаниями свидетелей изобличаетесь как участник антисоветского военно-фашистского заговора. Признаете ли себя виновным? А если да, то кто завербовал вас, кого завербовали вы?»

Дело начинало принимать далеко не шуточный оборот. Мало того что я должен был сознаться в неизвестном мне заговоре, я еще должен был оклеветать и других. А признав себя виновным, разве я не оклеветал бы и партию, и Красную Армию, которые в течение двух десятков лет терпели в своих рядах негодяя и преступника?

— В заговоре я не участвовал и ни о каком заговоре не знал, — отрубил я.

— Вот как! — Ельчин ударил кулаком по столу. — Вы еще чувствуете себя здесь комбригом. Так знайте — вы уже не комбриг, а мешок с дерьмом. И довольно, не будем валять дурака. Сознавайтесь!

— Ничего не подпишу. Мне сознаваться не в чем.

— Ладно! — вскочил со стула Гарт и схватил со стола папку. — Сейчас мы вас припрем к стенке, услышим, что запоете. — Листая папку, начал читать: «Показания замначштаба ХВО Ауссема. Мне было известно, что в военном заговоре состоял командир 4-го танкового полка такой-то».

Меня сразу прошиб пот. Онемели руки, ноги. Еще раньше, в Москве, слышал, что следователи иногда фабрикуют показания. Но ни Гарт, ни Ельчин не знали Ауссема. Эта бумажка прислана с Украины. Что же могло заставить моего закадычного друга Владимира говорить такую ересь, которая могла стоить головы и ему и мне? Не иначе, как невыносимые нечеловеческие страдания. Очевидно, не устоял со своей искалеченной ногой перед пытками. Признал себя виновным. А признав это, уже не мог не клеветать на других.

Особисты учли эффект, произведенный на меня показаниями Ауссема.

— Может, этого мало? — продолжал Гарт. — Читаем дальше. «Показания замначупра ХВО Савко. С целью свершения военного переворота Якир окружил себя доверенными лицами. Для этого добился перевода из Харькова в Киев полковника такого-то и назначил его командиром тяжелой танковой бригады». Потом Гарт зачитал список в двадцать пять доверенных лиц. Среди них были все командиры корпусов, дивизий КВО. В этом списке была

и моя фамилия.

«Удар за ударом! И от кого? От лучших моих друзей. Что же это делается? — недоумевал я. — Страшный сон, кровавый кошмар. Это уже не чаепитие со Шмидтом!» На миг мне даже стало понятно неистовство моих следователей. Пожалуй, и другие на их месте, при наличии таких уличающих показаний, не вели бы себя лучше. Но я-то хорошо знал, что все это, пусть и засвидетельствованное подписями и казенными печатями, сплошной бред, вымысел, клевета. Но как это доказать? Как выгородить себя при наличии таких убийственных свидетельств?

А Гарт продолжал читать «показания» председателя Осоавиахима Украины Богданова, инструктора ПУОКра ХВО Гампа, наркома шоссейных дорог Лисовика, киевского горвоенкома Рябокона и многих других. Предъявили мне и «творчество» бывшего петлюровского эмиссара Братовского-Ярошенко, которого я схватил в лесу в годы гражданской войны и не допустил к оборонной работе в Наркомпищепроме. Он писал, что хорошо знал о моей причастности к преступному заговору Якира — Шмидта.

— Что вы скажете теперь, невинный ягненок? — с издевкой спросил Ельчин.

— Очевидно, пришла пора умереть, — ответил я. — Но пусть это будет на совести клеветников. Я говорил и говорить буду — в заговоре не был и ни о каком заговоре не знал.

— Ничего! Мы вам крылья обломаем, — стал кипятиться Гарт и снял макинтош. — Скоро вы у нас заговорите. И не только разоблачитесь сами, но и скажете, с кем это вы собирались вести свою танковую бригаду в Москву — громить Кремль.

Час от часу не легче. Я вскрикнул:

— Это что за новость?

— Не новость, а факт, — нажимал Гарт. — У нас имеются показания Якира. Он дал вам директиву — готовиться к походу на Москву...

— Читайте его показания! — потребовал я.

— Придет время, предъявим вам и это, — ответил Гарт. — Мы вас еще и не так обрадуем, — продолжал он. — Вы устраивали слеты ветеранов червонного казачества еще в 1929 и 1934 годах, готовили отряды для антисоветских восстаний. Ваше счастье, что эта француженка д'Аркансьель успела ускользнуть за границу. Мы бы ее заставили сознаться в шпионаже и в том, что она завербовала и вас, и вашего друга Савко...

Я ответил:

— Вы хорошо осведомлены... Так почему же ваша осведомленность не позволяет вам установить, что я не был в

заговоре?

— С нас достаточно полученных показаний, — ответил Ельчин.

Но какова цена этим показаниям, я установил, услышав от Гарта слова: «Мы бы ее заставили сознаться в шпионаже». Очевидно, точно так же и в Харькове заставили Ауссема и Савко «сознаться» в заговоре.

— Отправьте меня на Украину для очных ставок, — потребовал я.

— Чего захотел, сволочь? — бросил Ельчин. — Мы своего добьемся и без очных ставок. Не подпишете сидя — подпишете стоя, не подпишете стоя — подпишете лежа.

— Зачем вы меня оскорбляете? — спросил я. — Ведь я еще не осужден, я подследственный.

— Чудак! — возразил Ельчин. — Видали, по Бауманской гуляет публика? Вот это все подследственные. А вы можете уже считать себя осужденным.

Гарт продолжал листать мое дело.

— Мы вам еще предъявим вредительство на строительстве укрепрайонов. А поломки боевых машин и обморожение красноармейцев во время зимнего похода? Вот здесь, в вашем досье, показания Юматова. Знаете такого? Ваш помпотех в 4-м танковом полку. А потом еще вывод бригады не в Сырец, а в Вышгород. Знаем для чего! Чтобы лучше снюхаться со Шмидтом. Изучение личных дел комсостава школы для вербовки заговорщиков. Старорежимная муштра. Ваше счастье, что телеграммы о приезде иностранцев подписывал Ворошилов, а не Тухачевский...

— А восхваление врагов народа в книгах! — добавил Ельчин.

— Вот это из всего предъявленного мне ближе всего к истине, — сказал я с облегчением.

Ельчин встал. Стал рыться в кипе конфискованных книг.

— «Золотая Липа», «Контрудар». Ишь сколько перевел, мерзавец, государственной бумаги!

Он бросил две книги в камин. Они сразу запылали ярким пламенем.

«Железные бойцы», «Броня Советов», «Рейды конницы», «Восставшая Индия», «О войне будущего», «Перелом» — в огонь, в огонь, в огонь!

Гарт и Тузов, словно одержимые, принялись помогать Ельчину. Мои книги заполнили ненасытную утробу камина.

— А это что? — спросил Гарт, схватив толстую папку.

— Это роман о будущей войне. Он напечатан на машинке, — ответил я.

— В печь! — скомандовал Ельчин. — Подумаешь, романист! Вот мы на тебя напишем роман, так это будет всем романам роман. — Замнаркома, довольный своей шуткой, хихикнул. Вторя ему, ослабились его помощники.

На столе оставалась еще одна папка.

— А это что?

— «Танки прорыва»! — с испугом пояснил я.

— В огонь! — зашипел Ельчин.

— Что вы делаете? — вскрикнул я. — Этот труд нужен нашей армии. Казните меня, но зачем казнить мои рукописи?

— Ваша армия? Забудьте! Она обойдется без вашей мазни.

И эта папка с рукописью, обобщавшей большой труд огромного коллектива, полетела в костер. Невольно подумал о средневековых кострах, которые недавно еще пылали на площадях фашистской Германии.

— Вот что! — приблизился ко мне Ельчин. — Мы и так засиделись с вами. Мы вам предъявили достаточно неопровержимых доказательств вашей вины. Не виляйте. Это будет лучше для вас. Сознавайтесь и подписывайте протокол. Поймите, что это в интересах партии, в интересах Советской власти.

До сих пор я считал, что интересы партии неотъемлемы от интересов ее членов. Хорошо партии — хорошо ее членам. Плохо ей — плохо и им. Но чтоб моей партии было хорошо оттого, что мне сделают плохо, — это не вмешалось в моей голове. Неужели в интересах партии ложные показания?

Я ответил:

— В интересах партии и Советской власти говорить правду, не ложь. Лгать не буду ни на себя, ни на людей тем более. Если я сознаюсь, что со своей бригадой собирался идти на Москву громить Кремль, то, следовательно, один я не мог это сделать. Нужны сообщники. Пусть я умру, но не хочу, чтобы меня проклинали невинные люди.

Зазвонил телефон, трубку взял Тузов. Спустя полминуты, закрыв микрофон рукой, поднял глаза на Ельчина:

— Товарищ майор госбезопасности! Комбриг Кирпонос просит разрешения послать в Куйбышев капитана Сорокина.

— Можно! — махнул рукой Ельчин.

Заговорил Гарт:

— Слышали, кто звонил? — спросил он меня. — Сам комбриг Кирпонос, начальник татаро-башкирской школы. Считается с нами. Такого человека мы не тронем. Он может спать спокойно. А вы? Смотрели на нас с высоты. Едва здоровались. Считали: энкаведисты — дерьмо...

Эта тирада вовсе ошарашила меня. Значит, все показания — ничто. Непочтительность к ежовской разведке — вот что главное!

— Что там Кирпонос! — напыжился Ельчин. — Было время, когда третий секретарь обкома Мухаметзянов неохотно отвечал на мои звонки. Подумаешь! Благодаря нам он спокойно спал, сидел в кресле, но перед НКВД драл нос. Зацапали и его, голубчика. Зато сам первый секретарь Лепа звонит к Ельчину. Каждый шаг согласовывает. Вот что значит Ежов!

Эта дешевая похвальба пигмея еще раз ошеломила меня. «Что ж это делается? — подумал я. — Партия — не руководящая сила, а придаток НКВД? Да еще такого, в котором орудуют такие персоны, как Ельчин, как этот Гарт, напоминающий не сурового, кристально честного дзержинца, а скорее преуспевающего местечкового провизора». Вспомнил прошлогодние слова Зубенко о двоевластии.

— Правильно вы сказали, товарищ капитан госбезопасности, — вмешался Тузов и достал из папки акт, составленный им во время обыска. — Он даже позволил себе оклеветать нашего наркома Ежова. Мало того, заявил, что у нас в Политбюро сидят деникинцы.

— Я говорил, что деникинцы сидят в партбюро школы, а не в Политбюро. Имел в виду Андрееенкова.

— Не врете! — огрызнулся Тузов. — Понятые подписали, не я один.

Ельчин и Гарт впились в бумагу.

— Вот негодяй! — заорал Ельчин. — Вот так поступают все враги. Все прикидываются советскими, большевиками. А станешь их брать, у них и прорывается. Показывают свое настоящее вражье лицо. Ничего, сейчас вы тоже корчите из себя большевика, революционера, сталинца, а как станем вас расстреливать, закричите: «Да здравствует Троцкий!» Знаем мы вас, сволочей! Изучили вас, все на один манер. Искореним, искореним, ни одного не оставим! Надолго запомните нас. Вы и ваши детки, мы им создадим «условия». Есть изречение: «Чтоб отправить человека на виселицу, дайте мне всего лишь одно слово, сказанное им». Знаешь, кто это сказал? Кардинал Ришелье! А тут такие контрреволюционные слова — «деникинцы в Политбюро»! Вот негодяй...

— Понимаете, — обратился Ельчин к Гарту, — там у них, на Украине, до чего дошло? Встречает один командир дивизии другого и спрашивает: «Ты уже в заговоре? Торопись. Кто не вступил — того будут расстреливать!»

Это сообщение вовсе сбilo меня с толку. Как-никак, а прошло девять месяцев с того времени, когда меня вытолкнули

оттуда. Абсурд, что люди хотели отдать Украину Гитлеру, но, возможно, что они стремились сбросить с себя иго бездарного армейского руководства? Ведь и дворяне восставали против своего царя и не для того, чтобы лишить власти дворянство. Тут, словно подкрепляя мои мысли, Ельчин бросил еще одну реплику:

— Вот вы прикидываетесь цыпленком, а знали, что среди высших командиров шли толки: в будущей войне с Гитлером Ворошилов и Буденный не обеспечат руководство. Сознайтесь, знали вы это? Вы тоже так думали, полагая, что этим принесете не вред, а пользу Советской власти? Сознавайтесь — ведь это не шпионаж в пользу Гитлера!

«Вот где собака зарыта», — подумал я. Вспомнил беседу с Иваном Никулиным в поезде. Но если и в самом реле был заговор, то неужели среди его участников, как в 1825 году, не нашлось своего Сервута-Верного? Ведь следователи не приводят ни одного конкретного показания виновных или доносчика. Ничего из планов заговорщиков, кроме слов о том, что я должен был по приказу Якира идти с бригадой на Москву громить Кремль.

— А теперь, — зычно откашлялся Гарт, — разрешите, я его ознакомлю с нашим произведением...

Ельчин в знак согласия взмахнул лапами макинтоша. Уселся рядом с Тузовым. Приготовился слушать. Гарт достал какую-то бумагу. Стал читать:

— Глава первая. Вот ее конспект: восхваление врагов народа в печатных трудах. Вражеское выступление на киевском активе в помещении оперетты. Название главы: «Контрреволюционная агитация». Статья 58, пункт 10. Санкция — от 5 до 10 лет.

Глава вторая. Сколачивание кадров заговорщиков путем организации слетов ветеранов червонного казачества в 1929 и 1934 годах. «Участие в контрреволюционной организации». Статья 58, пункт. 11.

Глава третья. Порча боевых машин в 4-м танковом полку. Срыв строительства укрепрайонов, стратегических дорог, танков на ХПЗ. Сопротивление формированию танковых частей для Дальнего Востока. Порча орудий в тяжелой бригаде. Результат — снаряд застрял в дуле пушки, при откате повредило локоть командиру. Срыв плана боевой подготовки в Казанской танковой школе. Отказ в приеме на работу сотрудника НКВД Братовского-Ярошенко. Все это — «Вредительство». Статья 58, пункт 7.

Глава четвертая. Преступные связи с французскими гражданами Легуэстом и д'Аркансьель. С литовскими — Скучасом, Сидобрасом, Печурой. С эстонским — Синкой. Разрешение болгарскому военному атташе фотографировать

боевую технику. Показ танков иностранным консулам на параде Первого мая в Харькове. Связь с американской шпионкой Боевой и с польским шпионом Юлианом Бржезовским. «Шпионаж». Статья 58, пункт 6.

Глава пятая. Покушение на вождей партии и правительства вместе со Шмидтом, Шульгой. Расположение тяжелой бригады в Вышгороде для удобства связи с террористом Шмидтом. Предоставление казенной машины его жене. Называется эта глава «Участие в террористических актах». Статья 58, пункт 8.

Глава шестая. По установкам бывшего Председателя ВУЦИКа Г. И. Петровского, руководство антисоветским повстанческим штабом Украины, в который входили Наум Дубовой (отец командующего ХВО), Григорий Рябоконь, Андрей Багинский, Михаил Барон. Военная консультация в повстанческом штабе, который возглавлялся наркомом Лисовиком. Подбор соучастников путем изучения личных дел постоянного состава танковой школы. Тесный контакт с главарем украинских националистических повстанцев Затонским. Контакт с Примаковым. «Подготовка вооруженного восстания». Статья 58, пункт 2. По всем пяти обвинениям, кроме первого, санкция — от 10 лет и выше.

И наконец — на закуску — глава седьмая. Подготовка по заданию Якира тяжелой танковой бригады к походу на Москву с целью разгрома Кремля. Вербовка в заговор замполита Зубенко. Контакты с заговорщиками Дубовым, Туровским, Савко, Ауссемом и другими. И носит глава название «Измена Родине». Это обвинение покрывает все прочие и остается в деле основным...

С меня пот лил градом. Но и Гарт начал задыхаться. Перевел дух. Потом продолжал:

— Статья 58, пункт 16. Знаете, что это значит? — он поднес бумагу к моему плававшему лицу. — Это каюк, амба. За измену Родине военным дают лишь одно — шлепку, высшую меру наказания, расстрел! Что? Умеем сочинять получше вас? Вот это романчик — пальчики оближешь...

Итак, все добро, сделанное мною на протяжении последних лет, обратилось во зло.

Ельчин рванулся со стула, схватил протокол допроса, ручку, ткнул мне бумагу в глаза, крикнул с пеной у рта: «Пиши, б..., пиши! Долго будем с тобой валандаться?..»

— Тащите в мясорубку, не подпишу! — заявил я. — И не орите, криком не поможете, не подпишу!

Да, этим рыцарям гнусных провокаций, фальсификаторам дикой ляс и, вышедшим из-под контроля партии, пришлось со мной валандаться долго. Целых тридцать два месяца. Обвинение

в измене Родине. Враг без вражды, преступник без преступления, почти три года прожил с мыслью о неминуемом конце. Была лишь одна надежда — надежда на свою стойкость, на твердое решение не лгать, умереть, не оклеветав ни себя, ни других.

На допросах мне стало ясно, что сами следователи знали цену присланным с Украины «показаниям». В 1941 году выдвинувшийся из рецидивистов башковитый начальник лагеря Поляков сказал мне: «Все ясно. Если бы вы были заговорщиком, не стояли бы сейчас передо мной». Но оставалось подтвержденное свидетелями страшное обвинение: «Деникинцы сидят в Политбюро». И вот однажды мне дали очную ставку с понятым Звонковичем. Он честно заявил: «Сказано было не в Политбюро, а в партбюро». Я его спросил: «А почему подписали другое?» Он ответил: «Теперь я больше волен над своими словами и поступками, нежели тогда». Оказывается, и Звонковича схватили ежовцы — «польский шпион». Понятой был уроженцем Белоруссии. Но когда много лет спустя, до XX съезда партии, встретил агитатора Казанского горкома партии Звонковича и попросил написать то, что он говорил на очной ставке, он отказался. Сказал: «Если вызовут — скажу, писать не буду». Что? Снова страх?

11 июля 1937 года пришел черед и нашему «философу» Ивану Никулину. Спустя сутки после меня. Спустя месяц после суда над его кумиром — Виталием Примаковым. Нас раскидало в разные концы страны, а решала нашу судьбу одна канцелярия. Но канцелярия — это тоже люди. Те же самые люди, которые определили долю трех талантливых маршалов, лучших командармов, множества комкоров, комдивов, комбригов, полковников. И сверхбдительного Хорошилова тоже...

За упорное «неповиновение родителям» нас с потомком Салавата Юлаева — Гатой Муалимовичем Салиховым — бросили в карцер. На глазах начальника 1-й (Красинской) тюрьмы, утонченного садиста Потехина с нас содрали одежду. Оставили трусики и сапоги. А могло быть и хуже. Какая законная ответственность или же голос совести удерживали бериевца? Он мог втолкнуть нас в морозильник нагишом...

Утих залп тяжелых затворов. Садист громко бросил надзирателю: «Пусть попробуют потехинского карцера с ветерком... А попросят удавки — не откажи!» Да, молчание стало великим искусством. Ответить ему: «По тебе самому плачет веревка» — значит, тут же получить добавку, еще пять суток. А те сутки — это год!

Подумать только: на стенах — толстый слой снега, на полу — толстый слой пыли. Мороз лезет в душу, цементная пыль — в

легкие. Спать — на голом щите, брошенном на пол. И лежи все восемь часов. Замерзни, но не вздумай шагать ночью — получишь пулю сквозь отверстие кормового и смотрового окошечка.

Два стакана горячей воды — и ни капли больше, два ломтика хлеба — и ни крошки сверху. Вода — это даже не пять, а все двадцать пять звездочек. Влага жизни! Принимаешь ее скупыми глотками, которые хлеще коньяка прогревают насквозь окоченевшее тело. Зато свету — море. Лампа в двести свечей — круглосуточная светотерапия. Она сводит с ума...

Девять лет назад, в 1929 году, болея открытым туберкулезом, я харкал кровью. Но заботливая военная медицина заглушила болезнь. «Заботами» члена партии Потехина в конце третьих суток кровь не пошла, а хлынула фонтаном из горла. Я упал на колени. Прильнул окровавленным ртом к щелям кормового окна. Жадно глотал струйки «свежего» воздуха, рвавшегося в камеру из коридора. Шепотом попросил надзирателя вызвать врача. Прошел час, другой — колени утопали в жидкой крови и цемента. А врач все не шел... Я крикнул из последних сил:

— Дорогой Гата! Умираю... Искожу кровью... Прощай... Выйдешь на волю — передай привет моим...

В соседнем карцере-клетушке, в другом потехинском морозильнике, забарабанили кулаками в дверь:

— Собаки! Сволочи! Зовите врача...

Караульный засуетился. Зашикал. Стал угрожать пулей. А все же спустя пять минут пришел фельдшер. Меня поставили на ноги, но я шатался. Терял зрение — в глазах замелькали шарики. Вывели меня из морозильника. Погнали по длинному мрачному коридору. Я упал на сложенную кучу моей одежды. Заявил: «Убейте — без шинели не пойду!» Я, ледяная сосулька, понимал, что все спасение в тепле.

Салихову, моему доброму брату, за «нарушение» Потехин добавил еще пять суток. Это значит — минус еще пять лет жизни... Но его организм, закаленный ковыльными ветрами и кумысом привольной Башкирии, выдержал и это.

Душная клетка «черного ворона», больница. Сорок двое суток между жизнью и смертью. Особо тяжелая была пятая ночь. Чувствовал — если усну, то уж навсегда. Но зверски клонило ко сну. Как назло. Военный летчик сел возле меня, держал все время пульс. Летчик-брат всю ночь тормозил меня, не давая уснуть. Утром на несколько минут отнялась речь, замерзли правые конечности. По глазам врачей видел: дело — табак.

Попросил бумаги. Принес ее собрат Потехина главврач-сидист Басин. Сын крупного казанского меховщика. Едва нацарапал: «Умирая, заявляю — в заговоре не был. Перед партией

не виноват». Вопреки домыслу Ельчина и Гарта не написал: «Да здравствует Троцкий!» Но и не написал: «Да здравствует Сталин!»

Что написали бы Кочетов и его секретарь обкома, горевавшие над растоптанным цезарским венком, в таком же положении?

Может, молитвы матери или унаследованное от нее крепкое сердце, но, на удивление врачам, оно справилось с тяжелым испытанием...

В 1956 году майор Военной прокуратуры Оробей предложил мне дать отзыв на бывшего наркома Лисовика и на осужденных по делу Дубового-старшего, отца командующего войсками Харьковского военного округа.

Лисовик в 1937 году «показал», что он создал пропетлюровский центр и для ведения его военных дел он пригласил полковника из Совнаркома, то есть меня...

Другой центр создали Дубовой-старший, Григорий Рябоконь, ветераны червонного казачества Багинский и Барон. Директивы они получали от меня, а я от... Григория Ивановича Петровского!!!

В Казани мне об этом ни слова. Что ж? Я хотя и не Христос, а простил им всем эти выколоченные ежовцами наветы. Выполнил необходимую для реабилитации формальность. Отплатив добром за зло, оставил в прокуратуре положительный отзыв на своего бывшего начальника штаба тяжелой танковой бригады полковника Шкуткова.

Во время следствия мне не раз предъявляли протоколы дознаний нашего замполита Зубенко. В первом из них он категорически отрицал все наветы. Во втором тоже. А вот в третьем, спустя три месяца после ареста, он «сознался». Выходило, что завербовал его я. И что в том заговоре состояли Дубовой, Савко и многие другие. Он согласился, так как я заявил, что всех несогласных будут расстреливать. Что ж? Товарищ дрогнул, не выдержал нажима ежовых рукавиц, хотя и шахтерский сын. Для моих следователей ничего не значило и то, что я находился в Гаграх как раз в то время, когда, согласно показаниям замполита, я должен был пребывать на работе в Харькове.

Прошло восемнадцать лет. В 1955 году следователь Парткомиссии ГлавПУ В. С. Соломин предъявил мне дело Зубенко. Оно меня потрясло. На суде, терроризированный, изможденный пытками и неслыханной ложью, торопясь покончить с мучениями, Зубенко и там признает себя виновным. Знает, что его ждет. Но... решает умереть с чистой совестью. Да, его вовлекли в заговор, но не Дубинский, а какой-то Дербинский... Вот это настоящий коммунист!

В один из октябрьских дней, когда вот-вот полетят крикливые стаи на юг и сразу же после этого нагрянет зима с ее настоящим снегом, к вечеру ожило небо над сонной тайгой.

Яркий вибрирующий свет, переходивший от ясно-серебристого до всех оттенков радуги, озарял мир. Всю ночь, до утренних звезд, продолжалось это величественное и таинственное полыхание сквозных световых полос. Очевидно, тысячу лет не было над таежным небом такого невероятного чуда.

В этот день эсэсовцы в Харькове, в противотанковом рву за тракторным заводом, зверски замучили многих и многих советских людей. И казалось, что это их чистые души трепетали вместе со сказочными, светлыми лучами того необычного и тревожного северного сияния. Их души зывали к мести. С теми душами зывала к мести и душа моей матери.

ЧЕРНЫЙ ПАУК

*Улегся заповров убийственный стук,
в углу кто глядит там? То черный паук.
Свидетель безгласный страданий и мук,
ты многое видел, хозяин-паук!
Куда же исчез ты? Ты спрятался вдруг,
где ж, где же ты бродишь, пройдоха-паук?
О муках ты бредишь и больш ни о чем,
на то и задуман ты, брат, пауком!
Кандер — моя пища, а лакомство — лук,
откушай со мною, обжора-паук.
Чу? Что? То седловку трубит Николюк...
Не нас ли он кличет, трусишка-паук?
Рысит вон уж всадник с походным व्यюком,
там саквы набиты отборным овсом.
Буржуйам на горе пожар мировой
раздуть чтобы пуще, мы шли в смертный бой.
Как братства дороги, как слава клинка,
«Гренадская волость» была нам близка.
Атаки, атаки, мы шли напролом,
чтоб мир воцарился на шаре земном...
Теперь из-за ябед, дешёвок и сук
я тяжко страдаю, сосед мой паук.
За Родину нашу всю кровь я отдам,
Москва по старинке не верит слезам...
Затворы грохочут, затворы стук-стук,
чертовски ж обидно, обидно, паук.
Пустое все ныне, все тлёт, суета —
злора, оговоры, вся ложь, клевета!
Идут вон за мной уж, горланит замок,*

и голос я слышу — он жесток и строг.
Прощай, мой товарищ, прощай, мой паук,
еще четверть часа — и замкнут мой круг...
Снеси, мой посланец, снеси поскорей
на волю поклоны мамаше моей.
Ее по мозолям натруженных рук
ты сразу заметишь, гонец мой, паук.
Ты сына узнаешь, он бабушкин внук,
пусть ленинцем будет, вникай же, паук!
Сестрицу-бедняжку, что в натиске вьюг
мне верность хранила, приветствуй, паук,
Ну что же ты ждешь там? Для друга привет...
Да, много их было, но их уже нет...
Прощай же, товарищ, прощай, мой паук,
еще четверть часа — и замкнут мой круг!
Казань, 1937, черные дни на «Черном озере»

Однажды случилось чудо... На «Черном озере» со мной говорил человек по-человечески. Осенью расстреляли и Ельчина, и Гарта. Мавры сделали свое черное дело, и их отправили ко всем чертям. Есть истории, которые не любят свидетелей. А это были не только свидетели... Пожар интендантских складов был на их совести. И пожар, и шестнадцать невинно расстрелянных командиров — складских работников.

На место Гарта пришел новый начальник Особого отдела. Смуглолицый атлет Жданов. Он вызвал меня к себе.

— Послушайте, — сказал он мне спокойным тоном. — Вы сидите уже четыре месяца. Я прочел все ваши труды. Понравилось. Советую вам — надо сознаваться. Улик против вас достаточно. Шмидт! Уже одно то, что вы служили одно время под его командой. Встречались в подполье 1918 года. Общались вплоть до ареста этого страшного террориста. Трибунал, нет сомнения, присудит вас к расстрелу. А мы будем просить ЦИК о помиловании. Как писателю. Это ваш единственный козырь... Знаете слова Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают!»?

— К сожалению, гражданин майор госбезопасности, я этим единственным козырем воспользоваться не могу. Придется умирать...

Жданов задумался. Затем тихо сказал: «Лес рубят — щепки летят!»

О! Превратности судьбы! Под топор лесорубов попал и сам Лазарь Павлович Жданов. Из Особого отдела всесильный в ту пору Мехлис, новый начальник ПУРа, взял его к себе, выдвинул его кандидатуру в депутаты Верховного Совета РСФСР, а затем сам же его и посадил. Много лет этот человеческий особист, настоящий дзержинец, сапожничал в Озерлаге, на 101-м километре дороги Тайшет — Братск.

И вот штука — как ни странно, а провокация Тузова дала мне силы. Я понял, как фабрикуются преступники. Так бессовестно, так нагло извращать слова могут лишь жулики... Так, понял я, сфабриковали показания Савко, Ауссема и многих других. Так Берия в Абхазии инсценировал покушение на Сталина, чтобы израсходовать невинного Лакобу. Так расстреляли шофера, приписав ему покушение на жизнь Молотова. Об этом говорилось на XXII съезде партии. Так, чтобы вызвать ярость против мнимых врагов, пускали под откос составы с красноармейцами. Так Ельчин и Гарт, чтобы начать кампанию тридцать седьмого года в Казанском гарнизоне, сами предали огню интендантские склады.

Не брезгуя ничем и не считаясь ни с чем, эти истинные враги народа оплевали все лучшее, что в революции ценилось Лениным.

Первый поединок кончился вничью. Я не убедил своих истязателей в моей невиновности, но и они не получили моей подписи. Ведь за каждую подпись полагалась крупная денежная премия... Чистый лист бумаги с первым вопросом, датированный 10 июля 1937 года, сопровождал меня почти три года во время всех тягостных и многочисленных допросов. Простаивал на ногах сутками. Распираемые опухшими ногами ботинки не выдержали, лопнули. Но я не сдался. Не подписанный мною первый лист дознания остался чистым навсегда. И это было моим спасением. Так было со всеми, кто боролся за честь партии. Борясь за честь, они боролись за свою жизнь. Боролись и победили. Хотя их было немного.

Из слов майора госбезопасности Жданова я понял, что в какой-то степени мои книги, а среди них роман «Золотая Липа», сдерживали лютую прыть дознавателей. А в 1937 году по письму сверхбдительного кадровика Хорошилова меня за ту книгу исключили из партии. Зато позже, в 1951 году, благодаря этой книге получил немыслимый в моем положении высокий пост: возглавил эмтээсовские курсы молодых механизаторов. Прочитавший «Золотую Липу» директор МТС Илья Викторович Федоров, с изумлением и восхищением пожимая руку «крамольнику», решил на свой риск создать ему, как он выразился, «хорошие условия»....

* * *

Прошло много лет. Настало время вернуться к рукописи, написанной мною тогда, когда не надеялся обнародовать ПРАВДУ. Мне сейчас уже за 90. Судьба дала тяжелые годы, но я живу и хочу, чтобы история со мной и многими людьми моего поколения, многих моих друзей не повторилась. Для этого нужно не молчать.

Подсолнух поворачивается к солнцу, народ — к правде. Как черные силы ни толкали народ на тернистую стезю бесчеловечности, он все же повернул на светлую дорогу ленинского гуманизма.

Примечания

{1} Танки резерва Главного Командования.

{2} Ленинградские бронетанковые курсы
усовершенствования командного состава.

Список иллюстраций



Илья Владимирович ДУБИНСКИЙ



Члены партийной комиссии 2-й Червонно-Казачьей дивизии.
Симкин, Аремаев, Васильев, Подзюмский (слева направо)



Вот они — герои гражданской войны



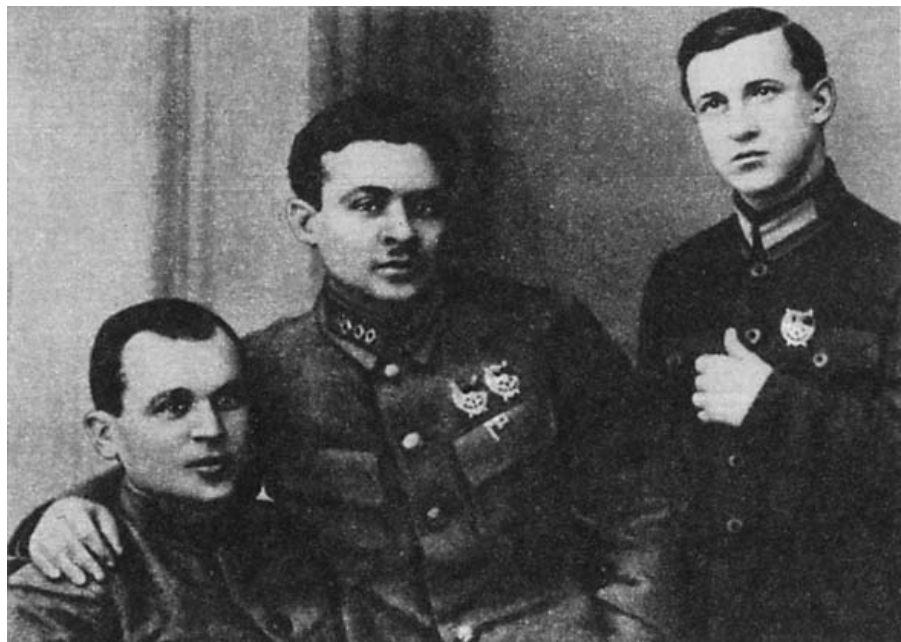
Мои однополчане из Червонного казачества. Я в первом ряду второй слева



А это наша сотня. Размещались мы в местечке Меджибож, в феодальном замке



Д. А. Шмидт



В. М. Примаков (в центре) со своими адъютантами



Г. Гай



Р. П. Эйдеман



В. К. Путна



И. Э. Якир



К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный и Е. А. Щаденко (слева направо)



И. Э. Якир (второй слева) и В. Я. Чубарь (второй справа) на Харьковском аэродроме



М. В. Фрунзе и И. Э. Якир (справа)



Е. А. Щаденко, Д. Бедный и В. К. Блюхер (слева направо)



На Киевских маневрах. 1935 год. Я. Б. Гамарник, К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный (слева направо)



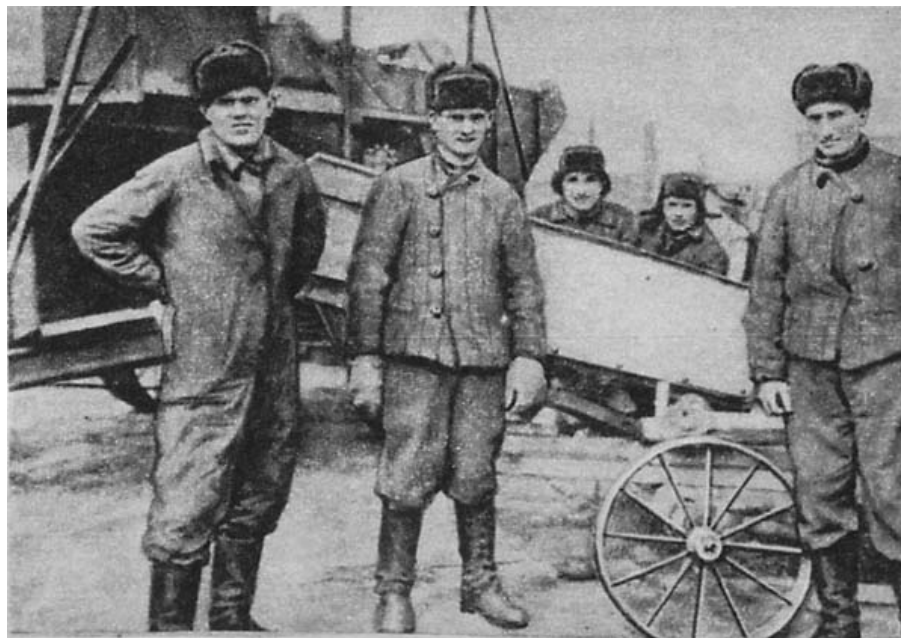
М. Н. Тухачевский, Я. Б. Гамарник, К. Е. Ворошилов и А. И. Егоров (слева направо)



С. В. Косиор (слева) и П. П. Постышев (крайний справа)



К. Е. Ворошилов и Н. А. Худяков (справа)



А это уже места не столь отдаленные. Красноярский край. Я стою справа...



Реабилитирован

notes

Примечания

Танки резерва Главного Командования.

Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования
командного состава.